

РОМЕН ГАРИ

Чародеи



im WERDEN VERLAG
DALLAS AUGSBURG 2003

Ромен Гари
Чародеи
Перевод с французского

Romain Gary
Les enchanteurs

The book may not be copied in whole or in part.
Commercial use of the book is strictly prohibited.
The book should be removed from server immediately upon © request.

©Издательство Симпозиум, 2002
©Е. Павликова, перевод (гл. I–XIII), 2002
©О. Кустова, перевод (гл. XIV–XLIV), 2002
©«Im Werden Verlag», 2003
<http://www.imwerden.de>
info@imwerden.de

OCR, SpellCheck & Design by Anatoly Eydelzon books@tumana.net
Generated by L^AT_EX 2_ε

Глава I

Высокий камин из серого мрамора опирается на львиные лапы; колени мои укутаны пледом; под рукой сонетка – мое сердце частенько забывает теперь о своих обязанностях. Огненный человек в костюме Арлекина – желтый, красный, зеленый – пляшет на поленьях. . . Кто же ты, мой неизвестный собрат, кому принадлежат слова: «Сохранив в себе ребенка, я отказался стать мужчиной»?..

Мои детские годы – те, что мне особенно дороги, прошли в нашем поместье Лаврово Краснодарской губернии, в самом сердце дремучих русских лесов, столь располагающих к суевериям и легендам. Отголоски этого детства и по сей день со мной, именно оно и станет моим Рассказчиком. Мои первые годы. сопровождал несмолкаемый шепот дубов, эти величественные деревья были свидетелями первых моих шагов; порой мне кажется, что они, а не кормилица убаюкивали меня, что они, а не наставники научили меня тому, что я знал. Возможность постичь неизведанное, как ничто другое, развивает душу ребенка, и глухие леса вокруг Лаврово дали простор моему воображению, открыв предо мною тысячи троп, которые я беспрестанно исследовал. Лет с шести я принялся населять их чудовищами и чародеями, тени и призраки оказывались карликами и лешими – лесными духами, которые наводят такой ужас на крестьян, я же отважно выступал против этих сил зла во главе армии моих дубов, и мы неизменно одерживали верх и праздновали наши победы, распевая песни.

– И кого же ты встретил сегодня? – время от времени спрашивал отец, когда я, проголодавшись, возвращался домой и глотал блины с вареньем, которые наша кухарка Авдотья пекла целый день.

Я перечислял все свои победы в честном бою: двадцать два красных змея, семь желтых карликов с черными крыльями в зеленую крапинку и огромный вооруженный паук.

Отец степенно кивал.

– Хорошо, – говорил он. – Но позже, когда ты вырастешь, не забудь, что самые страшные чудовища невидимы. Именно этим они и опасны. Их нужно суметь почувствовать.

Я обещал, что такой нехитрой уловкой меня не проймешь.

Время идет, и все проходит. Отец сравнивал его с крупным землевладельцем, барином, который, вечно спеша собрать свой урожай, все же снисходительно относится к молодым, слишком нежным росткам и едва распустившимся почкам: каждый год казалось, что лету не будет конца. А в середине сентября я вновь оказывался в Санкт-Петербурге, в нашем красивом, но холодном доме – старинном дворце Охренникова на Мойке, неподалеку от Медного всадника, должно быть вдохновившего Пушкина на создание одной из самых прекрасных его поэм.

Мы были выходцами из семьи бродячих венецианских акробатов. Они перебрались в Россию, когда Петр Великий открыл для Московии просвещенный Запад. Мой дед Ренато Дзага прибыл из Венеции, имея с собой всего-то одну ученую обезьяну, несколько реликвий, костюм Арлекина и пять *riegeni*, пустотелых деревянных булав в форме бутылки, какими до сих пор пользуются жонглеры. Он покинул Венецию в страшной спешке, опасаясь гнева инквизиции, и вот при каких обстоятельствах. К сорока пяти годам он был хорошо известен и уважаем в небольших труппах *commedia dell'arte* и на ярмарочных подмостках. То ли его ловкость жонглера и канатоходца уже не приносила ему радости художественного самовыражения, то ли подействовал какой-то мозговой спазм, но он начал предсказывать будущее, что, как

правило, делали шарлатаны broglio, для деда же последствия были самые неприятные. Венецианская республика ко всему, что касалось развлечений, относилась легко, но серьезного не прощала. А тут еще оказалось, что мой предок не то случайно, не то под воздействием какого-то врожденного порока правдивости – пагубного для иллюзионистов, – вместо того чтобы морочить голову своим клиентам, стал предугадывать события, действительно потом происходившие. Так он напророчил исчезновение шестнадцати галер, потопленных турецким флотом на рейде Кандии; катастрофическое падение цен на пряности, вызванное конкуренцией португальцев; великую чуму 1707 года и все несчастья, которые из года в год обрушивались на Венецианскую республику. Отсюда недалеко и до обвинения в ответственности за все эти происшествия – всего один шаг, и правительство не замедлило его сделать, стремясь, как водится, отыскать для народа козла отпущения. Деда Ренато, казалось, ждал печальный конец, но именно чутье и спасло его от всех неприятностей. В одну прекрасную лунную ночь, когда он в ночном колпаке, надвинутом на глаза, уже засыпал под тремя этажами пуха и приятно ласкал слух Морфея первыми всхрапываниями, он вдруг увидел себя висющим на фонаре в одной из тех зловещих клеток, в которых умирали от голода и холода враги республики. Вздрыгнув и проснувшись от этого малоприятного видения, мой дед завопил, выскочил из постели, схватил свою дорожную сумку, обезьянку Абрахама и мощи святых Иеронима, Марка, Киприана и Святой Девы, которые были изготовлены по его просьбе в Кьодже для продажи паломникам, открыл окно и по крышам добрался до Риальто, где смог проникнуть на барку с вестфальским сукном и доплыть до Удины. Кочуя с ярмарки на ярмарку, он попал в Дрезден, там ему повезло: он нанялся цирюльником к флейтисту Жан-Мари Додлену, который отправлялся к российскому двору. В стране, где свет блистал умением сплетничать, дед Ренато быстро выдвинулся и, обладая даром импровизации и той гибкостью, которой наш род славился испокон веков, вошел в моду, повсюду представляясь как «философ, усердный читатель небесных знаков и доктор Болонского университета по всем областям знаний». Эти любопытные титулы я привожу из дневника московского купца Рыбина, который неоднократно отзывается о дедушке с восхищением, а однажды, после учебного сеанса, посвященного предсказанию будущего, восклицает: «Какие чудесные плоды упали к нашим ногам с древа познания благодаря ветру разума, дующему с Запада!»

Я беспрестанно расспрашивал отца о жизни и достижениях моего выдающегося предка. Продолжал ли он предсказывать будущее, как делал это – с таким успехом – в Венеции? И если да, то развивались ли события именно так? Здесь отец был категоричен. Наученный опытом, Ренато Дзага избегал правды, как чумы. Он понял, что артист, желающий привлечь к себе расположение публики, может преподнести ей самый лучший подарок – иллюзию, а вовсе не правду, потому что правда неприглядна, своенравна и не старается угодить.

– Запомни, сынок, что против правды, какой бы она ни была неприятной, тревожной и жестокой, ничего нельзя сделать, зато всегда можно испортить жизнь тому, кто вам ее говорит. . . и тогда удел этого человека – нищета, если не тюрьма или что-нибудь похуже. Твой дед Ренато умер в богатстве и уважении, потому что понял – публика ждет от нас, ее покорных слуг, чуточку иллюзий, чуточку надежды. . .

Отец мягко спускал меня с коленей, где я обычно устраивался. Он шел к большому венецианскому шкафу, стоявшему в углу между астролябией Коперника и зеркальным телескопом, способным улавливать небесные светила. Эта комната служила Джузеппе Дзага обсерваторией, возвышаясь над крышами и садами. С самого раннего детства он приобщал меня к звездам: они были в чем-то нашими родственниками и, благодаря своему мерцающему, изменчивому и шаловливому характеру, прекрасно ладили с детьми и бродячими комедиантами. Отец открывал шкаф и извлекал оттуда все, что осталось от благородного Ренато-чародея:

дворцовый фрак французского кроя с серыми отворотами и серебряными пуговицами, парик, шелковые чулки, туфли, длинную трость с золотым набалдашником, инкрустированным фальшивыми рубинами и искусственными алмазами. Мне чудилось, будто я вижу самого деду, таким, каким он был изображен на гравюре Пистоляри: темные и живые глаза, крупный, резко очерченный, высокомерный нос, губы, едва сдерживавшие насмешливую улыбку; гравюра не давала представления о живости его лица, но изменчивое выражение я постепенно научился улавливать.

Фрак был усыпан драгоценностями; я глядел во все глаза на эти медали, орденские ленты и почетные знаки из золота и вермели, которыми моего предка одаряли самые именитые монархи Европы. Мне понадобилось много времени, чтобы понять: ничто не приносит человеку больших наград, чем искусство успокаивать. Отец украдкой наблюдал за мной; кажется, он оставался доволен тем эффектом, который производило пустое пространство в чудесном облачении, выходящее из венецианского шкафа; что же до меня, то я с бьющимся сердцем давал себе обещание в один прекрасный день получить такие же знаки отличия, достаточно только уметь притворяться и иметь сноровку, необходимую для того, чтобы узнать, но не сказать правду. Таковы были азы нашей профессии, которым отец исподволь обучил меня.

– Пленять, обольщать, поддерживать веру и давать надежду, волновать, но не тревожить, возвышать душу и разум, одним словом – очаровывать, – вот предназначение нашего древнего рода, сынок. . . Поэтому лишь недалекие умы, которые ни в чем не видят ни капли скрытого смысла и ни малейшей искры надежды, называют нас шарлатанами. . .

Он закрывал шкаф. И мне казалось, будто сам Ренато, мой дед собственной персоной, только что являлся из волшебного ящика. Но ящик стоял немного дальше, на больших черно-белых мраморных плитах. Довольно было закрыться в нем на несколько минут – и ты выходил оттуда вдохновленным, пропитанным космическими флюидами далеких эфиров; они придавали живительные силы самым слабым. Отец пытался усовершенствовать эту штуковину, руководствуясь некими указаниями, содержащимися во Втором Откровении Эфраима, согласно которым потоки бессмертия циркулируют в небе и могут быть направлены к земле. Что бы ни говорили об этом недоброжелательные историки, подобные господину Дюлаку со своим печально известным трудом «Шарлатаны, бездельники и проходимцы XVIII века», речь шла не о том, чтобы перехватывать эти течения и загонять их – как наша Марфа поступала со своими вареньями, – но о том, чтобы лечить больных благотворным действием этих потоков. Говоря так, я имею в виду, что мой отец одним из первых понял: некоторые физические болезни имеют нравственную причину – и добивался излечения психологическими методами. Князь Нарышкин оплачивал эти исследования, требовавшие значительных вложений, ведь только золото напрямую связано с бессмертием.

Ренато Дзага оставил не много имущества, при своей необузданной страсти к увеселениям он тратил деньги налево и направо, по-русски, совсем не по-венециански; отцу же пришлось всего добиваться самому. Чтобы жить и умирать, людям нужна не беспощадная точность фактов, а нечто совершенно иное, я собрался с духом написать об этом именно сегодня, потому что никогда еще иллюзия не играла большей роли в обществе, чем сейчас, и с тех пор, как возникло искусство, наша порода никогда не имела недостатка в работе, которая и состоит в умении произвести впечатление. Я задержусь подольше в кабинете отца, а если читателю наскучила столь скромная сценическая площадка – ведь в наше время это не редкость, – что ж, тогда пусть простит мне, я оставлю его, закрою глаза и увижу ребенка с восхищенным взглядом; он немного потерялся в огромном кресле, среди многих таинственных предметов, между тем как огонь ворчит в печке и на поленьях пляшет мой друг, огненный человечек в костюме Арлекина – красный, оранжевый, зеленый, синий, – которого я, не знаю почему, прозвал китайцем.

Глава II

В рабочем кабинете, где отец принимал посетителей, были оплавленные камни, прилетевшие из других миров, осколки Луны, Сатурна и даже – священное сокровище – обломок звезды Волхвов величиной с кулак. Еще были саркофаги, где почивали египетские жрецы, с ними можно было посоветоваться несколькими способами, о которых не следовало распространяться; были и хартии небесных сфер тех эпох, когда астрология сделала свои первые открытия, и из тех стран, где вскоре она достигла высшей точки развития.

Одна из них принадлежала знаменитому Одбаю из Шираза. Мне удалось увезти ее с собой после большевистской революции, и это помогло мне выжить, я продал ее по хорошей цене Базельскому музею, где она и красуется до сих пор.

Среди оптических инструментов, сделанных для отца в Германии по его указаниям, были и такие сложные механизмы, секрет которых до сих пор не разгадан. Иногда я, слегка посмеиваясь, спрашиваю себя, не держал ли их у себя отец, чтобы поразить воображение тех, кто приходил к нему за советом и щедро оплачивал его гороскопы.

Ничего из этого хлама мечтаний не могло сравниться для меня с книжным шкафом – он производил впечатление поистине чарующее, занимая всю стену за тяжелой шторой из пурпурной парчи, расшитой золотом и серебром, которая открывалась, словно театральный занавес. Тома были покрыты густой пылью и паутиной, потому что домашним было запрещено их касаться; наверняка отец хотел отбить у посетителей охоту совать туда свой нос.

Время, которое терпеть не может все тварное, относится к книгам особенно жестоко. Больше всего оно боится этих переносчиков заразы, заразы вечности, в которой мысли оживают и всегда готовы хлынуть потоком. Мысли иногда кажутся мне семенами, которые тысячелетиями лежали подо льдом, но, едва попав на свет и свежий воздух, взошли, начали жить, расцветать и ликовать. Отец рассказывал мне, что как-то ночью его отвлек от работы подозрительный шорох, он подошел к пергаментам, и Время изумило его грызущими насекомыми, точно такие бегают по циферблату наручных часов. Потребовалось, говорил он мне, воззвать к самым высшим органам Иерархии, чтобы прогнать их.

Опасность, которая угрожала сказочным сокровищам, приносила мне много хлопот. Часто, не в силах заснуть, я вставал, крался к книжному шкафу и, вооружившись тяжелой дубиной, стоял на посту возле книг бдительным стражем. Мне было уже семь лет, возраст рыцарей без страха и упрека, я знал, что старые леса в Лаврове ожидают, что я окажусь достойным тех историй, которые они мне нашептали. Я ждал; Время не появлялось; оно знало, с кем имеет дело; глаза мои закрывались; странствующие всадники в серебряных латах пронеслись перед моим взором и, опуская копыта, приветствовали меня; их шлемы вспыхивали под белыми перьями, а на щитах, среди львов, грифонов и орлов, застывших в парении, я вдруг замечал знакомое изображение – моего щенка Мишку, который вилял хвостом. Отец не раз находил меня у книжного шкафа: я спал, сжимая в руках палку; он брал меня на руки и нес в кровать; склонившись ко мне, он с нежностью спрашивал, видел ли я мерзкое существо; воспоминание об этой нежности становится самым моим крепким и теплым убежищем в часы великого холода, которое называется одиночеством. «Нет, – отвечал я, – Время сбежало; наверняка знало, что я здесь, должно быть, оно заметило меня и мою дубинку через окно и не осмелилось показаться». Но однажды вечером, когда я лежал в кровати, весь обратившись в слух и широко раскрыв глаза, обеспокоенный тишиной, которая не предвещала ничего хорошего, я

решил сделать обычный обход и босиком проскользнул в коридор. Все спало; стены, мебель, шторы, как будто сговорившись, хранили тревожную неподвижность; я был слишком утомлен этими уловками, чтобы не почувствовать, что все вокруг меня дышало страхом. Каждый предмет словно затаил дыхание. Сердце било тревогу, и я горько сожалел, что мои друзья – лавровские дубы – так далеко, что отец еще не нашел волшебной формулы их переселения в Санкт-Петербург. Я тихонько открыл дверь; лунный свет падал на книги. . . Глаза мои широко раскрылись; я подумал, что сердце сейчас выскочит и убежит: Время было здесь; а чтобы его не узнали, притворилось летучей мышью, но тогда я был намного моложе и такие ухищрения не могли сбить меня с толку. Я тут же замахнулся палкой. К сожалению, мне не удалось избавить мир от гнусной твари, потому что я нечаянно вскрикнул; почувствовав, что ее узнали, эта мерзость испустила яростный писк и вылетела в окно. Я разбудил отца и с ревом бросился к нему в объятия; я дрожал от ужаса и стыдился своих слез. Я рассказал ему, что мне не удалось схватить Время за хвост и прикончить его ударом палки, чтобы спасти все то, что было в книгах, чтобы книги никогда не старели, чтобы никто никогда не умирал, а я никогда не разлучался ни с отцом, ни со щенком Мишкой, ни с моими друзьями-дубами и чтобы всю жизнь все оставалось как теперь, таким же счастливым. . .

Отец прижал меня к себе, я всхлипывал у него на груди; в тишине он гладил меня по голове. Потом сказал, чтобы я не отчаивался, что Время обязательно вернется, не сможет не вернуться. Я еще смогу схватить его за хвост и отдать Авдотье, чтобы она поджарила его на медленном огне – вот участь, достойная его. . . Он уверил меня, что я не ошибся: конечно, это было Время, прикинувшееся летучей мышью. Да, я умел посмотреть на вещи так, как нужно на них смотреть, – не доверяя их очевидности, их кажущейся обыденности, – как всегда умели это делать все мои домочадцы, те, которых называют иногда шутами или шарлатанами. Я не должен, добавил он, стыдиться прозвищ, которые нам дали, они прекрасней всех на свете. А потом, положив руки мне на плечи и задумчиво глядя на меня своими горящими глазами, которые часто сравнивали с раскаленными угольями, но которые для меня всегда были очень добрыми, он улыбнулся и произнес то, что я далеко не сразу понял:

– Я верю, что из тебя выйдет толк.

В книжном шкафу хранились старые колдовские книги, существовавшие еще со времен первых Откровений и первых посвященных, и манускрипты с запахом опавших листьев и засушенных насекомых, «Центурии», написанные самим Мишелем де Нострадамусом, и записи пророчеств святого Цезаря, сделанные монахом-бенедиктинцем из Виллюма. Сегодня эти документы осчастливили бы самых богатых коллекционеров. Отец хоть и читал по звездам будущее довольно бегло, сам никогда не делал пророчеств, потому что предсказания всегда оборачиваются к худшему, согласно самой природе слова «судьба», которое никто не употребляет, когда речь заходит о радости или счастье. По венецианскому обычаю, полагалось сообщать только о счастливой участи, успокаивать и радовать; никто никогда не достиг успеха в Венеции, торгуя плохими новостями, и показательное приключение деда Ренато и этом отношении послужило нам горьким уроком. Итак, отец, конечно, читал будущее с листа, но подходил к этому научно, то есть вместо того, чтобы толковать знаки, полученные от небесных светил, он, наоборот, добывал сведения для них. Я подразумеваю под этими словами, что, составляя свои гороскопы, он руководствовался психологией высокопоставленных персон, которые приходили к нему за консультацией, и данными друг о друге, которыми они его снабжали. Он в равной степени пользовался и услугами осведомителей, которым платил жалованье, и собственным изучением всего, что имело отношение к политике, всего, что так облегчало работу звезд. Мошенником он не был.

Однажды, уже научившись читать, я решил сам приступить к своему посвящению. Я про-

брался в кабинет и, вскарабкавшись по лестнице, завладел книгой, на которую уже давно обратил внимание. Переплет ее был очень красивый, усыпан золотом и вермелю и словно возвещал о сокровищах познания, которые она таила в себе. На корешке этого тома имелось несколько таинственных знаков, треугольники и весы, рисунок глаза и гравюра, воспроизводящая камень мудрости с торчащими из него лучами, о котором говорит трактат «Митра» из книги «Зогар». На самой же обложке, сделанной из кожи с золотыми и серебряными узорами различной глубины, инкрустированной слоновой костью, перламутром и малахитовым камнем, были написаны на древнееврейском, которому меня обучил молодой еврей из Кишинева, несколько слов, от них я весь покрывался мурашками: «Трактат о вечности и великом пробуждении от смерти». Я колебался. Мне казалось, что, открыв книгу, я одним жестом вызову чье-нибудь пробуждение. Ведь первой истиной, которую я усвоил от отца, была история об ученике чародея. Он говорил мне, что это одно из проклятий рода человеческого и что оно постоянно проявляется в мирских делах. Но я был дитя случая, один из Дзага, почти цыган, а ни один из нас никогда не стеснялся украсть какой-нибудь секрет. Я открыл Книгу.

Внутри были комедии господина Гольдони, изданные книгопечатником Питтери из Венеции.

Я оторопело стоял, моргая и разинув рот. Там были «Честный авантюрист», «Слуги хорошего тона», «Лжец», «Тридцать две проделки Арлекина» и много других веселых фарсов под общим названием по-французски: «Ибо смех присущ человеку».

Я перелистывал страницы книги. Нет, ничего другого, никакого ключа к тайне, никакой другой возвышенной загадки. Смех всегда к вашим услугам. Венецианский карнавал.

Я был еще слишком молод, чтобы как следует оценить открытие, которое только что сделал. Я был разочарован. Я думал, что мне открылся сезам, а это был лишь секрет полишинеля. Мне понадобилось много лет, чтобы понять, что Арлекин – это не только ярмарочный плут, но дитя народа, персонаж, который возник из самого глубокого страдания и своими выходками отвечал на многовековой гнет первородного греха, готического искусства, прославляющего боль, гвозди и шипы, – да, что он вышел из народа, чтобы одним пинком разорвать покров мрака и посмеяться над всем, что требует от человека покорности и смирения. Я еще был далек от этого, но часто возвращался к шкафу и читал комедии господина Гольдони. Усевшись верхом на приставную лестницу, я постепенно постигал секреты, которые народ знал с тех давних пор, когда один из его детей вырезал дудки и пускался в пляс и шум их праздников и звуки песен доносились со всех концов земли. Я проводил долгие часы в компании этого своевольника, играющего со звездами, перепрыгивающего через ловушки, расставленные на его пути, а на все попытки неведомых чудовищ, преграждавших ему дорогу, отвечал хохотом и был счастлив тем, что жив.

В мире, совсем непохожем на тот, в котором я родился, но который на вечные вопросы небытия и цинизма, на все эти «зачем-незачем» коварной нечисти – несчастья – еще не нашел лучшего ответа, чем дерзость и непокорность, я прочитал фразу великого поэта Анри Мишо: «ТОТ, КТО СПОТЫКАЛСЯ О ПРИДОРОЖНЫЙ КАМЕНЬ, ШЕЛ УЖЕ ДВЕСТИ ТЫСЯЧ ЛЕТ, КОГДА ДО НЕГО ДОНЕСЛИСЬ КРИКИ НЕНАВИСТИ И ПРЕЗРЕНИЯ, КОТОРЫМИ ТЩЕТНО ПЫТАЛИСЬ ЕГО НАПУГАТЬ». Но к тому времени я уже давно понял, почему в этой книге, такой торжественной и богатой, полной мудрости всего мира, отец спрятал персонаж Арлекина. Братский ирредентизм, тысяча уловок, чтобы обвести вокруг пальца Власть и дальше втираться в доверие; отвага, легкое сердце, изгоняющий мрак ясный-ясный взгляд и. . .

Я услышал шум. Вошел отец. Он прислонился к двери и смотрел на открытую Книгу в моих руках.

– . . . и любовь, – сказал он, как будто прочитал мои мысли, потому что был чародеем и они не были для него секретом.

Мне только что исполнилось двенадцать лет.

Глава III

Да будет мне позволено, друг читатель, перед тем как повзрослеть у тебя на глазах, еще немного задержаться в дорогах моему сердцу лесах, таких диких, что день терялся там, съезживался, и я сурово наблюдал, как он блуждал, втянув голову в плечи, боязливый, со шляпой в руке, почтительные поклоны, льстивая улыбка, прошу прощения, о да, я знаю, что здесь я чужой. . . и вот он удирает, а за ним по пятам гонится свора теней, они лают, бросившись в погоню, а он оставляет позади себя лишь слабый голубой след меж ветвей. Лавровский лес на самом деле не место для свиты Короля-Солнца, там царил знаменитый Мухаммор, ужасный волшебник, облаченный в коричневое одеяние, усеянное грибами, он требовал от леса влажности, сумрака и прохлады. Поглаживая свою рыжеватую бороду из маленьких щупалец, до которых так падки гномы, он рассказывал мне, что сень в Лаврове – не та, что прежде, что она поддалась преступной небрежности, па это горько сетовал грибной народ. Однако мне казалось, что Луи Круглый наверху, под своим золотистым париком, щадил прохладу, и едва лишь то здесь, то там показывался лучик, как его сразу притягивали к себе капли росы и паучьи сети, которые всегда стараются блистать. Лес оглашался иногда отдаленными звуками, в которых мой слух странствующего рыцаря распознавал эхо от ударов бесчисленных шпэг, которыми воины Короля-Солнца срезали травы на полянах и лужайках, расчищая дорогу для монарха. Когда я с бьющимся сердцем прибежал в эти места, мчась на выручку моим друзьям-дубам, я застаивал там только дровосеков, которые суетились вокруг поваленных стволов. Но я не верил ловкому обману, потому что отец уже объяснил мне, что злоба и жестокость, насилие и бессердечие часто принимают человеческий облик, чтобы проскользнуть незамеченными, и что нельзя полагаться на носы, уши, лица и руки, воображая, будто имеешь дело с людьми.

Не знаю, друг читатель, был ли ты таким же, как я в этом возрасте, но для меня все становилось кем-то, и даже существование вещей без души казалось мне весьма сомнительным. Я понимал, что в каждом камне бьется сердце; что у каждого растения есть семья и дети и каждое из них знает материнские ласки, что каждая пушинка чертополоха, принесенная ветром, переживает драму ссоры и разлуки, тяжесть и боль от которых несравнимы с их неощутимой легкостью, и что законы страдания вхожи в любую дверь природы. Былинки и камушки, цветы и грибы с задранными юбками, приоткрывающими их славные ножки, мхи, верески и папоротники – все они были маленькими существами, страдания, радости и любовные томления которых было невозможно сопоставить только с их размером. Сама земля была нутром, которое трепетало от удовольствия и боли; шагая по лесу, я старался не думать о мелких драмах, которые оставлял за собой, о смятых мною маргаритках, о ландышах, которые я лишал главного смысла их существования – одурманиваться собственным благоуханием, я очень огорчился, когда приятели дубы с упреком шептали, что я творю много зла, наступая на головы этому милому народцу. Я рассказывал об этом отцу; он говорил мне: так устроено, что живешь всегда за чей-то счет. Вся штука в том и состоит, чтобы сохранить чувствительность, но, оберегая ее, не ожесточиться. Я не понимал, что он подразумевает под этим; может быть, это был деликатный способ объяснить мне, что существуют люди – каким бы странным это ни казалось, – способные рассматривать ягоды дикой земляники, которые они только что раздавили ногами, не испытывая при этом никакого волнения. Я говорил себе, что такая черствость бывает присуща вам, когда вы растете, и что возраст, несомненно, выделяет, подобно сосновой коре, некоторые защитные смолистые вещества. Я советовался по этому научному вопросу с

кухаркой Авдотьей, большой специалисткой по соусам, она заверила меня, что все мужчины, действительно, – сволочи. Но, поразмыслив, спохватилась и успокоила меня, добавив, что женщины ничуть не лучше. Мне показалось, что это несколько не поправило положение дел.

Я подружился с тремя седеющими коренастыми дубами, не такими высокими, как их приятели; они всегда держались вместе, немного поодаль, отдельно от других, наверное, потому, что имели более простое происхождение, точно так среди нас люди из народа гордятся своими корнями, знают свое место и остаются среди себе подобных. Их звали Иван, Петр и Пантелей. Они приняли мою дружбу и нашептывали всякие удивительные вещи о дальней стране, откуда первые дубы в давние времена были принесены в Россию ветром. В этой стране из пряника и изюма, которую пересекали молочные и медовые реки, жил король-дуб, такой мудрый, что народ его был счастлив, как будто бы короля над ними вовсе не было.

У Пантелея был друг, огромный черный кот, прикованный к стволу тяжелой золотой цепью; это был старый кот, о котором рассказывала замечательная книга барона Гротта и невероятные приключения которого любили тогда все русские дети; «он все видел и все знал». Я выучил из нее все, что можно выучить о коте: он сражался с берберами в открытом море, украл лампу Аладдина и вернул красоту и безутешных родственников трем принцессам, которых подлый колдун Мухаммор похитил и превратил в лягушек. Герой из семейства кошачьих с великолепными усами и розовым носом ловким ударом когтей разрисовал крест-накрест лицо Бабы-яги, именно он на самом деле заставил эту злюку оборотиться мышкой и спокойно съел ее.

Мне очень нравилась компания находчивого кота, но когда я спрашивал его, почему столь одаренный и могущественный повелитель мирится с тем, что прикован к дереву, он обижался и говорил чрезвычайно нелюбезно, что раз так, то между нами все кончено и что он не нуждается в мальчишке, который рассуждает как взрослые. После чего внезапно растворялся в воздухе, предусмотрительно уволокивая за собой золотую цепь, – это доказывало, что он наверняка слышал о репутации Дзага. Перед сном я рассказал отцу о происшествии; он уверял меня, что кот не преминет вернуться, поскольку к ремеслу чародея у меня блестящие способности. Я должен продолжить свои тренировки, добавил он; в нашей профессии ученичество начинается очень рано. Наши предки, клоуны, жонглеры и акробаты, фокусники и иллюзионисты, начинали тренировать детей в самом нежном возрасте. Конечно, природа нашего искусства изменилась и мы больше не делаем кульбитов на ярмарочных подмостках, но воображение в этом отношении не отличается от мышц. В конце концов отец произнес фразу, смысла которой я тогда не понимал, фразу о том, что единственная настоящая волшебная палочка – это взгляд.

Приободренный, вдохновляемый легендарным русским героем Ильей Муромцем, изображение которого до сих пор еще красуется на пачках советских папирос – он обзирает горизонт пристальным взглядом, косая сажень в плечах, – я кидался очертя голову в тысячи сражений. Особенно много их происходило с сиреневыми драконами в желтую крапинку, которых я раздирал в клочья; уstraшенные моей недюжинной силой, они бросались на колени, складывали руки и умоляли меня пощадить их, ссылаясь на семейные обстоятельства, старых драконов-родителей и одиннадцать голодных драконов, находящихся у них на иждивении. Другие, более изворотливые, играли на маленьких человеческих слабостях и вынимали из кармана карамель с начинкой, которой торговал тогда в своей лавке на Невском проспекте купец Кукочкин. До этих карамелек я был весьма охоч, так как сластолюбивые склонности всех Дзага еще не простирались у меня дальше вкусовых бугорков. В общем, я благодарил их, потому что мне уже тогда больше нравилось впечатлять, восхищать, нежели действительно подвергать испытанию мои возможности, в чем я и показал себя хорошим сыном и

итальянцем. Все же я командовал одним охристо-голубым драконом, любителем поспорить ни о чем, который, похваляясь логикой, пагубной для искусства, заявлял с менторским высокомерием, что я не могу его уничтожить, потому что он не существует. Так, сам того не зная, я столкнулся со злобным образчиком реализма, подлой цензурой этого мира, которая норовит задушить тот нарождающийся мир, первыми обитателями которого являются мечтатели и поэты. Инстинктивно угадав, что имею дело с опасным противником нашего племени, я действовал решительно и испепелял его одним лишь взглядом, оставляя на месте дракона только пучок травы – мака-самосейки и майорана. Неудовлетворенный тем, как я проучил его, и, может быть, смутно предчувствуя какую-то ответственность перед искусством, я обрывал его нежизнь среди полевых цветов, приносил их в дом и отдавал Авдотье с приказом приготовить к ужину, хорошенько потемнив, остатки дракона. Авдотья, подбоченясь, долго созерцала пустой стол, на который я только что бросил съестные припасы; она покачивала головой, вздыхала, говорила: «О, Боже мой!» – и (я всегда пользовался ее расположением) обещала «превзойти сама себя» в кулинарном старании. Вечером она действительно подавала к столу одно из вкуснейших своих блюд, но когда я с победным видом объяснял сестре и двум своим братьям происхождение этой лакомой мякоти, они надо мной смеялись.

Два моих брата – Гвидо и Джакопо – и сестра Анджела были гораздо старше меня и родены в первом браке отца. Вскоре они должны были покинуть дом и, освоив азы профессии, идти каждый своим путем, как это заведено у бродячих артистов. Я только изредка виделся с ними; старший, Гвидо, остался верен корням и сделался жонглером и акробатом; другой, Джакопо, стал известным скрипачом. Однако ему не повезло: его соперником был Паганини; ему недоставало истинной гениальности, и он ожесточился, забросил скрипку. Последние дни Джакопо провел как уличный музыкант, вконец обнищал и умер в Неаполе в полной неизвестности. Сестра же вышла замуж в шестнадцать лет, но пережила приключения, о которых я еще расскажу.

Кроме дубов и книг был у меня еще товарищ по играм, старый итальянец синьор Уголини, которого отец взял на службу. Он опекал меня, как наседка, беспокоился о моем насморке и нервничал, когда я долго гулял по лесу в одиночку, но, так как он был слишком наивен, чересчур добр и очень смешон, никакой власти надо мной синьор Уголини не имел.

Мама, о которой я рассказывал раньше – я посвятил ей целую книжку, – умерла при родах. От нее остался мне маленький медальон. Иногда я снимаю его и держу в руке, у него волшебное свойство – он согревает. Особенно часто я делаю так зимой, потому что очень мерзну, несмотря на то что в доме топят все печки.

Должен сказать, что тогда я уже обладал самым важным для будущей своей профессии свойством характера – упорством; впрочем, я не знал еще, в чем выразится мое шутовское призвание. Я был склонен к меланхолии и, следовательно, к апатии, но это характерно для любого кризиса. А кризис я переживал постоянно. Уже тогда я инстинктивно чувствовал, что не должен отступать перед реальностью ни на йоту – основное правило нашего ре-мосла. Отец приучил меня к мысли, что самый непримиримый наш враг – реальность, или, как он называл ее, – «паскуда реальность». Он часто говорил с большим сарказмом о «Его Величестве Порядке вещей, Набобе Се Ля Ви и ревнивом Страже границ наших возможностей». Наше дело, говорил он, состоит в том, чтобы помогать людям обвести вокруг пальца предмет их желаний – существующий мир. Побуждать к мечтанию – вот начало начал. Эти уроки я должен был бы получить позже, когда мог бы понять их и использовать в литературной работе. Но уже тогда – порода всегда даст о себе знать – я ощущал себя сторонником мечты. Так, когда я рассказывал о своей невероятной дружбе, мне не верили, и я, задетый за живое, решил приносить с лавровских лесных прогулок осязаемые доказательства моих встреч со

сверхъестественным.

У меня вошло в привычку таскать с собой альбом для рисования, уголь и краски; я старался рисовать с натуры тайных персонажей, которых улавливал мой глаз. Был колдун, который довольно ловко пытался прикинуться стволом разбитого молнией дерева, но, чтобы клюнуть на это, надо было много прожить и хорошенько испортить зрение. Я улыбался, наблюдая за бесплодными усилиями этого типа, старающегося принять самый обыкновенный вид; схватив уголь и краски, я безжалостно разоблачал его. Господин Ничтожество – так я обозвал его – в конце концов сознавался в преступлении: обе его голые и кривые ветки становились руками, на искривленном уродливом стволе появлялись складки его черно-серого одеяния, которые прежде изображали кору, а само лицо, на котором проступал теперь крючковатый нос, искажали виноватая улыбка и тысячи морщин. Наконец-то я с гордостью мог принести домой неопровержимые доказательства существования всех, кого я выгонял из кустов, тени, листвы, где они скрывались, всех этих гномов и великанов, прекрасных принцев, больше не прячущихся под папоротниками, наяд, которых с первого взгляда можно было принять за водяные лианы, леших и других чудищ; они становятся на самом деле опасны и ожесточают сердце ребенка, только когда он вырастает и больше не видит их.

Но Время начинало мной интересоваться, и тогда произошло нечто очень странное: поне-многу мой взгляд утратил власть над тайной жизнью леса и его обитателей. По мере того как я рос и рука моя становилась все ловчей, она, похоже, попадала в плен обычных видимостей, которые тайная и магическая природа вещей принимает, защищая свои секреты и закрывая к ним путь. Рука рабски следовала этой обманной реальности, и уголь только воспроизводил – покорно и точно – цветы, деревья, камни, птиц. Время, самый давний сообщник реальности, помогало навязать мне ее законы.

Сам лес стал принимать меня холоднее и скрывал от меня свои богатства. Я больше не слышал в его шепотах рассказов старого ворона, которого я называл, изучая тогда французский язык, Иваном Ивановичем Сильвупле. Ворон больше не говорил о путешествии в страну Аладдина, которое предпринял, чтобы узнать всю правду об истории с лампой; не слышал я и о сражении, в которое он вступил с хранителем этого сокровища – сверчком пяти метров росту, наделенным такой силой, что одним ударом лапки он мог забросить вас на Луну. Я больше не встречал на своем пути жабу с брильянтовыми глазами и изумрудной кожей, но ведь должна же она была существовать, потому что я ее нарисовал.

Я был растерян. У меня случались приступы грусти, уныния, которые старая Анеля, моя няня, с видом знатока приписывала переходному возрасту. Я не понимал, почему мессир кот больше не являлся на свидания и куда подевалась тяжелая золотая цепь, приковывавшая кота ко мне еще крепче, чем к дубу, вокруг которого он ходил. Даже дорогие мои друзья, Иван, Петр и Пантелей, делали вид, что не узнают меня. Можно было подумать, будто они исчезли, оставив только маскарадный костюм: ветви, стволы и кору.

Я пытался сопротивляться, вернуть себе чудесный мир. Да, драконы ушли, но я объяснял это тем, что они боятся осенних дождей. Мне еще удавалось вообразить, что тот огромный парень-утес, так похожий своими очертаниями на человека, – принц, настигнутый злой судьбой, но я ничего не мог сделать для него, а он – для меня. С нами обоими случилась одна и та же беда: он навсегда превратился в камень, а я навсегда становился человеком. Я столкнулся с тем, что мир видимостей, которым хотела казаться реальность, был изворотлив, и самым впечатляющим из этих вывертов был уход детства.

Я спрашивал себя, жив ли я и к чему еще могло привести это поражение, которое теперь обязывало меня подчиняться законам природы. И правда, у меня начинались судороги и горячка. Анеля теряла голову, синьор Уголини денно и ночью вился вокруг меня. Привезли врача,

он высказался за применение пиявок. Отец отослал и врача, и его пиявок. Он не слишком волновался. Парень быстро растет, говорил он, и его покидает детство, а это болезненный процесс. Как только он преодолет этот порог, силы вернутся, он забудет и маленького мальчика, и заколдованный лес.

Теперь я знаю, что отец ошибался. Но он не мог предвидеть, что, оставаясь верным традициям нашей семьи, я выберу путь, которым никто из нас еще не следовал. Я не буду, как дед Ренато, жонглером, фокусником или канатоходцем, но мне понадобятся те же ловкость, гибкость и изворотливость, чтобы снискать расположение публики и добыть для нее минуты забвения, позволяющие в конце концов шире открыть глаза. Искусство паяца, искусство Гомера или искусство Рафаэля похожи друг на друга: смех-освободитель делает любое рабство еще более нестерпимым, так же как красота и воображение делают невыносимыми уродство и несправедливость, в которые мы погружены. Я пройду тот же путь, что и все Дзага, но оставлю звездам их игры в волчок и их обязанность освещать небосклон и, вместо того чтобы терзать их вопросами о нашей судьбе, сам буду мастером по созданию тысяч судеб.

Итак, мой отец ошибся. Детство меня не покинуло. Просто оно затаилось, чтобы мне было легче притвориться взрослым. Таким способом оно по-матерински заботливо хотело дать мне окрепнуть, потому что невозможно жить среди людей и не защитить твердой оболочкой этот мечтательный и уязвимый тростник, который хранится внутри. Нет, люди не так уж злы и жестоки, они не стремятся сделать больно, а просто не знают, куда ставят ноги.

Глава IV

Когда я даю волю воспоминаниям, годы, лица и события толпятся в моей памяти, теснят друг друга в панической давке, словно пассажиры тонущего корабля, которых вот-вот ждет гибель и лишь немногих – спасение. Я спешу выхватить из этих разных жизней, прожитых мною, то, что в беспорядочной толкотне является моему взору: уже более тридцати томов стоит рядом у открытого окна, выходящего на белые балетные фигуры цветущих каштанов. XVIII век кажется мне ближе и реальнее, чем нынешний, рокошующий на улице Бак в дорожной пробке, но так случается, наверное, со всеми стариками. Я точнее помню свою жизнь в России в 70-х годах XVIII века или встречи с лордом Байроном, Мицкевичем и Пушкиным, чем приключения, едва не стоившие мне жизни, в 20-е годы, во времена большевистской революции, Дзержинского и Чека. Из-за этого я часто пренебрегаю законами правильно построенного повествования, которые я должен соблюдать ради любезных читателей, всегда мне доверявших и благосклонных ко мне. Именно читателям я обязан своей устроенной жизнью, и если у меня не такие извивы судьбы, как у деда Ренато, то потому, что он набил шишек во времена, когда достаточно было только нравиться, а сегодня почести в искусстве воздаются тем, кто умеет быть неприятным.

Но наведем во всем этом порядок.

У Ренато Дзага было три сына, мой отец Джузеппе – самый младший. Я никогда не знал его братьев. Знал только, что, едва им исполнялось пятнадцать, они отправлялись каждый своей дорогой на поиски приключений. Долгое время их судьба оставалась мне неизвестна. Только читая работу графа Потоцкого (которому также принадлежит книга «Рукопись, найденная в Сарагосе»), посвященную автоматам, на которые была тогда большая мода, я обнаружил несколько деталей, недостающих нашей семейной хронике. Так, я узнал, что старший из трех сыновей, Моро, порвал с семьей, протестуя против нашего ремесла; в письме, которое я нашел впоследствии в бумагах деда, он назвал его «прости-господи-профессией».

Это письмо довольно необычно по современности чувств, которые оно выражает; в нем ощущается дыхание того бунта, который однажды приведет молодого артиста к разрыву с наслаждением. Сегодня я думаю, что дядя Моро был предшественником, первым из тех благородных умов, которые не могли смириться с тем, чтобы искусство было прежде всего праздником. Возвышенный идеал. . . Будто можно изменить жизнь и мир, вместо того чтобы создать счастливую планету, на которую попадали бы люди, читая книгу, глядя на прекрасную картину или слушая симфонию. И я, бывало, предпринимал те же попытки и даже упорствовал в них, стараясь поместить в свои произведения столько благородных и высоких устремлений, сколько может выдержать читатель до того, как начнет зевать от скуки.

Но вот о чем говорилось в письме Моро Дзага: «Истина в том, что мы – племя ученых обезьян. Мы лижем княжеские руки, чтобы наполнить свои кошельки и чтобы нас погладили, мы изо всех сил развлекаем народ и отвлекаем его от печальной жизни, вместо того чтобы помочь ему восстать против нее. Мы переключаем их внимание. Придет день, когда глотатели огня (это мы) начнут плевать огнем и самым нашим прекрасным творением будет пожар, который мы устроим. Смирненно целую вашу руку, дорогой отец, и, покидая вас навсегда, желаю вам новых доходов». Когда думаешь, что дядя Моро с одиннадцати лет умел жонглировать пятью кинжалами и тремя зажженными факелами, приплясывая на веревке, то понимаешь, какую утрату понесло человечество.

А еще он был настоящим гением шахматной игры, свое искусство он демонстрировал даже при царском дворе. В мемуарах графини Столицыной, написанных по-французски и вышедших в Париже, содержится описание партии, которую гениальный ребенок провел со знаменитым «Шахматистом» барона Гуго Крейца. Этот странный персонаж смастерил автомат, механический мозг которого так был хорошо налажен, что мог обыграть лучшего игрока в Европе. В действительности речь шла о махинации, так как в автомате прятался поляк Зборовский; история об этом, некогда всем известная, потом, кажется, забылась.

Она заслуживает того, чтобы о ней вспомнить.

Зборовский, совершенство которого в шахматной игре было непревзойденным, наживался, выигрывая у господ с туго набитыми кошельками, и был распутным малым с извращенным вкусом. К моменту его исчезновения его уже разыскивали за убийство трех женщин, из тех, кто готов сделать все, что угодно, подчиняясь требованиям толстосумов. Я рассказывал раньше эту историю; здесь достаточно упомянуть о необычной идее, которая возникла у поляка, чтобы скрыться от правосудия, продолжая извлекать выгоду из своих дарований. Сбежав из Кенигсберга, где полиция выследила его во время последнего опасного шабаша, он нашел защиту у своего друга Крейца, часовщика из Риги. Вместе они сконструировали автомат, который потом неоднократно воспроизводился французом Гуденом. Это была железная кукла, одетая в немецкий костюм: выражение воскового лица совершенно не располагающее, а взгляд столь пронизывающ, что так и хочется отвести от этого манекена глаза. Зборовский разыгрывал партию, укрываясь внутри адского рыцаря. Представьте, как поднятая рука автомата неумолимо, мелкими толчками, приближается к мраморной шахматной доске, железные пальцы обхватывают и выдвигают вперед фигуру, в то время как мертвенный и зловещий взгляд «Шахматиста» ни на секунду не отрывается от лица противника, и тогда вы поймете действие, производимое этой статуей Командора на того, кто мерился с ним силами, тем более что Зборовский был мастером в игре. Впечатление сверхразума исходило от этой *вещи* и смущало самые сильные умы. Никому не приходило в голову, что внутри мог прятаться человек. К тому же на спине железного рыцаря находились многочисленные оптические стекла, через которые недоверчивых приглашали заглянуть внутрь. Крейц, будучи поистине дьявольски ловок, не показывал мельком несколько металлических шестеренок, а помещал перед каждой партией омерзительные внутренности, от одного вида которых любопытствующие могли упасть в обморок.

Существует мнение, что Зборовский не совершал преступлений, в которых его обвиняли, а что он был борцом за равенство, переполненным революционными и безбожными идеями, врагом Бога и абсолютной власти, озлобленным против короля, который не обращал внимания на короля шахматной доски. Что известно наверняка – в Европе за его голову была назначена высокая цена. Именно с этим человеком мой дядя Моро Дзага, девяти лет от роду, столкнулся 22 октября 1735 года в Москве, во дворце княгини Чердатовой – там сейчас размещается Союз советских писателей. Вот какими словами графиня Столицына описывает партию между ребенком и автоматом, где прятался один из самых великих мастеров, которых знала история благородной игры:

«На мальчике был белый шелковый костюм, он вошел в гостиную, держа за руку отца, сеньора Дзага. Он мало походил на Дзага-старшего, черты лица которого были крупными, резко очерченными, он напоминал пиратов-берберов, глаза были живыми и быстрыми, тонкие губы застыли в усмешке. Маленький Моро обладал ангельским лицом и чрезвычайно красивыми глазами, в которых, однако, не проявлялись те чистота и наивность, что свойственны столь нежному возрасту. Его мрачный взгляд был суров и озарялся язычками пламени, меньше всего наводя на мысль о небе страны песен и мандолин, а скорее – о глубоком негодовании. Автомат

барона Крейца уже стоял в центре гостиной, и ребенок, грациозно и с большим достоинством поклонившись присутствующим, твердым шагом направился к «Шахматисту». Мгновение он внимательно и серьезно изучал его, затем улыбнулся, и мне показалось, что машина, несмотря на свою бесстрастную маску и взгляд, сотворенный из камня, не знаю какого обжига, пришла в замешательство. Конечно, так только показалось, ведь мы были парализованы этой тварью, мерзкое чрево которого только что созерцали по приглашению Крейца. До начала партии руки у «Шахматиста» всегда были подняты в воздух и слегка разведены: согнутые в локтях руки застыли в *rigor mortis*, как будто он готовился заключить мальчика в свои железные объятия. Зал был хорошо освещен, люстры и зеркала обменивались своим блеском. Мы сгрудились вокруг аппарата; мужчины щеголяли легкомысленными улыбками, успокаивая дам или подбадривая себя самих. Однако ребенок продолжал неотрывно смотреть на противника. Можно было подумать, они знакомы и даже каким-то таинственным образом они знают один и тот же секрет. Но скорей всего, мальчику просто льстило, что перед ним находится такой замечательный игрок. Наконец он сел в кресло, поставленное для него напротив «Мастера», как называл «Шахматиста» Крейц; под ноги ему положили две подушки, потому что они не доставали до паркета. Синьор Дзага, отец юного гения, держался чуть поодаль, вероятно, чтобы не подумали, будто он подсказывает сыну, пользуясь условными знаками,

С его тонких губ не сходила усмешка, вокруг головы он повязал красный платок, в ухе блестела золотая серьга; кожа была смуглая, почти коричневая, быть может, это свидетельство египетских корней, на которые он ссылался. Этого человека очень ценили за исцеления, которых он добивался благодаря знанию лекарственных трав, а некоторые утверждали даже, что он возвращает здоровье простым наложением рук. Как обычно, ребенок взял белую и черную фигуры и спрятал их за спину, затем вытянул вперед два сжатых кулака. Правая рука автомата под скрип шестеренок и металлический скрежет скачками распрямилась, железная кисть коснулась левой ручонки мальчика. Тот раскрыл кулак: это была черная фигура. Значит, ему досталась белая и он должен был делать первый ход. Партия началась. Я мало что понимаю в тонкостях этой древней игры, но она длилась недолго, пока маленький венецианец дерзко и внезапно не выдвинул свою королеву на вражеское поле и не поднял глаза на соперника. Его лицо стало серьезным, почти печальным. Он словно сожалел, что огорчил такое интересное чудовище. Автомат не реагировал, руки его приподнялись – да так и застыли, как будто он хотел задушить кого-нибудь. Барон Крейц, стоявший в стороне, чтобы его не обвиняли в секретном управлении машиной, сделал шаг вперед и побледнел. И пока наши взгляды были прикованы к нечеловеческой маске, которую автомат являл миру, мы отчетливо услышали ужасный скрежет, дрожание, идущее из глубин этой вещи, – то ли хохот, то ли всхлипывания – оно вызывало отвращение, потому что было и живым и механическим, внушало одновременно и презрение и жалость. Вдруг правая рука чудовища резким ударом обрушилась на шахматную доску и скинула ее на дол. Ребенок выиграл. Правда, барон Крейц отрицал очевидное и во всеуслышание заявлял, что возможность поражения исключена. По его мнению, речь шла о простом механическом случае, поломке внутренних колес «Шахматиста», вызванной ржавчиной, причина которой – петербургская сырость. Его автомат, жаловался он, провел слишком много времени на берегах Невы, что противопоказано его природе. Он сейчас же примется за ремонт, и игра будет продолжена с того места, где прервалась. Но эта новая игра так никогда и не состоялась. Крейц исчез из Санкт-Петербурга спустя несколько дней».

Я позволил себе остановиться на этом случае, потому что он хорошо показывает, как счастливо начинал мой дядя Моро. Любому Дзага трудно понять, как мог одаренный молодой человек отказаться от выгод, которые сулили ему его способности, и все-таки он сделал это в четырнадцать лет, проявив свою неуравновешенность и строптивый характер. Написав

вышеупомянутое письмо о «прости-господи», шутах, лакеях и ученых обезьянах, он исчез. Отец не любил об этом говорить, но я расспрашивал его, и в конце концов он сказал, что Моро принялся за изучение точных наук, математики, механики, одно время был воспитателем детей у курфюрста саксонского, но ему вежливо отказали от места, так как сочли, что его уроки носят отпечаток роковых идей, которые были распространены тогда во Франции.

История с «Шахматистом» произвела на меня такое глубокое впечатление, что, разъезжая по Европе, я беспрестанно рылся в лавках старьевщиков и антикваров в надежде отыскать машину барона Крейца.

Однажды, когда прошло уже пятнадцать лет с тех пор, как в последний раз слышали о его гениальном сыне, Ренато Дзага получил неожиданный подарок. Его привезла из Гродно в Лаврово почтовая карета, которую сопровождал некто в черном и гладко выбритый; ему и в голову не приходило, что он выглядит как лютеранин. Пассажиры кареты пригласили утолить жажду, а он все не мог успокоиться – лошади сделали крюк пятнадцать километров, чтобы доскакать до нашего имения; ухмыляясь и приоткрывая желтые лошадиные зубы, с тысячьо предосторожностей он развязывал большой пакет, обшитый полотном, который поставил на крыльцо. Предмет, который предстал наконец перед взором деда Ренато, его жены Карлетты, двух его сыновей и прислуги, показывал, какие представления были у старшего о чародеях и всех, кто приносил добрые утешения благодаря своему искусству.

Автомат, бережно укрытый от внешних опасностей стеклянным колпаком, представлял знаменитый род Дзага, фамильные черты которого недвусмысленно проступали во внешнем облике ученых обезьян, одетых в придворные платья. Каждое животное совершало одно из тех движений, которые даровали нашему роду расположение и покровительство князей и привязанность народа, потому что народ, не видя выгод в своей жизни, умеет быть благодарным тем, кто помогает ему забыть об этом. Поворачивали маленькую рукоятку, и вскоре забавные обезьянки приходили в движение. Дед, которого было невозможно не узнать по седым волосам, большому крючковатому носу и хитрой улыбке, управлял другими с дирижерской палочкой в руке. Что касается отца, он безостановочно ходил на руках, чтобы поцеловать в задницу какого-то князя-обезьяну, а мой дядя Люччино, приложив руку к сердцу, пел голосом кастрата одну из арий, с помощью которых евнухи очаровывают партер. Когда узнаете, что нечестивец выставил в обезьяньем образе и бабушку Карлетту, сопрано которой доставляло российскому двору огромное наслаждение целых двадцать лет, что его зубоскальство окружило нашу семью пуделями-канатоходцами и паяцами, отрабатывающими свои номера, и что все это происходило под издевательскую музыку, малоприятную для слуха, то вы поймете, какая ненависть ко всем нам, кто старался доставить удовольствие, жила в сердце этого анархиста без писем и террориста без бомб. Лютеранин тем временем наблюдал за нами, обнажая зубы в улыбке, которой не хватало только ржания. Изучив произведенный эффект, наверняка чтобы о нем доложить, он, кажется, остался доволен и согнулся пополам в преувеличенно почтительном поклоне, подметая своей шляпой землю. Отец, рассказывая мне об этом деле, отметил, что наглая улыбка, нырнувшая вниз, нашла, вероятно, свое настоящее место. Потом человек прокаркал по-немецки:

– От вашего сына, знаменитого доктора Корнелиуса, философа-механициста, великого мастера по починке ржавых шестеренок мира, врага тиранов и автора ученых трактатов, с уверениями. . .

Из этих слов отец не без гордости сделал вывод (всячески изливая посылному проклятия для неблагодарного), что гениальный сын хотя и отверг семью, но не изменил голосу крови. Он просто поменял публику, угадав, что дни князей сочтены и что по некоторым водворотам, которые волновали народ, можно предугадать, кто будет скоро править бал: в новом возрасте

– новые иллюзии.

Ренато Дзага умер, так и не увидев больше своего сына, но был убежден, что его старший поменял кожу и владеет искусством обманывать мир на новом уровне, вызывать у людей опьяняющие видения и раскрывать перед ними лучезарное будущее, не прибегая к помощи звезд и колоды Таро, а пользуясь только могуществом идей.

Он ошибался. Человек другого поколения, он не понимал, что на его сыне Моро великая традиция иллюзионизма сделала крутой поворот и превратилась в то, что называют «тяга к подлинности». С первыми раскатами грома и вспышками молний Французской революции Моро Дзага появился в Париже. Активно участвуя во всех перипетиях этого землетрясения, из которого наша братия смогла извлечь многие выгоды, он поднялся на эшафот вместе с Андре Шенье, несомненно счастливый, что достиг наконец подлинности. Тогда ему было семьдесят семь, самый старый ребенок, сложивший голову за мечту.

И напоследок, чтобы читатель чувствовал себя вполне своим среди нас, остается сказать несколько слов о дядюшке Люччино, хотя отец всегда проявлял крайнюю сдержанность в обсуждении этого мучительного вопроса.

Дядюшка Люччино был, как говорится, целомудренным. Когда я рассматриваю его портрет, я всегда поражаюсь, до какой степени он похож на русского. Однако в наших жилах нет ни капли русской крови, мы всегда ездили за женами в Венецию, где у женщин живая и горячая кровь, способная укрепить таланты нашего рода. Люччино был блондином с персиковой кожей и ягодицами, поневоле напоминающими своей округлостью этот фрукт; он был скуласт, а из-под томных ресниц смотрели голубовато-сиреневые глаза. Он был наделен восхитительным голосом, который брал начало, если можно так сказать, из самого корня зла. Это был один из тех контральто, которые невольно вызывают в памяти прекрасный пышный бюст. В России пренебрегали итальянским институтом кастратов, и на голос Люччино, который он сохранил до почтенного возраста с помощью одного специалиста из Падуи, смотрели как на чудо природы. Я часто замечал: то, что следует называть чудом природы, не относится к чудесам, а зачастую еще меньше относится и к природе. Так было и в случае с дядюшкой Люччино. Все, что было подавлено здесь, расцвело там, словно по закону компенсации. Ему рукоплескали по всей Европе, хотя, как писала одна из язвительных венецианских газет, «он не смог даже сесть». Там ему платили до восьмидесяти тысяч дукатов за концерт по сборам с публики. В 1822 году, когда я находился в Милане, в ложе Ла Скала, с мадам де Ретти, графом Альберто Синьи и некоторыми другими, в том числе с каким-то французом, который говорил без умолку, вставляя через несколько слов какое-нибудь английское выражение, чаще всего противоположное по смыслу, мы вдруг услышали сильный гул толпы, весь зал поднялся и устроил овацию. Это происходило в разгар сценического действия: давали «Навсикаю» с участием Бордьери. Необычное зрелище: публика встает и аплодирует, повернувшись спиной к сцене и певцам; я наклонился посмотреть, что происходит. И увидел: в сопровождении трех-четырех любимчиков входит что-то вроде дуэньи, лицо нарумянено, светлые пряди волос тщательно завиты, черты лица и чувственные движения, казалось, входили в противоречие с мужской одеждой. В одной руке он держал трость из слоновой кости с набалдашником из золота и алмазов, а в другой – японский веер, из тех, что были тогда в моде. Я никогда не встречал дядюшку, который к моменту моего рождения покинул Россию, но я видел его портрет, который он выслал отцу в качестве свадебного подарка, и без труда узнал его. В явлении этого старика с утиной походкой, поглаживающего свои светлые локоны, было что-то настолько противоестественное и жестокое, что я почувствовал, как по залу пронесся вздох нашего общего создателя. Того, кто задумал нас всех, скучая в своей вечности, желая развлечься. И какова бы ни была цена его созданиям, все же они появились на свет. Мой французский

сосед во фраке горчичного цвета, имя которого я узнал позже, наблюдая за этим явлением через лорнет, тронул меня за локоть:

– Говорят, чтобы сохранить свои великолепные связки, которые так легко торжествуют над годами, он утром и вечером применяет для полосканий горла. . .

Господин Бейль был остроумен.

Глава V

Мне кажется, что из всего нашего рода и из семей Джакотти, Гатти, Подеста и Соджи именно мой отец достиг вершин в своем деле, умея не только превосходно играть на всех струнах профессии, но и добавить к ним новые. Впервые «чародеями» назвал нас в XII веке Валериане; название это относилось к Мерлину и, как объясняет словарь господина Липре, в широком смысле означало следующее: «Воздействовать на людей способом, который можно сравнить с волшебством, то есть воздействовать чарами». Термин претерпел немало изменений, переливаясь смыслами, от определения Воссюэ: «Лжепророки очаровывают их обещаниями воображаемого царства» – до вольтеровского высказывания: «Возвышенным людям надо очаровывать умы», – впрочем, фразы почти не отличаются друг от друга.

Джузеппе Дзага был гипнотизером, алхимиком, астрологом и целителем. Он хотел, чтобы его называли еще и «архилогом», раскрыть точный смысл этого слова он отказывался; ему было запрещено распространяться о природе и источниках его возможностей, а он был скромнен. Как было принято у детей broglio, дед Ренато начал обучение Джузеппе в самом раннем возрасте; отец иронически называл этот процесс «классическим образованием». От тренировки ловкости жонглера, канатоходца и чревовещателя переходили к упражнению более заурядной фокуснической сноровки *pick-pocket* (которую так замечательно описал Диккенс в «Оливере Твисте»), или щипачей-карманников, как тогда говорили. Целью всех этих экзерсисов было развитие глазомера, живости жеста, гибкости и отваги, это были азы искусства.

Мой отец Джузеппе Дзага покорял своими способностями не только российскую публику, где климат был особенно благоприятен для западных талантов, но и немецкие дворы. То было время, когда великие мира сего искали развлечений в загробной жизни, а шуты выходили из моды, уступая место философам. Но, может быть, наибольшую известность он приобрел именно как целитель, и если методы, к которым он иногда прибегал, могли показаться некоторым из его современников шарлатанскими, то в наши дни удивительные возможности психологии, внушения и гипноза слишком признаны, чтобы отказать отцу в звании первооткрывателя. Может быть, интересно отметить, что он прилагал свои таланты или, как желчно высказывался по этому поводу Казанова, «свиристествовал» исключительно в высших сферах общества. Нет, не то чтобы он был безразличен к страданиям маленького человека, но, наоборот, полагал, что «зло, от которого народ страдает, происходит не от психологических причин, а слишком зависит от реальности; это зло по победить силами искусства, а голод народных масс не утолить трансцендентным». Я привел эти фразы по письму, которое цитирует господин Филипп Эрланже.

Имя Джузеппе Дзага часто мелькает в воспоминаниях той эпохи; вот портрет, который рисует баронесса Коцебу:

«Господин де Дзага был в Вене весь сентябрь и наделал там много шума, взявшись вылечить любые виды болезней. О нем говорят, будто он то ли араб, то ли обращенный еврей; однако у него, скорее, итальянский или пьемонтский акцент. Позже я узнала, что он из Венеции. Никогда прежде не встречала я человека более интересной внешности. Госпожа Оберкирх сообщила, что у него взгляд почти сверхъестественной глубины. На самом деле, я не взялась бы определить выражение его глаз: это одновременно и пламя и лед; он и пугает и разжигает непреодолимое любопытство.

Можно было бы дать десяток описаний его внешности, все десять были бы похожи, но и разительно отличались бы друг от друга. Он носил рубашку с цепочками от пяти своих

часов. Каждый механизм был остановлен, показывая для какого-нибудь важного лица предначертанный ему час; имен он не разглашал, чтобы не посеять панику и не вызвать интриг. На пальцах красовались бриллианты необычайной величины и чистейшей воды. Он утверждал, что изготовил их собственноручно. Во время ужина и когда подавали десерт он сидел справа от меня и, сверясь с одним из циферблатов, как бы вскользь сообщил присутствующим о смерти императрицы Марии-Терезы. Позднее мы узнали, что в этот час, когда он сделал это печальное пророчество, великая государыня испустила свой последний вздох. . . »

Милая баронесса, скорее всего, описала здесь Калиостро, нежели моего отца. Джузеппе Дзага считал ниже своего достоинства так форсить; его бриллианты не были ничем обязаны атанору, он ограничивался изготовлением в нем золота, применяя строго научные методы, а номера с остановившимися часами, которые привлекают всеобщее внимание, уже давно оставил для озабоченных новичков. Впрочем, оба – и Калиостро, и мой отец – соперничали и питали искреннее отвращение друг к другу, как всякий венецианец – к любому сицилийцу. Когда Калиостро появился в России и попытался потеснить отца в сердце императрицы, отец без труда справился с этим. Врачи пытались избавить императрицу от хронических запоров, которые жестоко мучили ее. Сицилиец якобы прибыл в Санкт-Петербург с одной целью – облегчить ее страдания. Он дал ей серебряный порошок, обладающий мощными очистительными способностями. Отец подкупил смотрителя за ночными горшками Екатерины; тот устроил так, чтобы заменять Калиостров слабительный отвар снадобьем из мальвы, крапивы, спорыша и хвоща, сильные закрепляющие свойства которых всем известны; у императрицы начался такой запор, что, боясь взорваться, она в панике вызвала отца. Он высмеял рецепт сицилианского шарлатана и влил в знаменитую большую обильную порцию своего собственного лекарства, состав которого я назову позже; века не ослабили свойств этих полезных растений. Калиостро попросили удалиться как можно быстрее, что он и сделал, закатив отцу сцену, после которой красивая и деятельная Серафина получила от генерала Деметьева в обмен на его покровительство изумрудное кольцо, а это задало медикам много работы.

Когда я родился, отец был в расцвете сил, но я не сохранил о его образе такого тревожного воспоминания, какой дает нам баронесса Коцебу. Его лицо казалось мне добрым и мягким, чуть тяжеловатым из-за меланхолии, особенно проявляющейся после еды. Он был склонен к полноте; его взгляд «мрачного венецианца», как говорят художники, носил отпечатки вялости и томности из-за несварения. Когда пудра и парики вышли из моды, он отрастил длинные усы, которые придавали ему некоторое сходство чуть ли не с жандармом или таможенником, в особенности если он начинал петь, он ведь был большим любителем бельканто. Но когда я родился, в нем произошли удивительные перемены. На лице его обозначилась тайна, взгляд охватило тревожно-странное выражение, он становился то глубоким, почти бездонным, то, наоборот, острым, пронзающим вас, точно клинок; чувственные губы сжимались; нос изгибался, как у хищных птиц, и лицо застывало, каменя, словно под воздействием какой-то внутренней угрозы. Он маялся, не находя себе места, иногда быстрая улыбка проскальзывала по этой маске и тут же улетучивалась. В его присутствии только гримаса могла сохранить у мужчин слегка ироническую улыбку; дыхание дам учащалось; это был настоящий театр. Ходили слухи, будто он применял гипноз, как только входил в зал, но говорить так – не знать пределов этой науки и вполне определенных условий, которых требует ее применение на практике. Ему приписывали родство с Роком и старались извлечь выгоду, заискивая перед безучастной знаменитостью.

Я нежно любил его. Сидя у камина на коленях у отца, я слушал воспоминания о нашей родине, Венеции, а русский снег кружился за ночными окнами, и с колокольни Святого Василия плыли звоны. В рассказах отца дед Ренато, конечно, занимал значительное место.

Он словно олицетворял собою душу венецианского карнавала, и, если верить рассказчику, именно Ренато вдохновил своего друга Тьеполо набросать на бумаге первые варианты его Полишинелей. Далее легенда менялась в зависимости от настроения отца, и мне трудно сказать, каким образом жонглер с площади Сан-Марко, впавший в грех серьезности, в глазах инквизиции – смертный, и прибывший в Россию, каким же образом он превратился в философа, творца, гуманиста и «европейский ум» (так выпендренно называл его в своем дневнике купец Рыбин), но тем не менее успеха он добился. Он построил первый в России итальянский театр и стал его руководителем, приглашая туда лучшие труппы того времени, и сам Тоцци в 1723 году играл там Арлекина. Когда же старость набросилась сначала на его кости, а потом и на речь и когда он приготовился к смерти. . . Отец прерывал рассказ, вздыхал, мрачно смотрел на огонь. . . Впервые он говорил о смерти, обычно у нас в доме никогда не упоминали это поражение. Я ждал. Окна были залеплены белым; с наступлением ночи по улицам бродил страшный холод – дыхание великана Кус-Укушу; он хватал за нос замешкавшихся детей и приводил их домой; иней на стеклах растрескивался на тысячи морщин. Я прижимался к широкой отцовской груди и осторожно трогал пальцем кончик носа, убеждаясь, что я все еще здесь, ведь не знаешь этого наверняка, у великана Кус-Укушу были длинные руки.

– Папа, – шептал я, стараясь немного напугаться, чтобы потом меня успокоили, – то есть мы что, можем умереть?

Отец глубоко вздыхал, из-за чего я немного приподымался.

– Так действительно может случиться. Поэтому благоразумней будет одеваться потеплее, когда ты идешь кататься на коньках.

Меня внезапно охватывало горячее желание, чтобы он любил меня еще больше.

Я не помнил мать, и любви мне всегда было мало,

– Сегодня я стоял на одной руке, – гордо объявлял я. – А вчера десять минут танцевал на канате.

– Хорошо, – радовался отец. – Очень хорошо. Надо продолжать, может быть, ты будешь великим писателем.

Позже я понял, что артисты *brogljo*, как и турецкие и кавказские фокусники, которых я когда-то очень ценил, рассматривают смерть как совершенно омерзительный момент истины и подлинности и что это слово, коль неизбежно, произносят, только дважды сплюнув. Смерть – это конец всех уловок, ухищрений и ужимок, она ставит под угрозу качество спектакля, срывает наш выход. Когда дед Ренато в семьдесят шесть лет почувствовал, что пора переходить в мир иной, он вызвал к себе сыновей – Джузеппе и Люччино. Все еще твердым голосом он сообщил им «оба всеобщих и глубочайших секрета счастья», как он выразился с сильным итальянским акцентом, от которого мы так и не избавились, в какой бы стране ни находили пристанище и где бы ни оставляли свои следы.

Отец замолчал, словно сожалея, что слишком много сказал. Его рука, гладившая меня по голове, остановилась. Огненный человечек вертелся, плясал, пел и весело трещал поленьями. Я завидовал его колпачку, его веселому костюму, который переливался всеми цветами – от красного к желтому, от оранжевого до зеленого и пурпурного. Он напоминал мне костюм Арлекина, хранившийся в сундучке синьора Уголини. За окнами, в ледяной ночи, с неба медленно спускались крошечные ангелы, кружились в воздухе, прижимались носами к стеклам и разглядывали нас. Они наверняка тоже хотели вызнать оба «глубочайших секрета счастья» деда Ренато. Казалось, отец позабыл обо мне. Взгляд его стал неопределенным, расплылся; на ужин подавали фаршированного гуся, я не хотел торопить его, хотя сердце колотилось и любопытство сneiderало меня. Я давал ему время. Интуитивно я уже понимал, что хорошо подготовленные действия приносят больше плодов и восхитительно оттягивают момент насы-

щения, это было потом очень полезно – и для моих читателей, и для общения с дамами. Но юношеская нетерпеливость взяла свое:

– А какой первый секрет?

Отец вышел из задумчивости.

– Это книга, – сказал он. – Очень хорошая книга с дорогим переплетом, а внутри – только несколько чистых листов. Каждая из этих пустых страниц преподает нам замечательный урок и дарит ключ к самой глубокой истине. . .

– Как это? Ты же сказал, что в книге ничего не написано? Если там пусто. . .

– Именно так. Белые страницы означают, что еще ничего не сказано, что ничего не потеряно, что все можно еще создать и осуществить. Они полны надежды. Они учат доверять будущему.

Я был страшно разочарован.

– И все? Там нет никаких магических слов, которые достаточно только произнести, чтобы исполнились все наши желания?

– Существует много слов, много формул – их будет все больше и больше, – которые указывают путь к земному счастью и обещают исполнение любой нашей самой заветной мечты, – сказал отец. – Библиотеки полны такими словами. Но на страницах нашей Книги их не встретишь, это мудрая Книга, непростая Книга. Она хочет избавить нас от страданий, кровопролития, жестоких поражений. Она вызывает недоверие, испытывает нас, но она и учит доверять будущему, быть оптимистами.

Я был очень недоволен. Не так я представлял себе «всеобщий и глубочайший секрет счастья». Мои старые приятели, лавровские дубы, похоже, были осведомлены гораздо больше, их шепот раскрывал захватывающие тайны. А эта легендарная Книга, оказывается, не могла открыть даже магической формулы, благодаря которой я заставил бы ходить, плясать и играть со мной снежного человечка. Я вылепил его во дворе, и теперь он приводил меня в отчаяние своей тяжелой неподвижностью и глуповатым видом.

Отец чувствовал, что не должен был забивать мне голову подобными идеями, я был еще слишком молод, чтобы воспользоваться иронической, веселой мудростью деда Ренато. На следующий день он подарил мне замечательные салазки с колокольчиками еще более звонкими, чем на нашей тройке, так что я быстро забыл о ненаписанной Книге, каждая страница которой так много обещает нам.

Не вздумайте вообразить, что Джузеппе Дзага был циничен. Просто он был сыном человеческого карнавала, и отчаяние его никогда не доходило до крайности. Когда впоследствии он рассказывал мне о любви, о жизни и ее сокровищах, о неиссякаемых богатствах души, он не призывал спекулировать на них, набивая полные карманы. Чародеи никогда не паразитировали на тайных надеждах мечтателей. Я объявляю лживой клеветническую статью, опубликованную господином де Ла Тур на литературной странице «Женевской газеты» в ноябре 1933 года, где автор утверждает: «Джузеппе Дзага, как Нострадамус, Калиостро, Сен-Жермен, Казанова и прочие шарлатаны, видел в душе человека только что-то вроде ларчика с драгоценностями и источника бесконечных доходов для тех, кто умеет оттуда черпать». Вот такое безосновательное обвинение; оно точно так же может относиться как к тем, кого автор называет «щипачами душ», так и к Микеланджело или Толстому. Помню, как был возмущен этим мой друг Томас Манн, так как его вдохновляла идея о неприкосновенности художника. Было бы правильнее сказать, что отец знал: времена чародеев, колдовских заклинаний и эликсиров бессмертия прошли, период алхимиков и «сверхъестественных способностей» близок к завершению, и публика, вкусы которой быстро меняются, вскоре потребует у более изоощренных талантов новых запасов надежды, мечты и веры в будущее, необходимых людям, чтобы продолжать

терпеть и покоряться.

Была еще и другая опасность, одна из тех, которые всегда угрожают нашему роду; она тайно подтачивала силы отца: чтобы много практиковаться в иллюзии, он начинал мечтать о подлинной власти. Раз господин де Ла Тур не удержался от слова «обман», скажем, употребляя его же термины, что Джузеппе Дзага после того, как его столько обманывала жизнь, начал испытывать потребность достичь высшей степени мастерства, обманывая самого себя.

Но прекратим споры. Вернемся во дворец Охренникова, спокойствие которого заносит снегом, к огненному человечку, который мелькает на поленьях и так хочет нравиться, настоящий маленький бродячий акробат. . .

Отец молчал. Я слушал тиканье его жилетных часов: он объяснил, что это голос очень старого дрезденского бюргера, который живет внутри часовой коробки и вращает стрелки; он ворчлив, ленив, и нужно подкручивать ему гайки каждый вечер. Я слушал тиканье и ясно видел *der alte Hess**, который хлопочет в своем жилище, его тонкие, как палочки, ножки, одежду из зеленого саксонского сукна, его парик и табакерку, и забывал спросить, какой же был второй секрет деда Ренато, который он поведал своим сыновьям перед смертью. Назавтра я забирал часы, которые отец забыл на рабочем столе; вооружившись ножом, я вскрывал часовую коробку и разбираал механизм, чтобы помочь человеку выбраться наружу; я не находил его там, а это доказывало, что он еще меньше, чем я думал. Сейчас я считаю, что в этот момент я и состоялся как романист.

Много лет спустя, когда я уже публиковался и читатели прислушивались ко мне, как когда-то я сам – к тиканью человечка, запертого в золотых часах, я вспомнил о двух секретах моего знаменитого предка. Отец тогда жил со мной, старая тень, почти растворившаяся в моей истертой временем памяти. Должен сознаться, что другие прожитые мной, если считать от этого времени, жизни требовали внимания к себе, так что контуры его образа стали немного расплывчатыми, не такими точными, как я пытаюсь здесь это представить. И тогда я спросил, каков был *второй* секрет, вторая «глубочайшая истина счастья», по благоговению святого Ренато. Достаточно было задать этот вопрос, чтобы вывести Джузеппе Дзага из туманного состояния и заметить в его глазах маленький черный отблеск иронии, огонек с чудинкой, который в один миг преодолел годы, отделявшие нас от первой насмешки Арлекина над Роком, от подмостков на площади Сан-Марко.

– Да, – сказал он, – помню, деду хватило сил поднять указательный палец, будто он хотел подчеркнуть важность происходящего, и потом. . . И потом он прыснул со смеху и умер.

Признаюсь, что не считаю это признание насмешкой. Времена изменились. Мы живем в эпоху, которая, угрожая презрением и нищетой, требует серьезного. Ладно еще прыснуть со смеху и отдать Богу душу. Каждый помогает себе изо всех сил и берется за дело как может, чтобы преодолеть неприятные обстоятельства, хотя мои читатели – мы жили в эпоху Луи-Филиппа, – конечно же, предпочитают церковные таинства. В XVIII веке добрые слова часто приводили к доброму результату. Но победившая и неплохо пристроившаяся буржуазия установила прочное и надежное господство, даже не имея опоры в этой видимости содержания, которую наша ловкость умеет придать любой форме. Новые господа помнили о непочтительности Фигаро, которая предвещала конец князьям, относились недоверчиво к смеху и тонко различали любой шум, их изобличающий. Чародеи работали в серьезном, патетическом и слезоточивом жанрах. Нас просили быть выше черной хандры, чтобы жизнь, по контрасту, казалась розовой. Мелодрама была лучшим способом понравиться. Мы думали над этим и выводили поучительные финалы. Короче говоря, «всеобщий и глубочайший секрет счастья»,

*Старого Гесса (нем.).

сведенный к взрывам хохота, почти не помогал мне, и я удивлялся, что великий шарлатан, дед Ренато, наверное, не смог выглядеть достойно, степенно и важно, покидая сцену жизни. Надо полагать, что он тоже потерял священный огонь, поддавшись на искушение и легкость быть подлинным.

Друг читатель, ты, наверное, удивишься, слушая, как я рассказываю, что был очевидцем событий многих лет и веков, с 1760 года и до наших дней. Тем, кто видит в этом помутнение разума старика, впавшего в детство, я в свое время обязательно раскрою очень несложный секрет такого долголетия и такой цепкой памяти. Вы увидите, что в этом нет ничего сверхъестественного, ни чудотворного эликсира, ни чертовщины; но я, верный канонам моего искусства, приберегу объяснения до конца повествования. А пока – пусть окажут мне доверие. К дорогим читателям я питаю любовь, невероятное уважение и бесконечную благодарность; меня заботит лишь одно – нравиться публике, развлекать ее, завоевывать ее милости, получать знаки ее внимания, видеть улыбку одобрения.

Мой литературный дебют был очень заметным; в моих книгах увидели интерес к судьбе человечества, обеспокоенную натуру, стремящуюся к идеалу справедливости и братства, а также влияние какой-то большой любви и моего русского детства.

Глава VI

Ее звали Терезина.

Когда я произношу это имя, мне кажется, что все друзья детства, великаны и гномы, мухоморы, грибы с широкополыми коричневыми шляпами, которые они снимают, потому что знают – только их головные уборы пригодны в пищу, а ножки невкусные, – драконы, одетые в воскресные одежды, и дубы Лаврово, похожие на старых русских крестьян, все друзья шагают ко мне, протягивая подарки, и что северный ветер Ефим и восточный ветер Хитрун ложатся к моим ногам и шепчут это имя.

Терезина. . .

Я прожил так долго потому, что несу бремя любви. Однажды, не знаю, когда и где, это мне трудно понять, другой человек полюбит так, как любил я, и тогда я смогу умереть с легким сердцем, моя задача будет выполнена, смена – обеспечена. Я знаю, такие речи могут удивить тех, кто видит во мне лишь старика, осененного пустыми почестями, забившегося в кресло у огня, завернувшегося в одеяло, в домашних тапочках и старомодном нелепом колпаке, старик этот пересчитывает страницы и книги, им написанные, как Гарпагон считал свои монеты. Еще знаю, что годы сделали черты моего лица слишком резкими, меня сравнивают с диким волком, кто-то сочтет их почти хищными и не поверит в проявление столь трепетных чувств. Меня называют скуповатым, и это правда, я ревниво слежу за моим имуществом.

Терезина. . .

Отец уехал из Санкт-Петербурга в 1783 году, оставив нас на попечение синьора Уголини и многочисленной прислуги. Никто не сомневался, что, несмотря на возраст, он отправился в Венецию за женой.

Итак, мы – сестра и два моих брата – оказались предоставленными самим себе и слонялись по дому купца Охренникова, торговца сахаром. Дом этот дед Ренато купил за бесценок после того, как Нева вышла из берегов и затопила низкие кварталы нового города, растворив весь товар, который хранился на складе Охренникова. Рассказывали, что несколько недель после потопа все в округе пили только сладкую воду.

Я сохранил воспоминания о нескончаемых полях, похожих на янтарные озера, и о кафельных печках, на которые мы забирались на ночь тайком от прислуги, потому что спать на печи – крестьянский обычай и нас ругали за неумение держать себя в обществе. Дни и недели неторопливо тянулись в зимнем оцепенении. Под надзором синьора Уголини мы учили русский, итальянский, французский и немецкий языки. Это был человек с буйной шевелюрой, волосы торчали у него из черепа жесткими, ломкими зигзагами, словно маленькие окаменевшие молнии; единственное проявление независимости, которое он себе позволял, – отказ носить парик. Костлявый, тощий, несмотря на знатные супы, которыми кормила его Авдотья, он глядел на мир живым и одновременно грустным взглядом ребенка из-под редких ресниц и казался вечно удивленным, будто с тех пор, как он пришел на землю лет семьдесят назад, все осталось таким же тревожным и таинственным. Казалось, он неспособен к личным отношениям с жизнью, а тем более – со счастьем, и он полностью посвятил себя другим людям. Он родился в Бергамо, в тридцать лет поступил на службу к отцу, когда тот останавливался в Венеции. Когда, по приглашению какого-то княжеского двора или какого-нибудь богатого торговца, Джузеппе Дзага удивлял гостей предсказанием будущего и чтением мыслей или сеансами гипнотизма, синьор Уголини выполнял обязанности секретаря, поверенного и помощника. Отец не любил демонстрировать свои возможности и все реже и реже занимался

этим. Впрочем, озабоченный чистотой своей репутации, он заметил, что авторитет только растёт, если поменьше показываться на глаза и воздерживаться от публичных выступлений. По этой причине он старался не удовлетворять любопытство публики, а ему стали приписывать всевозможные подвиги в сфере сверхъестественного. Чтобы покончить с домыслами, причинявшими ему боль и навлекавшими на него гнев русского духовенства, у которого он был на плохом счету, ему приходилось давать какое-нибудь представление. И когда отец вновь «появлялся на подмостках», если можно так выразиться, то друг Уголини был ему весьма полезен в качестве помощника или, если угодно, пособника.

Вот так синьор Уголини стал нашим приживальщиком, одним из «близких на все случаи жизни», которые жили в каждой русской семье и были одновременно и бездельниками, и козлами отпущения; их кормили и одевали, а в обмен на это они были обречены на безграничную преданность своим покровителям. Приживальщик жил, так сказать, чужой жизнью, разделяя беды и радости семьи. Синьор Уголини когда-то служил в труппе Имер, где работал в начале своей деятельности Гольдони и играла знаменитая *enamorata** Джанетта Казанова, мать того самого авантюриста. Господин Гольдони еще не произвел переворота в искусстве комедии, предлагая актерам написанные тексты; кроме основной линии, о которой договаривались заранее, все остальное было импровизационным; живость ума и жеста, ловкость имели решающее значение; играли телом, маской, которая выражала неизменный и единственный характер персонажа. Имея мало сценических дарований, но влюбленный в театр, приятель Уголини был заведующим постановочной частью и казначеем, пока не влюбился в малышку Альбину Сарди, восходящую звезду Венеции, не украл всю выручку и не напился до положения риз. Красавица по-прежнему смеялась над ним, а он все равно был влюблен. . . Синьор Уголини бросился в Большой канал, откуда его и выловил мой отец, проплывавший в гондоле из Дзуэки. Вынужденный отказаться и от театра, и от своей любви, бедняга Уголини отказывался в каком-то смысле и от себя самого; он привязался к отцу и последовал за ним, когда тот возвратился в Россию. Он стал нашей нянькой, надзирателем и объектом наших насмешек, насадкой, наставником и товарищем по играм. Я вижу его встревоженное лицо оливкового цвета, длинную шею с огромным кадыком, его глаза, в которых светятся дружелюбие и доброта, он склонился над моей колыбелькой – не начинается ли насморк? не поднимается ли температура? Чтобы насмешить меня, он вращал безумными глазами; быстро двигал кадыком вверх-вниз, делая вид, что проглотил свои часы, которые ловко прятал за кружевной манжетой. Он был забавным и трогательным; мне казалось, его задумали персонажем моей любимой книжки «Приключения бедного Жана» и лишь по какому-то недоразумению, из-за типографской ошибки, Уголини был вынужден находиться в мире существ из плоти и крови.

Сохранив привычку и в Санкт-Петербурге носить венецианский костюм, он немного походил на старомодный призрак. Карманы всегда были полны конфет для ребятишек и семечек для ворон, которых он называл, по-французски *грассируя*, – «воррроньё»; он шел по заснеженным улицам, а за ним спешили и те и другие, вороны и дети яростно препирались друг с другом из-за семечек. Все дворовые собаки знали, какой дорогой он идет, и ждали его на углу, где жарился в лавочке шашлык или пахло жирными котлетами.

Принчипио Орландо Уголини родился в 1704 году в Бергамо, умер в 1774 году в Санкт-Петербурге, но погребен вторично, благодаря моим усилиям, в Венеции в 1842 году. Именно он познакомил меня в самом раннем детстве с персонажами *commedia dell'arte*, с которыми меня связала неразлучная дружба. Я всегда звал их на помощь в трудную минуту, когда сомнение

*Букв. «влюбленная» (*ит.*) – одно из театральных амплуа.

заходило свою грустную песню; и они, смеясь, шутя и кувыркаясь, сразу бежали ко мне. Благодаря им я вспоминал, что только беззаботность поддерживает человека, когда на него давит непосильная тяжесть мира, от них я узнал, что Атлас был танцором. Бригелла прибежал из Бергамо, Полишинель – из Неаполя, Панталоне и Капитан – из Венеции, Доктор – из Болоньи, и под руководством самого синьора Арлекина они втягивали меня в свой хоровод, отгоняя печали и заботы. Они научили меня, что быть человеком – это вызов, и единственно возможный ответ – дерзость надежды, ловкость канатоходца, сноровка фокусника и тысячи проделок Арлекина. Позже такое же целебное высокомерие я нашел в фильмах Филдса и братьев Маркс.

Встречей с товарищами по восхитительной борьбе я обязан Уголини. Когда мои занятия заканчивались, ничто не доставляло ему большего удовольствия, как, изображая неприступное величие, выслушивать мои уговоры, мольбы, а затем вытаскивать – не знаю откуда (руки фокусника были все еще ловки, так мне и не удалось узнать, где он его прятал) – ржавый ключ внушительных размеров и показывать его мне. Я сразу вскакивал и переходил на галоп; мы поднимались в комнату; здесь, изобразив несколько лжеколебаний и последних ужимок, он наконец открывал большой зеленый с красным сундук, стоявший рядом с его кроватью. Он извлекал оттуда – и с какими предосторожностями! – старые костюмы и маски *commedia*, и вот уже мои друзья летели сюда со скоростью света. Мир давил им на плечи; вооружившись метлами, они выметали все тени и гонялись за маленькими кусачими демонами уныния и страха.

Летом в Лаврово, в толпе столетних лесных зрителей, никогда не видевших карнавалов, синьор Уголини выбирал полянку, хорошо освещенную веселым небом. Переодеваясь с проворством, удивительным для пожилого человека, то в один, то в другой костюм, он превращался в Капитана, Доктора, Бригеллу или самого синьора Арлекина, заполняя поляну напряженной, своевольной и многоликой жизнью, в которой Судьба тратит все свои силы, чтобы испортить праздник, и становился похожим на одураченного, жалкого, побежденного Базиля. Доктор всегда получался смешным, потому что, говорил Уголини, законы слишком долго правили миром и изжили сами себя; Арлекин полагал, что следует избавить людей от слишком большой почтительности, внушаемой старостью. Чтобы воплотить Панталоне, наивного, трусливого, замшелого хвастуна, Уголини надевал черное платье, шерстяной колпак, штанишки-кальсоны, красные чулки и желтые туфли первых торговцев адриатических лагун. Дребезжащим голосом он вспоминал вслух, как его сундуки были полны золота, в доказательство, что он был умнее всех. Для доктора Уголини натягивал костюм болонских университетов и адвокатов; вооружившись слуховой трубой, потому что был глух как тетерев, доктор угрожал, что всех нас повяжет законами, чтобы мы не издевались над установленным, не вели себя плохо и не мешали заведенному порядку вещей. Но больше других я любил Бригеллу и, особенно, Арлекина; их одежды, достойные жалости, и нахальные шалости будили во мне чувство братской сопричастности и наполняли мое сердце надеждой.

Вот так солнечные лучи – волшебные палочки дорогого Уголини – утверждали на русской земле радость венецианского карнавала, а русская земля, может быть, больше других нуждается в непокорности, непочтительности, беззаботности и легкости. Я плясал вокруг него; я хлопал в ладоши; я кувыркался и ходил на руках; я делал сальто назад, почти не касаясь земли, почти как первые Дзага, акробаты и жонглеры *broglio*; сами дубы восторженно кричали «ого-го-го», которыми казаки выражают свое удивление и одобрение.

Мой дорогой, обожаемый Уголини уже давно отдыхает на своем островке, в лагуне, переодетый, благодаря моим усилиям, в костюм Арлекина. Думаю, привычку говорить о серьезных вещах с улыбкой и действительно находить серьезное, только чтобы улыбнуться, эту привычку

ку, которую часто изобличают мои критики, я приобрел в играх с Уголини. А это значит, что с тех пор, как я держу перо, из века в век меня со злостью называют увеселителем и «позолотителем пилюль». Не удержусь, чтобы напомнить: все Дзага были шарлатаны, и, хотя я предпочел профессию писателя ремеслу фокусника и ярмарочного иллюзиониста, я все равно родом из тех, кто «доставляет удовольствие»; даже больше – я требовал от пера скорее радости для себя самого, чем счастья для людей. Не знаю, правильно ли это, но уверен, что то же самое можно сказать и о любви.

Глава VII

Это случилось после одной из таких интермедий, когда мы бережно уложили волшебные одежды в венецианский сундук и я занял свое место за рабочим столом; моя жизнь внезапно оказалась целиком отдана во власть человека, одновременно и придавшего ей смысл и лишившего ее всякого значения. Как только я проснулся, то узнал от слуг, что отец вернулся из путешествия поздно ночью и что он привез из Италии совсем юную и очень красивую супругу. Мне захотелось обняться с ним, но на меня накричали; они очень устали, последние версты преодолели в метель, их нельзя беспокоить. К желанию увидеться с отцом после восьми месяцев разлуки примешивалось еще и любопытство – кто будет моей «новой мамой», как объяснялось в одном письме, пришедшем за несколько недель до этого. Не зная своей настоящей матери, я не испытывал никакой враждебности к той, которая должна была занять ее место; я только спрашивал себя, найдется ли достаточно места для новенькой в той отцовской нежности, которой он всегда щедро одаривал меня, и не уменьшится ли моя доля ласки. Я в своей щедрости готов был немного потесниться, лишь бы его жена была доброжелательной. Братьев и сестер это совсем не занимало; они уже гораздо меньше думали об изменениях, которые внезапно наступили в нашей семье, а больше о том, как покинуть дом и идти каждый своей дорогой.

Понятно, что в тот день я не мог сосредоточиться на уроке, поэтому, чтобы унять мое страстное любопытство, синьор Уголини прибег к помощи сокровищ из сундука. И теперь, сидя за столиком и с необычайным рвением затачивая свои перья, я беспрестанно бросал нетерпеливые взгляды на парадную лестницу и ждал появления новой хозяйки, которую я представлял почему-то сухопарой, плоской, кривоногой и даже лысой, что свидетельствовало о темных страстях, бушевавших в моем сердце под воздействием этого события. Представления эти были тем более нелепы, что отец в отношении женщин был очень щепетилен и сам нравился дамам. Они считали, что его необычайные способности не заканчиваются на пороге алькова, наоборот, и ожидали от Джузеппе Дзага небывалых подвигов в исполнительском мастерстве. Однажды Лист сказал мне, что столкнулся с той же трудностью: дамы воображали, будто его виртуозность, неистовство и вдохновенность проявляются не только за клавиатурой. «Мой друг, – произносил он с заметным венгерским акцентом, – удивительно, в чем только женщины не ищут гениальности».

Было десять часов утра. Синьор Уголини сидел чуть в стороне, поигрывая с табакеркой, инкрустированной цветными стеклышками, гораздо более веселыми и дружественными, чем настоящие рубины и изумруды, чьи пышность и блеск всегда казались мне высокомерными. Было время урока каллиграфии, считавшегося тогда важным искусством; в ту пору сущность вещей была тесно связана с формой, из которой она извлекала свои основные богатства. Английский философ Бэринг писал, что форма – это единственно постижимое содержание различных культур; это так верно, что дело доходит до самоубийства ради стиля. Я прожил слишком долго и видел, как в девятнадцатом веке смерть становилась принадлежностью изысканного дендизма, а в двадцатом вернулась к демократической простоте из-за числа своих жертв.

Высунув язык, я выводил прописные буквы с изящными закруглениями под строгим надзором великого Кудратьева, известного в Санкт-Петербурге своим искусством. Он был придворным каллиграфом. Вытащив изо рта длинную курительную трубку из Пруссии, мастер

коротким ударом трубки по пальцам безжалостно прерывал мои труды, как только ему казалось, что пропорции буквы по сравнению с официальным четким образцом, который он прорисовал для меня, нарушены. Он считал, что из-за преждевременного развития каких-то бугорков воображения у меня в мозгу схематичная сухость букв в моем исполнении рассеивается и приобретает несколько сладострастную округлость, сродни чувственным формам ягодиц, ляжек и грудей Парашки, одной из наших горничных, которую я случайно увидел голышом au bain, в парилке. Следовательно, я испытывал самые разные чувства, вырисовывая отверстия и выписывая многочисленные завитушки моих «а», «б», «о», «ж»; все, что витало в моих грезах и могло обротать форму, рука неволью проявляла и странным образом преувеличивала в этих невинных прописях. У меня текли слюнки при виде стройненькой гласной, и внезапно кровь прилиwała в голову и другие вполне определенные места; я преисполнялся чувством преступной вины перед алфавитом. Эти симптомы исчезали, когда мы переходили к немецкому, к его готическим буквам, заостренным, суховатым, как христианский терновый венец; эти колючки с поистине прусской суровостью отражали атаки моего воображения.

Итак, я собирался написать двойное «аа», парочку, чрезвычайно возбуждающую меня и покачивающую в своем обольстительном танце бедрами Саломеи, как вдруг услышал песню. Думаю, никогда еще чопорные стены дома Охренникова, словно впитавшие в себя всю тяжеловесность русских купцов, не отражали столь милого эха. Я поднял голову.

Комнаты первого этажа, так называемая приемная, шли анфиладой и заканчивались огромной передней с широкой мраморной лестницей, ведущей на этажи для господ, где находились внутренние покои. На этой лестнице, видевшей многих людей из высшего общества, по центру которой слугам запрещено было проходить (можно было только по краю), на этой лестнице я увидел Коломбину. Я слишком сроднился с персонажами *commedia*, чтобы не узнать ее с первого взгляда. Белая-белая, словно одетая в росу и туманы, настолько тонка была ее кисея, она словно застыла в танце, не успев опустить руки и довести до завершения свое па; волосы водопадом струились у нее по спине (я до сих пор не подозревал, что бывают такие волосы), что-то вроде огня с медными всполохами. Она тоже заметила нас через анфиладу комнат и, прервав пение, остановилась. Потом наклонила голову, провела рукой по рыжему потоку, как будто приласкав большое домашнее животное, пристроившееся у нее на плечах, снова запела и направилась к нам. Я никогда еще не бывал в Италии; Венецию знал только по рассказам отца и Уголини и по наброскам друга семьи синьора Белотти, которые переполняли альбом моей сестры. Но голос и песня, которые приближались ко мне, словно пробудили во мне дар ясновидения. Этот дар приписывали всем Дзага, но до этого мгновения я не замечал в себе ни малейшего его следа. С точностью, которую позже подтвердили мои поездки, я увидел Большой канал, дворцовые фасады, оранжевое небо над Сан-Джорджо-Маджоре и гондолы, скользящие по зеленой маслянистой воде. Я увидел Сан-Марко и колокольню, а немного правее от того места, где начинается колоннада, ведущая к набережной Невольников, я увидел подмостки Бессмертных и Коломбину в окружении сгорбленных персонажей *commedia dell'arte*.

Терезина спустилась с лестницы и, посвистывая, пересекла застывшие паркетные озера. Я был поражен: она не была из простых и все же умела свистеть. Я был уверен, что стены дворца Охренникова никогда не испытывали подобного афронта. Такая же мысль, вероятно, мелькнула и у Терезины, потому что она рассмеялась и произнесла на каком-то диалекте:

– Глядя на ваши лица, я поняла, что стены сейчас рухнут, но они еще серьезней, чем я думала. Я новенькая.

Я встал. Старый Кудратьев в парике с заплетенной сзади косичкой, с фаянсовой трубкой и в своем *zimmerstück*, как называли домашние сюртуки из Германии, походил на свежена-

битое чучело сороки. Не поняв ни слова, он почтительно поклонился и стал бормотать: «sehr angenehm», «отчен приятно» «chagriné», – приближаясь в этих лингвистических спиралях к новой хозяйке дома, будто вышедшей из музыкальной шкатулки, и сожалея, что крышка была закрыта неплотно. Приятель Уголини, с перекошенным от нервного тика лицом, завертелся на месте, потирая руки в болезненной неестественности, словно булочник при смерти. Он хорошо понимал, что его будущее зависит от характера и настроения «новенькой». Но, бросив взгляд на лицо молодой женщины, о чертах которого природа позаботилась с нежностью и любовью, он успокоился; тик, пробежав по лицу, собрался в улыбку, синьор Уголини прекратил ломать руки и стал потирать их в явном удовлетворении.

Я стоял, а в горле был комок. И сейчас, когда я пишу эти слова, у меня в горле что-то сжимается и что-то туманит мне взор. О, знаю, я живу в другие времена, я пережиток, анахронизм. Но я еще живой, а покажите-ка мне хотя бы одну историю о любви, это потруднее, чем жить. Я не теряю храбрости, но я довольно стар для того, кто стал первооткрывателем. А вы, конечно, правы, когда улыбаетесь над моей многовековой жизнью, потому что я должен был бы вести счет на тысячелетия: с тех пор как Терезина покинула меня, любой год перевешивает по длительности все недолговечные балеты, которые Время и световые года вытанцовывают с вашими правилами вычислений и денежными средствами. Моя жизнь измеряется совсем другими солнечными часами.

Глава VIII

Я превратился в некое подобие небытия, откуда доносились до моего слуха глухие удары. Наконец в этой пустоте я услышал голос Уголини и почувствовал, как его рука слегка подталкивает меня вперед:

– Это Фоско, младший, к вашим услугам. . .

– Здравствуй, Фоско. Не опускай глаза, я хочу видеть, какого они цвета. . . Красивые! Не красней, краснеть должны бедные девушки. . . ох, ох, извините, совсем забыла, что я больше не. . .

Она засмеялась, откинув голову, волосы отлетели назад, и я чуть не протянул руку, чтобы поддержать ее.

– Замужеству надо учиться. Подумать только!

Я ощутил на щеке поцелуй, почувствовал запах, который стал моим первым опьянением и первым предчувствием того, в чем буду нуждаться всю свою жизнь. Губы Терезины слегка соприкоснулись с моими.

Потом я прочел множество историй о любви, потому что я все еще боюсь холода и постоянно ищу источник тепла, у которого мог бы согреть руки, хотя уже давно покинул Россию. В книгах я встретил описания, часто талантливые, многих видов поцелуев, почти всегда там слишком много трескучих прилагательных, но их усилия спасти и оживить хрупких бабочек, скоротечное бессмертие которых утверждают женские губы, достойно всяческой похвалы. Признаться, я всегда переворачиваю последнюю страницу со снисходительной улыбкой: все эти авторы кажутся мне убогими, потому что в течение своей жизни познали, судя по их рассказам, множество поцелуев. Бедняги! Мне повезло больше. За всю свою долгую жизнь я знал только один поцелуй, а все остальное было лишь профессиональными знаниями и умениями.

Никогда я не узнаю, старый ли хулиган Случай или каприз Терезины переместил этот поцелуй со щеки к моим губам. Мне было только двенадцать с половиной лет, невыразительный возраст из-за глубоко переживаемых чувств. Не знаю, что думают об этом сегодняшние психологи, но убежден, что с этого мгновения мое существование стало неустанной погоней за неуловимым. Только оно, это мгновение, могло дать обещание и тут же сдержать его. После этого были одни банальности. Я все искал и искал, от женщины к женщине, от будуара до притона, из объятия к объятию то, что посулил мне первый поцелуй Терезины, и то, что только он смог вместить в себя. С этого дня все остальное стало просто удовольствием. Пускай здесь усматривают некий романтизм другого возраста, некоторую напускную экзальтированность писателя, который понукает свое воображение, как усталую клячу. Объяснение простое. Губы соприкоснулись, в одно мгновение ребенок стал мужчиной – и больше никогда не смог найти то, что узнал, почувствовал, дождался, потому что больше не мог стать ребенком.

Надо учесть обстановку, момент, обстоятельства: мальчик стоит, держа в руке гусиное перо, вокруг него – французские гобелены, на которых тянутся бесконечные коричневатозеленые охотничьи уголья, откуда все никак не появятся ни скачущий олень, ни свора собак, захлебнувшихся в лае, ни всадники. Огромный камин из белого мрамора принимает утренние горящие угли, которые перестанут разжигать только с первым майским потеплением. . . Веселая улыбка, родившаяся из ожидания счастья, которое жизнь способна дать в одно

из мгновений благосклонности, свойственной нашему милосердному Господу. Большие зеленые глаза, говорящие мне о венецианских лагунах; ласка рыжих волос на щеке, свет жадно пересчитывает их своими пальцами, на губах – поцелуй, невинный, но лишивший невинности меня и обозначивший начало бесконечного поиска.

Так, в двенадцать лет и семь месяцев, я родился.

Перевернув мою жизнь, Терезина грациозным и полным достоинства движением попросилась с обоими стариками и отправилась исследовать дом, а за ней последовала наша бесчисленная прислуга, все, кто мог передвигаться; старых слуг и горничных никогда не увольняли, их содержали, давали приют до конца их дней. Весь день охали и ахали, всплескивали руками и вздымали их к небу – жест, которым милый русский народ, такой же открытый радостям и избыточным чувствам, как и итальянцы, выражает удивление, тревогу и сострадание. Барыне всего шестнадцать лет! Дитя! Подумать только! Кухарка Авдотья, и прачка Машка, и все прочие Сашеньки, Маруськи и Людмилки – все наши бабы испытали прилив материнских чувств. Они окружили Терезину как свою, как обступают нас наши близкие, пытаюсь оградить от насморка, подкладывая в постель разогретые кирпичи, чуть что принося самовар, щекоча подошвы наших ног – развлечение бояр и русских купцов, к которому осталась глуха наша итальянская чувствительность, – и заботясь о нас одновременно искренне и расчетливо. Эти родственные чувства позволяют прислуге незаметно приручить хозяина и управлять им.

Должен сказать, что необычайная юность новой хозяйки дома привела в замешательство и почтенного Кудратьева. Проводив Терезину взглядом, «лучшая в Санкт-Петербурге рука» втянул носом порцию табаку, предложил понюшку и синьору Уголини, который отказался, страдая *анафемой* – напрасно спрашивать меня, какую дыхательную или носовую болезнь это слово обозначает, – и, вздыхая и собирая свои перья, чернила и линейки, покачал головой. Выразив глубочайшие чувства, которые он испытывал, он произнес по-немецки (как и все, кто был благородных кровей, он ставил себе в заслугу, что не говорил по-русски, считая русский язык пригодным лишь для простонародья):

– Unmöglich, unerhört! Sie ist aber ein Kind! Was für ein Glück für den sehr geehrten Herrn!*

Так я узнал, что жена, за которой отец ездил в Венецию, старше меня всего на три с половиной года. Он избегал разговоров на эту тему. Больно было прочесть у такого выдающегося историка, как господин де Серр, в его «Истории шарлатанства от его истоков», что «Джузеппе Дзага утверждал, будто родился в эпоху Рамзеса II и прошел обряд посвящения в бессмертие под руководством жреца Арагмона». Отец никогда не утверждал ничего подобного. Он действительно говорил об иллюзионизме и практиковал его. Но лишите человеческую душу иллюзии: культура потеряет свои самые прекрасные песни и ничего не сможет сказать нам голосом скопца. Сопоставив факты в его рассказах, я могу с уверенностью говорить, что к моменту женитьбы отцу могло быть лет шестьдесят. Выглядел он на сорок пять. Седины у него не было; по выражению одного известного гуляки, графа Сорочкина (Игоря, не путайте с его братом Петром, который был благодетелем народным), Джузеппе Дзага «был подкован как жеребец и скакал как два». Приношу свои извинения за эти грубости, но, может быть, современного читателя это устроит, потому что – видит Бог – я не хочу выглядеть старым дуралеем.

Много лет спустя, в другом мире, я лежал на кушетке в кабинете молодого венского врача, о котором мои кузены Гатти говорили, что он достиг небывалых вершин в нашем деле; особенно он разбирался в сфере подсознательного, новом лавровском лесу, где дремлют все волшебные создания детства. Это был знаток, освободивший иллюзионизм от его низменных

*Невозможно, неслыханно! Она же еще ребенок! Какое счастье для этого почтенного господина! (нем.).

методов: чтобы возвыситься, он спустился в подвалы. Я быстро определил границы его возможностей: он населил другой лавровский лес, о котором я вам говорю, легендами и мифами, чудовищами и духами; отныне они зажили своей независимой жизнью; наша артистическая вотчина весьма обогатилась. А главное, добываясь исцелений теми психологическими методами, истинным первооткрывателем которых был мой отец, он совершил такие чудеса, которым позавидовали бы даже самые знаменитые Дзага.

Я переживал тогда трудные дни, мои читатели охладели ко мне, и, оставив на время вольное и признанное литературное творчество, я пытался постигнуть способы работы этого нового чародея, который вскоре должен был получить признание во всем мире. Я чувствовал, что здесь кроется нечто самобытное, чем нельзя пренебрегать, если настаивать на постоянстве семейной традиции. На нашем старом генеалогическом древе только что распустился новый цветок, и он должен был дать прекраснейшие плоды.

Чтобы получить необходимые познания и сноровку, следовало самому пройти этот новый метод, и, имея некоторые сбережения, я несколько месяцев подвергался так называемому анализу.

Мое нравственное состояние было самым неутешительным. Как любой из нашего рода, я боялся поражений. Дома говорили, что Адриано Дзага, жонглер, потерпев неудачу со своим номером перед самим Лоренцо Великолепным, покончил с собой. Правда, Возрождение не пошло совершенству на уступки. Я был готов, чтобы меня водворили в цирк, мюзик-холл, водевиль, чтобы меня трактовали как вульгарного увеселителя, сочинителя ничтожных литературных дивертисментов. Мои книги больше не покупали: критика окружила молчанием мои произведения. Чтобы выжить, мне пришлось совершить чуть ли не преступление: бросив всякие попытки казаться значительным (произведение создает для автора иллюзию величия), я выступал в маленьких провинциальных театрах с магическими номерами. Я даже добился некоторого жалкого успеха.

Итак, я переживал кризис. Но кроме равнодушия читателей и забвения, в котором я пребывал, было еще и нечто большее. Прежде всего – здоровье; мои настойчивые поиски совершенства, которое дали мне губы Терезины, закончились пинком Венеры, сифилисом, гонореей и шанкрами всех размеров; я мечтал прекратить погоню за подлинностью, пережитой однажды, испытанной, обретенной, хотел покончить раз и навсегда со всеми зачарованными лесами детства. В каждом новом объятии я ощущал все тот же привкус поражения.

– Сколько женщин у вас было? – спрашивал меня «психаналист» – термин, который, впрочем, не устоялся в разговорной речи. Впервые я услышал, как его употребила моя подруга Лу Андреас-Саломе, искусительница Ницше и Рильке, ставшая через некоторое время тайной советчицей другого чародея.

– Нисколько, – ответил я. – Я удивлен, что коллега такого масштаба может задавать подобные вопросы.

– Я спрашиваю не в трансцендентном смысле. Просто пытаюсь измерить глубину падения. Сколько приблизительно?

– Я не занимаюсь подсчетом нулей.

Коллега внимательно посмотрел на меня. Это был наш последний сеанс. Я понял все, что можно было понять в новой технике; в остальном следовало полагаться на вдохновение, воображение и талант, как во всех видах художественного творчества.

– Никак не пойму, зачем вы разыскали меня, если не ради чудовищного намерения составить мне конкуренцию. Вам отлично известна причина ваших безнадежных поисков; причину же венерических болезней, несомненно, искорените с помощью мышьяка, обнаружив сопротивляемость спирохеты. Здесь должна сыграть свою роль наследственность, у вас наверняка

есть иммунитет. У Казановы сифилис проявлялся трижды, впервые – в восемнадцать лет, а умер он в семьдесят три года от бронхита. Короче говоря, истоки вечной вашей фрустрации вам знакомы.

Он замолчал и закурил сигару. Одному коллеге, который по поводу его всегдашних сигар вспоминал о «фаллическом символе», он ответил, сощурив один глаз, что есть такие сигары, которые являются сигарами, и только. Он был человеком, умеющим, уходя с работы, прибраться в кабинете.

– Это так, – ответил я. – Несмотря на многие годы, когда меня преследовали желания и фантазмы, сексуальной связи с Терезиной у меня не было. Мечта так и осталась нереализованной, так и живет. Ее осуществление, а следовательно, и завершение невозможны. Я обречен на поиски и жажду, которые ничто не может удовлетворить.

Волшебник смотрел на меня с явной неприязнью, которую нельзя было принять за юмор.

– Где вы хотите практиковать? – спросил он. – Надеюсь, не в Вене?

– Может быть, в Венеции, – сказал я. – Там много иностранцев. Итальянцам, скорей всего, не подойдет новое искусство. Они давно уже привыкли жить самостоятельно. К тому же они большие знатоки человеческой природы и не верят в ее глубину. По-моему, наш Стилетти написал: «Нет бездны; мы сталкиваемся, набиваем шишки, но никогда не падаем глубоко. Бездна – заветная мечта людей, одурманенных адом пошлости». Ну как?

– Да, очень по-итальянски.

Доктор Фрейд немного подождал, глядя на сигару.

– Но кто говорит вам, что эту бездну, эту глубину нельзя *создать*? – спросил он еле слышно. – Это можно было бы назвать так: придать человеку новое измерение.

Я цокнул языком.

– Сильно сказано, – произнес я в искреннем восхищении. – Вас ждут слава, величие и, может быть, бессмертие, дорогой коллега. Не знаю, что сказать об остальном человечестве, но убежден, что себе вы обеспечили новое измерение.

Знаменитый маэстро поднялся.

– Знаете, все настоящие художники – немного итальянцы.

– Сколько я вам должен?

По его спокойному лицу пробежал веселый свет, как будто из дома напротив какой-то ребенок пустил на эту важную физиономию солнечный зайчик.

– Вы мне ничего не должны, – сказал он. – Пришлите приглашение на будущий ваш спектакль в мюзик-холле. . . или вашу будущую книгу.

К сожалению, мои длительные сеансы с волшебником ни к чему не привели. Я не смог прославить имя Дзага в новой сфере, открывшейся перед нашим искусством, так как в скором времени у всех, кто хотел практиковаться в психоанализе, стали требовать диплом врача, Я не сумел бы обвинить в этом новых чародеев, потому что первым узнал, что нужно предпринять все меры предосторожности, дабы избежать разочарования и охлаждения публики.

Если я упоминаю здесь об этом эпизоде, то с единственной целью – чтобы читатель махнул рукой, когда уличит меня в самозванстве и «шарлатанстве», видя, что переход от XVIII к XX веку достался мне даром, а значит, я не заплатил дьяволу причитавшегося ему. Это мне нравится, я люблю убеждать людей, что они в безопасности и дважды два, как и прежде, четыре: это меня забавляет! Впрочем, если бы я не требовал бессмертия, то нарушил бы традицию нашего рода. Когда я вижу вокруг себя сомнение и скептицизм, то всегда торопливо отхожу в сторону, пропуская их вперед, я снимаю шляпу и тысячу раз кланяюсь. Эти важные господа, хозяева мира, уверенные в своей правоте, смешат меня своим невежеством; мне кажется, что

я – последний человек, собравший в своей плоти и дыхании секрет, о существовании которого время даже не догадывается, – секрет всемогущества любви.

Глава IX

Сначала я редко видел Терезину. В русском обществе, манеры которого мы переняли, детей допускали к родителям только в случаях, соответствующих этикету. Чтобы нас позвали, следовало спросить, примут ли нас, и синьор Уголини приступал к тщательному туалету, прилагая чрезвычайные усилия и боясь впасть в немилость. Терезина быстро отбросила все эти условности и правила приличия, и в доме воцарились традиционные беспорядок и непринужденность, более древние, чем формальность добропорядочного общества, ведь мы были ближе к шутам и их кочевой жизни. Отец, после того как барыня несколько раз наорала на него, из уважения к слугам пустил все на самотек и предоставил нашей истинной природе проявляться как ей вздумается, и конечно, был доволен. Дворец Охренникова быстро превратился в цыганский табор, не хватало только шатров, ребятишек и скрипок.

Терезина восприняла меня в качестве домашнего животного, паж, *blackamour*'а, как называли при дворе негрятят, и постепенно я стал ее неразлучным компаньоном, повсюду семенившим за ней, как верный щенок.

Когда она приближалась ко мне, я начинал вытворять что-нибудь героическое, одну из выходов, которым обучали меня в самом раннем возрасте – сначала Валерио, жонглер и «человек-змея» из Генуи, которого Екатерина пригласила для развлечения дворянских детей, а потом, когда он вернулся на родину, – шут Аким Мордавой, акробат, татарин, покоривший Санкт-Петербург своей ловкостью. Терезина хохотала, когда, повернувшись, видела, как я стоял на голове и смиренно ожидал ее внимания или сворачивался клубком и катался в шляпной коробке, совершая подвиг гибкости, отчего глаза у меня лезли из орбит и перехватывало дыхание. И все же это было упражнение, в дальнейшем оказавшееся полезным, так как подготовило меня не только к требованиям жизни и искусства, но к капризам некоторых прекрасных дам, естество которых не довольствовалося... естественным и с которыми я порой ощущал себя каторжником на галере, неустанно работающим веслом среди бурных вод; состояние это мне сильно не нравилось, как бы ни глубоки были моя любовь к ремеслу, профессиональное сознание и финансовые потребности.

Когда я смотрел на Терезину, то забывал о приходах и уходах Его Высочества Времени, по-немецки пунктуального; его годы опирались на трость и постукивали ею: тик-так, тик-так. Глядя на ее лицо, я никогда не мог сказать, красивое оно или просто милое, потому что взгляд – это великий творец, а когда в дело вмешивается страсть, взгляд становится гениальным. Моя любовь была свежей, пропитанной детством, а детство способно с каждым взглядом заново рождать мир. Не было никаких ориентиров, никаких возможных сравнений. Например, я не знаю, действительно ли волосы Терезины – буйная, живая копна – были похожи то ли на яркое пламя, то ли на солнечных зайчиков, или это были обычные, как у всех, волосы. Я столько лет окружал ее своими грезами и лелеял воспоминания о ней, что вопрос о ее реальности для меня нереален. Когда я вспоминаю о зыбких тенях, которые ее ресницы бросали на меня, о зеленых глазах, в которых я тонул, я не уверен, что именно вызываю из памяти – взгляд Терезины или лавровские пруды, в которые я нырял, когда стояла сильная жара, и тогда дубы склоняли ко мне свои ветви с той человеческой благожелательностью старых деревьев, о которых говорит Ганс Христиан Андерсен.

Кроме маленького медальона и наброска Шульца, который хранится сейчас в каком-то ленинградском музее и в котором я почти не нахожу сходства, единственный подлинный портрет

Терезины находится теперь в моей памяти. Жизнь, как правило, всегда стремится к регламентированным формам, однако, по какому-то причудливому настроению рождая Терезину, произвела на свет веселость, свободу и беззаботность, как будто хотела доказать, что ее гений не знает пределов; она была способна поставить под сомнение свою собственную природу боли. И все же ничто не было менее эфирным и более земным, чем эта девочка с плотными крестьянскими голеньями, с пышным телом, запах которого я ощущаю, как только прохожу рано утром мимо булочной на углу улиц Бак и Варен. Ее хрипловатый голос имел жизненную силу, которую можно было принять за вульгарность. . .

В том, как она упирала руки в бока, наклонившись вперед с гневным взором, когда отец высказывал недоумение по поводу ее интонации или вкусов, которые она позволяла себе по отношению к прислуге; в том, как она осыпала своего мужа звонкими ругательствами, взятыми у прачек Кьоджи, – было что-то уличное, в Санкт-Петербурге это не проходило незамеченным и вызывало улыбки и пересуды.

Когда я случайно становился свидетелем такой вспышки, я испытывал какое-то неясное удовлетворение, может быть, потому, что голос Терезины по своей мощности приобретал в эти моменты почти плотское и чувственное звучание, а это производило на меня самое непосредственное и волнующее действие.

Во время одной из таких выходов я впервые и безоговорочно стал мужчиной и, если употребить выражение старого Чосера, стал вырастать с одной стороны. Терезина быстро заметила абсолютное воздействие, которое она произвела на меня, но контраст между взглядом невинного обожания, которым я ее пожирал, и состоянием, в котором я тайно находился и которое нельзя было назвать душевным, был таким огромным, что она не догадалась, – я изо всех сил скрывал это событие, опасаясь пощечины.

Однажды, когда она пела *graciosi* Фоскарини, аккомпанируя себе на гитаре и повернув голову в угол гостиной, где я свернулся клубком в кресле, Терезина уловила в выражении моего лица какую-то грусть и немое обожание. В порыве нежности она встала, подбежала ко мне, бросилась на колени, прижала локти к моим ногам. Я почувствовал ошеломляющую близость запаха женщины и почти потерял рассудок. Она улыбалась. Я боялся пошевелиться в опасении, что неловкое движение выдаст преступное состояние, в котором я находился. Она по-матерински ласково погладила меня по голове:

– Ты любишь меня, Фоско, глупенький?

Я осторожно, едва уловимо отстранился, лицо пылало, я пытался прийти в себя, умоляя Господа нашего на кресте, но желанного результата не получил. Терезина истолковала причину моей неловкости по-другому.

– Не надо бояться девушек, – сказала она. – Ты венецианец, и однажды тебе придется доказать достоинство нашей крови. Я знаю, ты смотришь на меня как на сестру. . .

Мысль, что можно смотреть на Терезину как на сестру, переполнила меня такой грустью, что слезы выступили у меня на глазах. Непостижимы пути воображения! Я действительно иногда представлял себе, что Терезина – моя сестра, что мы разделяем одно и то же ложе, и с этого места мои мечтания шли в таком направлении, которое делало инцест одной из самых заманчивых сторон семейной жизни. Иногда я представлял Терезину в монастырской обители, постриженной в монахини, и обвинял себя в самых тяжких оскорблениях религии, потому что я уже понимал, что чувство греха для того, кто умеет им ловко пользоваться, – это приправа, которую сладострастие ценит особо.

Эти ежедневные искушения и подавленные желания привели к тому, что я стал набрасываться на еду. Я не мог насытиться телом, которое с неистовой жадностью пожирал взглядом, поэтому бросался на кухню и предавался обжорству. В то время как мой неподвижный и

одержимый взгляд вместо пирога, курицы или поросенка видел какую-нибудь часть тела Терезины, которых мои руки, живот, небо и каждый вкусовой бугорок языка, не говоря уже обо всем остальном, были лишены по какой-то чудовищной несправедливости, я тщетно пытался восполнить мою жизнь. Тот, кому в детстве чего-то не хватало или кто был лишен чего-то, кто глубоко или долго переживал это состояние, тому хорошо знакома печать неудовлетворения, которой я был помечен; я не мог больше наслаждаться ни местом прибытия, ни пиршеством, отныне мне была уготована лишь последовательность пунктов пути и скудные съестные припасы.

Наша кухарка Авдотья встревожилась, видя мое обжорство, и спрашивала себя, не ошибся ли, выбирая себе жертву, Котел, злой дух неурожая, который скребется в голодных крестьянских животах и сосет из них все соки, не пробрался ли он, став пирогом, в живот молодого барчука, вместо того чтобы наброситься на народ, то есть не совершил ли ошибку, которую в наши дни называли бы классовой.

Что касается синьора Уголини, который без конца твердил мне о хороших манерах, то он сокрушался, когда я, словно кучер, набивал себе брюхо на кухне, вымазав руки и щеки жиром, с застывшим взором и искаженным лицом.

К их волнениям я был безучастен, я быстро преодолел чревоугодие и гортанобесие, на смену им пришли привычки, более достойные порицания, но я не испытывал ни малейшего угрызения совести. Однако, если мораль требует здесь извинений или ссылок на смягчающие обстоятельства, я готов предоставить их в мою защиту, больше всего боясь, чтобы во мне не разочаровались. Мои возбужденные чувства не знали удержу, хотя допустимое целомудрие диктует нам скромность; я был неграмотен и добродетели, и мне были недоступны правила половых приличий, скромность, умение прогонять дурные мысли, которым нас учит религия. Мои слюнные железы пробуждались при виде первых же лакомых блюд. Когда юная Аннушка, горничная, наклонялась, чтобы надеть мне чулки и туфли, я внимательно и ласково оглядывал форму ее зада, который вырисовывался над ее головой и приносил с собой запах свежего белья. Я рано пошел в обонятельном направлении, запах стал для меня самым верным союзником некоего рефлекса Павлова; нос беспрестанно дарил мне незаметно похищенные и приятно предшествующие всему остальному скрытые удовольствия, о чем никогда не догадывались милые женщины – замужние дамы и молоденькие девственницы, – которые дарили мне эти запахи. Внук, впрочем, утверждал, что мой нос при некоторых обстоятельствах смешно вытягивался, увеличивался в объеме и начинал дрожать, «а это, – добавлял он с цинизмом, – в вашем возрасте выглядит как героическая попытка предотвратить некую неспособность». Плевать на неспособность, я с ней не знаком; с самым большим презрением я встречаю «остроумие», которое применил ко мне виконт де Ла Валланс в 1860 году: «Наш дорогой Фоско объясняет, что не занимается любовью, потому что в его пожилом возрасте язык уже не имеет необходимой гибкости и ловкости».

Баня, какая была у всякого русского, находилась во дворе, в углу между конюшней и домом; в господскую парилку проходили по коридору первого этажа, в баню для слуг вход был снаружи. Я проделал в перегородке небольшую дырочку, взгляду было где разгуляться; я познал все прелести всех наших юных служанок. Мне пришло в голову, что можно то же самое сделать в господской бане, где Терезина нежилась два-три раза в неделю. Это было нелегко, такие постройки делались как избы – из бревен; у меня не было необходимых инструментов. На холоде, достигавшем тридцати градусов ниже нуля, пальцы мерзли, теряя чувствительность, я сверлил дырочку длинным казачьим ножом, который украл из мастерской Фомы, нашего умельца и сторожа. Я трудился с остервенением заключенного, который точит стену, чтобы сбежать; возможность вот-вот найти сокровище преисполняла меня священным

вдохновением, которое поддерживает нас в самых великих делах; мороз впивался в меня тысячу крючками и проникал до самого нутра; я упорно оборонялся от наступлений костлявой старухи зимы, которая сковывала мои руки, бестактно ощупывая меня. Иногда я несколько часов подряд царапал бревно, до самого носа кутаясь в шубу; только предвкушение зажигало в моих глазах огонек настоящего моего предназначения и укрепляло меня.

Наконец глазок был сделан, мне оставалось лишь поймать день и час. Целыми днями я слонялся по дому, засунув руки в карманы и небрежно посвистывая. Как только я заметил, что Терезина выходит из своих покоев и направляется к бане вместе с Парашкой, неся в руках губки, полотенца и отвар из розового масла, собранного в долинах Болгарии, я натянул шубу, кубарем слетел по лестнице и бросился во двор, на мороз, от которого с неба падали замерзшие вороны. Я ждал, прикинув к дырке глазом. Сначала я увидел какую-то розовую неясность; жар турецкой бани с ревностью евнуха набросил на наготу Терезины туманное покрывало. Я изо всех сил напряг зрение, так что еще несколько дней спустя мучился от спазмов глазных мышц; милый Уголини, сама заботливость, приписал это недомогание моему необычайному прилежанию в учебе, что почти соответствовало истине. Я услышал ахи и охи, смех Терезины, когда Парашка опрокидывала на нее ушаты теплой воды и натирала тело розовой эссенцией; крики удовольствия, вполне невинные, окончательно истомили меня, я едва не потерял сознание от прилива крови к голове, температура поднялась до сорока градусов выше нуля. Я наглотался снега, чтобы прийти в себя, бросился к дырочке и был вознагражден: в поле зрения появилось то, что я до сих пор считаю самой интересной стороной мира.

Здесь я должен принести читателям тысячу извинений: правила итальянской речи всегда требовали называть задницу задницей, мы – потомки хлеба, оливок, фиг и винограда и не пытаемся подслащивать высказывания, а оставляем словам их природную сочность. Пусть простят мне фиглярскую грубость и, ввиду низости происхождения, дадут мне скромную привилегию искренне и откровенно употреблять наш разговорный язык.

Я не могу обойтись здесь без первой грубости, и если не объявлю о красоте задницы Терезины, то предам все, во что верю.

Никогда за всю мою долгую жизнь, во время моих бесчисленных поездок, созерцая шедевры – божественные и естественные – и витая в самых вдохновенных мечтах, я не испытывал более глубоких чувств и более опьяняющего наслаждения, чем при взгляде на красивую женскую задницу. Даже сейчас, перейдя в тот возраст, когда полагается скрывать свою молодость и сдерживать ее порывы, губы мои расплываются в блаженной улыбке; слюнные железы оживают, трепещут, вспоминая то, что предстало так чарующе и доверчиво моему взору в бане, мой взгляд зажигается (ханжеская глупость сурово осудит меня), но, по крайней мере, это значит, что я не изменился. Я утверждаю, что этот огонь – столь же благоговейный и признательный, как и все свечи, какие я зажигал перед алтарем, вознося благодарения небу.

Прижав глаз к отверстию, я глядел с прыгающим, точно веселый акробат, сердцем на прекраснейший плод земли; он предстал передо мной без всякой внешней помощи, благодаря только дерзкой силе красоты – вероятности некоторых неестественных действий, соперников Гоморры, которым нежная благосклонность дарует наслаждение, превосходящее согласие, когда дарение сочетается с самоотверженностью. Я испытывал это редко, всегда недоставало трансцендентности, ведь только она сопровождает настоящую любовь, которой я всегда был лишен, поскольку речь идет, естественно, о желанных людях, а они не удовлетворяли меня, потому что не были Терезиной. Позже, когда злое и длительное «любовное приключение» потребовало от врачей использования отвратительных пальцев, я понял, до какой степени этот женский подарок был жертвой и насколько мягкое согласие может быть жестоким. Док-

тор Вольфромм, восьмидесятилетний старик, обследовал меня таким способом, но его возраст не нарушил ни сарказма, ни мудрости, ни чувства юмора. Мое лицо искажали ненависть и протест (я не мог их выразить, но от этого чувства были не менее горячими), я стоял на просмотрном столе и возмущенно вопил, когда палец врача в перчатке погружался внутрь в поисках виновной железы. После, с трудом оправляясь от потрясения и думая о печальных опытах, которые проделывают некоторые грубияны над другими мужчинами, я воскликнул: «Никогда не пойму, как можно согласиться, чтобы...» Великий врач и злобный философ не дал мне закончить фразу: «Ах! – сказал он мне, лукаво усмехаясь. – Вы забываете о чувствах!»

Надо было видеть голую Терезину, чтобы понять все, что великое жонглерское искусство, искусство Возрождения, осуществило в своих предательских увертках и очарованиях, стремящихся заменить возвышенные небесные красоты на счастливые земные откровенности. Я не говорю здесь ни о некотором отступлении к «язычеству», ни о варварском обожании идолов, но обо всех плодах, созданных для руки, языка и рта, попробовав которые находишь, что жизнь стала извращенным и противоестественным актом. У меня слабое сердце; боюсь, что упаду за смертью от чрезмерности желаний, а еще опасаясь оскорбить моих дорогих читателей, потому что я, в силу своей глубокой демократичности, всегда подчиняюсь мнению большинства, я – там, где находятся большие тиражи и горячая любовь публики. Я умоляю моих цензоров вспомнить, что мне тогда едва исполнилось тринадцать лет и мечты мои кипели в котле желез внутренней секреции, так что я достоин был скорее жалости, чем осуждения.

Но опишем самое существенное.

Между бревнами бани, ниже отверстия, через которое я подсматривал, я проделал другую дыру, расположенную на соответствующем уровне; я предварительно и со всей тщательностью измерил ее диаметр на себе самом, чтобы какое-нибудь губительное сжатие, или заусеница, или заноза не повредили мне. Затем я добыл на кухне гусиную кожу – жирную, маслянистую, – которую прилепил на внутренний край дыры и за которой бережно ухаживал, смазывая растительным маслом, болгарским бальзамом или салом, и стал ждать, когда Терезина отправится в парилку. Момент настал, я занял свою позицию – взгляд прикован к наблюдательному отверстию, остальное в другом месте, – я, как охотник, ждал появления в жарком тумане моей обожаемой жертвы. Наконец, когда мое вдохновение расправило свободные крылья, я не мог больше ограничиться только действиями глаза, я вошел в нижнюю дырку и осторожными движениями вперед и назад вознесся на небо, потому что это один из редких и, может быть, единственных в жизни случаев, когда на небо нас возносят демоны.

Эти действия наложили на меня глубокий отпечаток.

Я хочу сказать, что с тех пор созерцание бревна, жирной гусиной кожи и даже живого и упитанного гуся производят на меня бодрящее и немедленное действие; здесь проявляется «рефлекс Павлова», как называет это наука. Признаюсь, что, когда какая-нибудь дама нежно отказывала мне и по каким-то причинам мне не хватало сил войти в необходимое состояние поэтического вдохновения, я до преклонных лет делал так: закрывал глаза и, сжимая ее в своих объятиях, представлял бревно, гуся или даже сало, с неизменно волнуящим и скорым результатом. На самом деле в этой сфере не играли никакой роли ни физическое строение партнерши, ни то, что она могла вам предложить; имело значение само по себе качество переживания.

Я еще долго предавался бы своей любви с баней, если бы не одно досадное происшествие, прекратившее счастливые минуты, которые я переживал, стоя в снегу за избушкой. Как все любовники, которым помогает случай, я позабыл об осторожности. Дыра, проделанная в бревнах, была глубокой, но все же недостаточно, и мои усилия сделали ее сквозной.

Однажды произошло неизбежное. В это дело вмешалось и невезение, потому что я хоть и был из племени жонглеров, но совсем не старался достигнуть совершенства в меткости, наоборот.

В тот день Терезина находилась ближе к стене, чем обычно, в двух аршинах от меня. К несчастью, когда горячие волны застилали мне глаза и я сдерживал стоны, но не сдерживал ничего другого, Дуняша, прислуживавшая госпоже, наклонилась, чтобы натереть губкой, пропитанной благовониями, спину Терезины. Ощувив, без сомнения, какие-то удивительно близкие глухие толчки или, может быть, то, что она приняла за прерывистое дыхание лошади, пущенной в галоп, она повернула голову в мою сторону.

Оказалось, что в этот момент я не только проник внутрь, но еще и достиг самого большого счастья мужчины, исторгнув из моих глубин все, что Создатель туда поместил, чтобы утвердить наше царствование на земле. И Дуняша, конечно же, увидела дьявола, у нее даже не было времени выразить свое удивление, потому что ей в глаза попало то, что должно было попасть совсем не в глаза.

Я избежал позора при публичном изобличении моего свинства только благодаря присутствию духа. Испустив жуткий вопль при виде демона и стерев его гнусную печать, Дуняша бросилась вон, как ведьма. Она навалилась на меня всем телом, колотя кулаками, а я, с закрытыми глазами, с мудрой буддической улыбкой на губах, плавал в состоянии высокой философской безмятежности. Она схватила меня за волосы, пиная ногами, и потащила к госпоже. К счастью, перед лицом опасности я пришел в себя и успел угрожающе прошептать:

– Если ты меня выдашь, я сразу расскажу всем, что ты делаешь с Колькой в столярной мастерской каждое воскресенье. Я все видел.

Так я избежал худшего, но Дуняша не могла держать язык за зубами и несколько дней спустя сообщила хозяйке, что барчук по наущению дьявола подглядывает за ней в бане через дырочку. Она не сказала о другом отверстии, боясь моей мести. Но Дуняша, дрянь, просчиталась. Она сама призналась, качая головой и тяжело вздыхая, что итальянка, вместо того чтобы призвать в свидетели своего бесчестия всех святых, прыснула со смеху, и в течение нескольких часов, пока ока бегала из комнаты в комнату и разыскивала меня, ее смех, который я часто заставляю звучать в своих ушах, когда хочу оживить ее присутствие, раздавался во дворце Охренникова.

Она нашла меня в небольшом музее естественной истории, где я собирал минералы, бабочек и сухие листья; я кормил морских свинок, которых мне подарил синьор Уголини и которых привозили в Россию из Самарканда татары. Терезина занималась своим туалетом – в тот вечер она должна была сопровождать отца на пьесу Мольера, поставленную дворянами у одного из братьев Орловых, – когда Дуняша между двумя шпильками сделала свое признание. Я увидел, как Терезина показалась в моем убежище – в великолепном платье, украшенном рубинами, жемчугом, сапфирами и изумрудами, которые отец изготовил в Лейпциге (лживые притязания тамошних подделок мог изобличить только глаз эксперта). Именно с помощью этих камней Калиостро произвел глубокое впечатление на кардинала де Рогана, добиваясь его покровительства, но добился, как известно, лишь результата, досадного для трона Франции. Копну волос Терезины еще не постигла мучительная участь – превратиться в сложное сооружение прядей и локонов, как того требовала тогдашняя мода, и волосы свободно падали ей на плечи, с которыми только по случайной и жестокой несправедливости были разлучены мои руки и губы. Улыбка еще жила на ее устах, когда она остановилась около меня, но во взгляде ее и на лице постепенно стала проступать заботливая серьезность, в которой я, однако, не заметил ни капли упрека. Дуняша стояла в стороне и пальцем подавала мне знаки, которые в вольном переводе на современный русский язык можно передать примерно так: «Получай!» Я стал пунцовым и опустил глаза. Терезине шел семнадцатый год, мне было три-

надцать лет и несколько месяцев. Наступило долгое молчание, нарушаемое только гудением огня, в котором из-за стыда мне слышались иронические нотки.

– Дуня сказала, что ты подсматриваешь через дыру в стене, когда я голая.

Мне нечего было ответить, оставалось только молча страдать. Однако я начинал испытывать некоторое удовлетворение: наконец Терезина увидит во мне мужчину.

Она медленно опустилась в кресло, безотрывно глядя на меня.

– Послушай, Фоско, это важно. Надо, чтобы мы были братом и сестрой. – В тоне, с которым она произнесла эту фразу, было что-то настолько категоричное, что мои глаза наполнились слезами. – Для этого нужно, чтобы ты привык видеть меня голой; тогда ты не будешь придавать этому значения. Тебя разбирает любопытство, и все. Увидишь меня тысячу раз – и больше не будешь об этом думать. Итак, начиная с сегодняшнего дня ты можешь видеть меня голой когда вздумается. Но не подсматривай больше через дырку – это нехорошо. Приходи в мою комнату. Вот так.

После этого она встала, подобрала хвост своего платья и вышла, высоко подняв голову, гордясь, что вела себя со мной как зрелый человек, опытная мать.

Я остался стоять разинув рот.

События приняли удивительный оборот, сулящий мне неслыханные наслаждения, словно в дело вмешалось Провидение, впрочем непохожее на то, какое описывают благочестивые молитвенники. Признаться, я никогда не чувствовал себя более верующим, чем в тот момент.

С этого дня моя жизнь стала великолепной мукой. Я входил в комнату Терезины, когда она одевалась или раздевалась, устраивался в кресле и наблюдал за ней – либо с безразличным, либо со слегка критическим выражением лица, приличествующим для осмотра, единственная цель которого – объективное изучение предмета. Иногда будто бы в том, что я созерцал теперь сколько угодно, не было для меня ничего нового, будто бы утомившись, я небрежно брал в руки какую-нибудь книгу и делал вид, что поглощен чтением, а сам со вниманием хищной птицы бросал косые взгляды, подгадывая момент, когда Терезина, наклонившись за серьгой или надевая мягкие туфли, явит мне одну из тех сторон мира, воспоминание о которых душа моя хранит по сию пору.

Об этих неприличностях среди слуг ходили пересуды, горничные качали головой и закатывали глаза, но дерзкое поведение барыни и барчука относили на счет итальянских нравов. Сегодня я спрашиваю себя, не было ли в том методе, который Терезина выбрала, чтобы между нами установились отношения брата и сестры, какой-нибудь изощренной хитрости и не испытывала ли она сама, дитя венецианского карнавала, восхитительного волнения, наказывая меня таким способом.

Глава X

Я скоро почувствовал, что Терезина несчастлива. Она ненавидела дворец Охренникова, где все свидетельствовало о бедности богачей, лишенных теплой задушевности, легкости, беззаботности; в поисках величия, характерных для убожества, они строили высокие дома с недостижимыми потолками. Еще я смутно ощущал, что в ее отношениях с мужем существует какое-то отторжение, натянутость, даже страсть, но страсть наизнанку, сотканная из злобы, которую отсутствие любви разжигает из своих береговых огней; эти чувства принимали характер борьбы, в которой я ничего не понимал, но знаки которой постоянно видел: у Терезины это было что-то вроде постоянного вызова, доходящего до провокаций, у отца – ирония и снисходительно-равнодушная терпеливость (самолюбие умеет защититься от страдания и душевных ран).

Тогда зачем же она вышла замуж за человека, которого не любила? В Венеции при выборе супруга для дочери с нею не советовались; и все же мне кажется, что Терезина была не из тех, кто смиренно принимает мужа, которого ей предложила семья. Она была своенравна, непокорна, способна на любые выходки; напрасно я пытался понять, какое принуждение заставило ее отправиться в Московию с человеком, репутация и везенье которого не могли прельстить ее или произвести на нее впечатление. Быть может, это была страсть к приключениям, тяга к путешествиям, характерная для итальянцев, или детское любопытство, или потребность освободиться из-под семейного гнета. Ни одно из этих, объяснений меня не устраивало; я плохо понимал, что привлекательного было для этой птички в русских снегах.

Для разногласий между отцом и Терезиной существовали и более веские причины, помимо слишком интимных, которые открылись мне постепенно, не сразу. Они касались занятий Джузеппе Дзага, который с трудом переносил озорство молодой женщины и ее насмешливо-презрительное отношение ко всему, что принимало видимость могущества, тайны и неизмеримой глубины. Терезина имела с земным естественные и счастливые отношения и не верила ни в какое небо, кроме неба венецианского карнавала, и ни в какой ад, кроме земного ада нищеты и страдания. Но Знание, к которому отец считал себя причастным, требовало благоговения, а иначе оно не могло проявляться и действовать; излечения по психологическому методу не совершались, если в них не верили, и нельзя было мысленно призвать Рок, если вокруг хихикали. Потустороннему нравятся тени. У Терезины теней не было, разве что солнцу удавалось выманить у нее одну – ее собственную. Все в ней было ясным и улыбчивым; жизнерадостность несовместима с могильными глубинами. Из этого, конечно, можно сделать вывод, что Терезина была поверхностна и что в ней жили легкость и беззаботность, не свойственные надежным произведениям, но придающие остроту недолговечному. Но с таким же успехом можно упрекать воду за то, что она прозрачна, или обвинять журчание источника в том, что камни интересуют его только потому, что отражают эхо.

Терезина, Анна-Мария-Терезина Маруффи, была внучкой Сципио Маруффи, знаменитого исполнителя ролей Панталоне, Капитана, Бригеллы; родители умерли во время эпидемии чумы, когда девочке было пять лет. Ее приняла к себе труппа Портагрюа, и до замужества у нее не было другой семьи, кроме бродячих артистов, которые разъезжали по полуострову, не появляясь в южных городах, где для женщины играть на сцене считалось неприличным. Портагрюа, который умер в девяносто два года во время представления «Арлекин у Бригандена», обожал девчущку. Не только род занятий обрекал его на путешествия; постоянные

перемещения были необходимы, чтобы скрываться от блюстителей нравственности, которой постоянно бросали вызов критический, язвительный склад его ума и вольнолюбивый характер. Гольдони сказал о нем, что «этот парень упорно отказывался платить дань несчастью». В ответ Сципио написал отцу итальянской комедии: «Несчастье – бездарный персонаж, эту роль ему то и дело подсказывают сильные мира сего, князья, правительство и Церковь. Основной автор текста – всегда Церковь». Терезина, вероятно, унаследовала от этого *biopiuoto* (так Венеция называла просто хорошего человека) его ужас перед подчинением и послушанием и способность рассматривать жизнь как восхитительное развлечение с мучительными и порой жестокими антрактами, которые приходится пережить. Настолько же мало соответствовала она условиям, в которых отец раскрывал свои дарования, и так же мало – серьезности и тайне! Молодая госпожа не питала уважения к Секрету Третьей Пирамиды, к опасным силам, которые знаменитая *Hierarchie des Rose-Croix** даровала посвященным, к Треугольнику Иезекииля и ко всем прочим принадлежностям потустороннего мира, откуда отец черпал столько эффектов для поддержания авторитета у клиентуры, и Терезина фыркала от смеха, когда говорили о бессмертии. К миру и его пошлости она относилась плутовато и по-родственному, что встречается у людей из народа, живущих в полной нищете, но неприятно поражало в приличном санкт-петербургском обществе, более питающемся от духа, чем от корней.

Нет никакого сомнения, что отец совершил ошибку, женившись на Терезине, и что они не были созданы друг для друга. Джузеппе Дзага страдал от этого тем более, что питал к молодой женщине любовную страсть, проявляющуюся с большим пылом, такая привязанность напоминала безнадежные усилия опытных мужчин, которые, увлекаемые течением времени, цепляются за какой-нибудь молодой стебель тростника, – это всегда жалкое зрелище. Я тоже страдал, не только из-за любви к Терезине, но и потому, что обожал отца; не было ничего более тягостного, как видеть его в роли мольеровского старикашки. Когда до меня, в свою очередь, добрались ржаные кинжалы старости, я ограничился тем, что стал искать любви у воспоминаний, а наслаждений – у проституток; и любовь, и наслаждение ладит между собой, а если их сумма не равна счастью, то нужно утешиться, думая, что главному свою жизнь не посвятить.

*Иерархия розенкрейцеров (*фр.*). Здесь и далее – аллюзия на масонскую тематику.

Глава XI

Купец Охренников построил для себя пышное и торжественное жилище; казалось, от этой помпезности отяжелели сами камни. *Дворец*, как говорили среди слуг, желая угодить хозяевам, вмещал в себя двадцать основных комнат, к которым прибавлялось множество комнат, укромных уголков и клетушек разного рода, предназначенных для прислуги; они составляли наиболее оживленную часть помещений. В этих комнатках часто размещались приезжие гости, все – более-менее таинственные лица, в большинстве своем итальянцы или немцы, сбежавшие из своих стран по причинам, которых отец и сам не знал и о которых никогда не выспрашивал. Речь шла о людях, пришедших по рекомендации той или иной масонской ложи, членом которых отец был. Таков был и доктор Шарах, обвиняемый курфюрстом саксонским в «заражении умов воображаемой субстанцией на основе идей, которые толкают честных людей к безумию и подстрекают к отрицанию княжеской и божественной власти». Я цитирую здесь указ о его заключении в кандалы, который до сих пор хранится в архивах Вольсбаха. Его обвинили в возбуждении восстания против налогов в Саксонии в 1775 году. Это был обращенный еврей, которого отец выдавал за графолога; тогда графология как наука только начиналась, но Шарах, вопреки своей воле вынуждаемый ею заниматься, в конце концов и вывел ее первые незыблемые правила. Мы обнаружим их изложение в «Трактате о руке», который он напечатал в Мангейме по возвращении из России, до того, как вскоре умер в тюрьме, где сидел по обвинению в «демократических действиях». Это был человек тщедушный и подвижный, как мышь; его тревожные глаза беспрестанно шныряли туда-сюда словно в поисках выхода; казалось, он обмирал со страху. Отец много с ним повозился, прежде чем избавил от любопытного своеобразия его речи. Неизвестно, под воздействием какого влияния он находился или чем был одержим, но он поминутно, кстати и некстати, произносил слово «свобода», и, разумеется, большинство неприятностей было у него из-за этого. Отец влепил мне одну из редких пощечин, которые я когда-либо получал от него, потому что я не мог удержаться от смеха, слушая, как Шарах говорит. Никогда после я не видел существа, которым управляла неведомая внутренняя сила; она принуждала его безостановочно повторять опасное слово, произнесения которого он, однако, изо всех сил пытался избежать. Это выглядело так:

– Не оказали бы вы мне любезность свобода свобода передать перец свобода свобода свобода свобода благодарю свобода вас.

После этого случая отец, несомненно сожалея о своей горячности, заглянул ко мне в комнату, где я томился. Он объяснил, что некоторые люди, тревожные по своей природе, беспрерывно думают о каком-нибудь слове, которое ни в коем случае нельзя произносить, и, несмотря на это, они его постоянно произносят – потому что они все время думают о слове и потому что действует необычайная концентрация внимания.

Джузеппе Дзага удалось избавить великого невротика от навязчивости с помощью нашего дворецкого Осипа, которому было поручено втыкать булавку в руку немца всякий раз, когда он изречет роковое слово. Тем не менее результат был таков: наш мученик свободы стал изъясняться таким способом, который не помешал нам с Терезиной давиться от хохота.

– Добрый день, молодой человек, ай! ай! – говорил он. – Рад ай ай ай! вас видеть ай!

Шарах за несколько дней до возвращения в тюрьму родной страны перешел обратно в иудаизм, решив, наверное, что ему уже нечего терять.

В комнатах четвертого этажа жили и некоторые из тех людей, которые казались потерянными на земле, чужими для всех и для себя самих, существующих вне времени и пространства. Я часто встречал их в доме, мне всегда казалось, что они предназначены совсем к другой жизни, более легкой и благоприятной, и что они появились среди нас по какому-то небрежению или упущению Рока, крупного поставщика игрушек. В минуты мечтаний, которые я до сих пор называю «лавровские минуты» – в честь лесов, где я вырос, был посвящен в тайны невидимого, но населенного многими существами мира и приобрел столько друзей, я представляю себе Рок, Полишинеля, который как мог старался не доводить свою склонность к комическому до трагедии, исчерпав, наверное, без остатка весь свой репертуар. В другие мгновения – я подробно рассказал о них в другом месте – я видел его в образе обезьяны-божка, неспособного различить проделку и розыгрыш; от резни, страдания и террора. На вершине этой пирамиды из шуток и фокусов уже нет различий между смешным и ужасным; чувствительность растворилась где-то среди веревочек, механизмов и мастерских приемов, которые всегда одни и те же, идет ли речь об умирительной шалости или о кровавой трагедии. Это вопрос исключительно пропорций, значения, которое придают «разлитому маслу». Я пытался не осознавать этого по соображениям гигиены; жизнь и смерть, жестокость и смех казались мне искусством для чьего-нибудь искусства.

В результате когда я входил в одну из таких комнатушек, то часто заставлял там персонажей, которые словно были созданы для того, чтобы тешить других людей, показывая несчастья и неудачи своей собственной жизни. Вспоминаю о теноре Джулио Тотти, он уже не довольствовался красотой своего голоса, но ссылался на красоту идей, забывая, что таким способом не извлечь страстные трели *basso profondo**, не вызвав при этом рвоты, что и случилось с ним в Турине во время голодного бунта 1770 года. Семья Санчес из Испании, музыканты-карлики, приехавшие в Россию после провалов при всех наиболее просвещенных дворах Европы, где уже приживалось понятие «хорошего вкуса», рокового для карликов и шутов. . . Английский астролог Перси Келлендер, старик с тонкими чертами лица, на котором одиноко выступал огромный, крючковатый нос, был вынужден покинуть Вену после того, как открыл на небе новую звезду, звезду «свободы народов», и провозгласил «конец всем власть имущим»; жена и сыновья поместили его, как слабоумного, в Бедлам. Его вызволило оттуда лишь заступничество лорда Дерби, который подчеркнул перед Питтом, что таким способом несчастье стремилось сохранить в безопасности сильных мира сего, их покровителей. . .

Терезина проводила целые часы в компании этих мечтателей; она лила слезы над рассказами об их язвах и ранах и заявляла мне, что однажды народ возьмет их под свою защиту. Народ был для нее тем же, чем были для меня лавровские дубы: заколдованным лесом, способным на любые превращения, который ждал только благодатного порыва ветра, чтобы пораженным злой судьбой вещам вернуть их настоящий облик – облик радости и счастья.

Что же касается меня, то я, немного ревнуя, находил этих канатоходцев забавными, но неопытными: они не умели проявлять в нашем деле сноровки, которая нужна иллюзионисту, чтобы играть с огнем, не беспокоясь о галерке, а ведь публика перестает развлекаться, как только чувствует, что огонь может перекинуться за рампу.

Это было в одной из таких «проходных», как их называли, комнат, где я находился с Терезиной, когда услышал из уст некоего молодого швейцарца, что отец приютил у себя слова «свобода, равенство, братство», соединенные друг с другом наподобие святой и нераздельной троицы. Молодого человека звали кавалер де Будри, он преподавал французский язык в Царскосельском лицее, где обучались лучшие из русской молодежи. Он читал нам письмо своего

*Глубоким басом (*ut.*).

брата, который сообщал о парижских новостях.

Лишь многие годы спустя, пробегая глазами книгу господина Жерара Вальтера, опубликованную в 1933 году в издательстве «Альбен Мишель», я узнал, что кавалер де Будри в действительности был Давидом Мара, или Маратом, братом известного поставщика голов на гильотину.

Терезина выслушала его молча. Ее лицо было безучастным, но стало до странности бледным. Я услышал, как она сказала почти шепотом:

– Окажите любезность, господин де Будри, перечитайте эти три слова, пришедшие к нам из Франции.

– Свобода, равенство, братство, – повторил молодой преподаватель, немного смутившись, так как не разделял идей своего брата, был благомыслящим и осторожным в суждениях.

Реакция Терезины поразила меня. Она разразилась рыданиями и убежала. Несколько дней я не мог сказать ей ни слова: можно было подумать, будто она боится, что чья-нибудь речь спугнет волшебное эхо, звучавшее всегда.

Большинство этих посвященных прибыли из других мест – слова «другие места» часто вызывают в моей памяти самые отдаленные планеты, – они пользовались гостеприимством отца, чтобы забыться или перевести дух. В них была общая черта – они присваивали мысли, как принадлежности своей *maestria*, но вместо того, чтобы заставить нематериальную природу сиять приятным блеском и радоваться восхищению публики, они пытались дать жизнь неживому и так изменить мир. Само собой разумеется, что власти не были в восторге от того, как эти люди хотят раздвинуть границы сцены, и считали их разносчиками заразы. Однажды я спросил отца, почему он укрывает столь небезопасных компаньонов.

Джузеппе Дзага, сидя за карточным столом и читал газету, сделал неопределенный жест рукой. Его лицо омрачилось. Не знаю, охватила ли уже его страсть к правдивости, как случается иногда с бродячими артистами, уставшими от иллюзионизма; они тогда начинают мечтать о запретных вершинах, которых искусство достигает только для того, чтобы умереть от жажды в ногах у недостижимой реальности. Я выбрал неудачный момент для вопросов. Терезина только что устроила мужу ужасный скандал, упрекая его в том, что он стал «мелкой сошкой», что он выносит горшки за Екатериной, которую он пытался в то время излечить от хронических запоров. Она обзывала его «царским лизоблюдом и...», но здесь я пропускаю слово, простительное для кьоджийского диалекта, но не для философского языка.

– Они не опасны. Не говоря ни единого слова по-русски, они ничуть не задевают народных масс. А что касается высшего света, то его это забавляет, как забавляли Екатерину возмутительные и кощунственные слова господ Дидро и Вольтера. Еще несколько лет, сынок, мы будем оставаться дрессированными собачками, выступающими в гостиных лучших домов. Потом... потом... Мы увеселители, которые готовят оружие, оттачивая клинки в своих изящных играх; оружие это называется разумом и сверкает сейчас своей пустотой и легкомысленностью, но однажды народ схватит его и...

Он замолчал. Я сказал так, не догадываясь еще, что отец страдал тогда первыми приступами болезни, которая часто набрасывается на чародеев, когда они начинают мечтать о настоящей власти. Я понял позже, какой страшный характер могут принять у нас такие кризисы. Они нередко приводят к молчанию, потому что искусство жестоко вас обманывает и его чудеса только подчеркивают несостоятельность, когда речь идет об исцелении людей от несчастья. Я извлек пользу из этого вывода к середине XX века, отказавшись от литературы, что наделало много шума; в прессе я объяснял свой отказ писать тем ужасом, который мне внушает положение человечества, войны, голод, всеобщее невежество. Так я получил Гран-при Эразма по литературе.

Простите мне это отступление, эту передышку на последних этажах дворца Охренникова по дороге к тайному месту, которое он скрывал под своей крышей; я должен был открыть реальные доказательства ссор между Терезиной и отцом. Я остановился в конце большой мраморной лестницы, на переходе к узкой, так называемой черной лестнице для прислуги; первая предназначалась для особых случаев. Нужно пройти по этим местам и рассказать о них, потому что они находятся на нашем пути и при случае служат убежищем для некоторых из увечных в душе и в идеалах; в просвещенной Европе их становилось все больше и больше. Теперь быстро поднимемся еще на пол-этажа по винтовой лестнице и остановимся перед тяжелой дверью из мореного дуба с ржавым висячим замком, должно быть, еще времен «каменных мешков» Ивана Грозного. Я уговаривал, умолял ключника Зиновия и угрожал донести отцу о том, что неоднократно заставлял его с бутылкой итальянского вина в руке, и все-таки добился, чтобы он указал мне место, где спрятан ключ от сокровищницы. Я повернул в замке огромный ключ и попал на берега, где древняя река Дзага оставила тысячу следов своего долгого земного бытия.

Кажущаяся бесполезность барахла, которое я там обнаружил, поразила меня больше всего и распространила по чердаку аромат тайны. Эта никчемность означала, что у каждого предмета есть какой-то секрет: под его внешне обыденной оболочкой он скрывал магические возможности, которые непосвященные вроде меня были не в состоянии постичь. Здесь были огромные зрительные трубы с системой увеличительных стекол – они наверняка предназначались для взгляда в будущее; компасы, похожие на пауков, стоящих на огромных заостренных лапках посреди карт, карты показывали не небо, не землю, но какую-то другую вселенную. Они были испещрены цифрами и записями на арабском и еврейском, на которые православные не должны были смотреть, потому что, как говорил наш сосед, поп Живков, евреи вкладывали в свои письма тонкий яд, способный проникать в душу при чтении. Были здесь и солнечные колеса, статуэтки индийских и египетских божков, от которых шел невыносимый смрад, были и решетки для астрологических вычислений (место для смерти скромно пустовало), и шкатулки, запечатанные со всех сторон, так что казалось почти очевидным, что внутри сидит черт. Зиновий, здешний хозяин, объяснил, что распятие в виде полукруга, валявшееся на полу, искривил в Средние века дьявол, когда распятие прилипло к его копыту. Пол был завален книгами, большинство из них тоже были запечатаны; легко можно представить себе, какое позорное у них было содержание, раз они гнили под воздействием своей собственной внутренней желчи. Пнув одну из них ногой, я увидел, что она услужливо раскрылась, выказав нетерпеливое намерение погубить мою душу; мой испуганный взор выхватил рисунок осла и женщины, которые взобрались друг на друга совершенно не так, как того требует перевозка грузов.

Думаю, что именно из-за книг, которыми был набит чердак, отец запретил ходить сюда. Так как мое любопытство всегда одерживало верх над страхом, я все же рискнул и, полистав несколько, обнаружил, что отношения между мужчиной и женщиной предоставляют много возможностей, которых я, по простоте своих желаний, еще не мог вообразить. Еще здесь были философские труды: «Книга об изначальной демократии в природе» Сибилиуса Арндта, «Путешествие из Петербурга в Москву» Радищева и другие достойные порицания книги. За это произведение Радищева, осмелившегося описать условия жизни крепостных при Екатерине, приговорили к смертной казни, заменив это наказание ссылкой в Сибирь. Существование подпольной библиотеки оправдывал тяжелый висячий замок на двери; отец» должно быть, боялся тюрьмы, которая ему угрожала бы, стоило только властям сунуться на чердак, потому что и в те времена, и в наши дни книгам в России придают большое значение.

Среди других предметов, устройство которых было мне совершенно неясно, были также

и какие-то аппараты, вывезенные, вероятно, дедом Ренато из Италии и служившие ему поддержкой в дни старости. Коллекция занимала целую полку и была разнообразна по формам, оттенкам, материалам, консистенции и размерам. Большинство было сделано из венецианского стекла. Эти предметы, выстроенные в ряд, не были, как я сначала подумал, жертвами, принесенными по обету, которые изготавливают калеки к больные но образцу того или иного страдающего члена и затем устанавливают в церкви с благодарственными молитвами за чудесное исцеление. Я вспомнил, что персонажи комедии, Капитан и Бригелла, появлялись на сцене, экипированные таким образом. Но не думаю, что дед Ренато ставил их в церквях. Что меня немного удивило, так это маленькие билетки, привязанные к каждому из этих энергичных отростков; на них, хотя чернила и поблекли, можно было еще прочесть слова, начертанные рукой, остававшейся у деда более твердой, чем все остальное: «Для моей малышки Машеньки. Для толстушки Кудашки. Для бездонной Генички. Для нежной Душеньки». Одному Богу известно, что это означало. Но я догадался, что старый чародей вел речь о какой-то ловкой хитрости, чтобы до конца удовлетворить требования публики, в данном случае ее женской составляющей. Впрочем, думаю, что из всех нас именно Ренато Дзага достиг наибольшего успеха в искусстве развенчания иллюзий. Когда господин Андре Галеви в книге о плутах восемнадцатого века говорит нам, что «жизнь Ренато Дзага была жизнью крупного шарлатана; подозреваю даже, что он надеялся заменить законы природы на законы, установленные великим Братством шутов, плутов, фокусников и иллюзионистов всех мастей», то он высказался об этом как бездельник» а его фраза является, если хорошо подумать, плодом цивилизации. Не старались ли все великие люди изменить законы природы по нашим собственным представлениям, правилам и человеческим меркам, чтобы избежать безликой и слепой дикости, которая руководит нашим рождением? Прошу прощения перед читателем за эти размышления, для меня нет ничего тягостнее, чем быть заподозренным в каком-либо философствовании; я считаю, что философии вообще не существует.

Целый угол чердака занимали реликвии, которые Ренато Дзага вывез из Венеции. Впоследствии он продолжал регулярно закупать их у фабрикантов нашего родного города. Здесь можно было найти кусочки Святого Креста, снабженные аккуратными этикетками с еще различимыми ценами того времени, частицы плащаницы Христа, на которую один Рим имел исключительные права, но на которую осмелились посягнуть венецианцы, рискуя быть отлученными от Церкви. В банках, похожих на те, в которых наша кухарка Марфа заготавливала варенья, плавали в уксусе правый глаз святого Иеронима, несколько волосков Богородицы, волосы из бороды святого Иосифа, розовый сосок святого Себастьяна и даже целая стопа святого Гуго в хорошем состоянии, такие же две правые стопы находились в монастыре Святого Бенедикта, а три левые – в монастыре Бальзамо. Очевидно, что это были пустяки по сравнению со святынями, находящимися в ста пятидесяти религиозных заведениях нашей лагуны, хотя подробности об этом я узнал только позже, читая «Жизнь, величие и упадок Венеции» господина Рене Гердана, опубликованную в 1959 году издательством «Плон». Так мне стало известно, что в церкви Святых Симеона и Иуды находится голова святого Симеона и целая рука святого Иуды; тело же святого Теодора было собственностью церкви Святого Сальватора, тело Святого Иоанна – собственностью церкви Святого Даниила и что в самой известной церкви Святых апостолов Филиппа и Георгия хранятся не только голова святого преподобного Филиппа и рука святого великодушного Георгия, но и «*тело Святой Марии, девственницы-мученицы, дважды невредимое*», как говорит автор. Поскольку наше ремесло и мои корни не слишком развивают подозрительность и неверие, то я отсылаю скептически настроенных к вышеуказанному сочинению; из него видно, что христианские коллеги деда Ренато предлагали ни больше ни меньше как жезл самого Моисея, плавающий в уксусе для

поклонения падкой до чудесного толпы.

Наконец, на чердаке были предметы, напоминавшие о наших первых шагах: жонглерские мячи и кольца, крапленые карты и игральные кости фокусников, поддельные шкатулки с двойным дном, магнитные цепи, звенья которых казались крепко соединенными, тогда как достаточно было одного движения кисти руки, чтобы разорвать их, и в особенности маски, бесчисленные маски, зеленые, белые, голубые, красные, алые; они избавляли шута от заботы о выражении лица, высвобождая его тело. Можно презирать эти тайные пружины во имя настоящей гениальности, но без них не было бы ни Тициана, ни Гёте, потому что мастерство – не что иное, как умение ловко спрятать свою «кухню», закулисную сторону профессии и содержимое переполненных рукавов.

Короче говоря, чердак был битком набит всем необходимым для надувательства.

Пришел день, когда критики начали наперебой расхваливать мою искренность и честность и когда я наконец увидел в себе достойного наследника своего отца, тогда-то я понял, почему отец так строго запрещал заглядывать на чердак. Чтобы хорошо делать что-то, надо верить в то, что ты делаешь, если же ясно видишь, на чем держится твое дело, потеряешь непосредственность, чувство, вдохновение, которые и отличают искусство от искусности и дают ему привкус подлинности. Позже, когда эта сторона работы, эта роль, которую автор играет, исполняя своих персонажей и выполняя все требования к технике, процессу, отделке, привлечению внимания и продумыванию, когда вся эта лавка с инструментами видна как на ладони и реквизит находит ловкое применение, тогда опасность миновала, потому что чародей со временем стал доверять себе, осмелел, обрел необходимую уверенность и стал шарлатаном и теперь никакое осознание, никакая утонченная щепетильность не могут ему помешать.

Глава XII

Это было в углу чердака, где я почувствовал себя вором, обнаружив стопку дерзких и даже кощунственных писем, чтение которых привело меня в ужас и открыло некоторые причины разногласий между Терезиной и отцом. Письма занимали целую полку на этажерке; их защищала паутина, сотканная столь тщательно, что я не мог не увидеть в ней действие чьей-то зловещей, преднамеренной воли. К этим документам нельзя было протянуть руки, не нарушив паутины, тем более отвратительной, что там царил подвижный, черный, мохнатый паук, от которого я не ждал ничего хорошего.

Письма были запечатаны, но сургуч поломан; меня неудержимо влекло к ним. На чердаке лежало бесчисленное множество других рукописей и писем, валявшихся повсюду вперемешку со сломанными скрипками, арфами, у которых лопнули струны, с каленными клавиатурами и нотными листами, но я хотел эту стопку, и только ее. Наверняка паук раззадорил мое столь упорное любопытство: присутствие этого маленького, толстого сторожа придавало сокровищу вкус запретного плода. Противостоять искушению я не мог. Однако не мог и решиться просунуть руку сквозь это гнусное царство. Я пробовал обойти его сверху, подальше от паука, там, где нити были расположены широко. Но существо побежало к моим пальцам с необычайным проворством, и мое воображение – дар или порок, унаследованный от предков Дзага, – особым способом оживленное воспитанием, полученным от приятелей-дубов в Лаврове, – опять сыграло со мной злую шутку. Я уже догадался, что имею дело не с насекомым, что мохнатое и, без сомнения, ядовитое животное поставлено сюда темными силами, чтобы следить за запрещенными документами, доступными лишь для посвященных. К этому прибавилось убеждение, что передо мной человеческое существо, мужчина или женщина, заколдованное и превращенное по приказу высших органов в строптивного и враждебного часового. Убеждение было тем более сильным, что я несколькими днями раньше прочитал книгу, которую нашел здесь же, на чердаке: «Большой алфавитный указатель по генеалогии ада» Вальпургия. Я быстро отдернул руку и хотел было проиграть в неравном бою, как получил урок, сыгравший в моей жизни важную роль, потому что помог сначала почувствовать, а затем лучше понять глубокие удары, которые однажды нанесли народные низы верхам общества.

Итак, я был готов капитулировать перед сторожем Секрета, затаившимся в своих сетях; он двигал лапками и с угрозой глядел на меня маленькими глазками, когда услышал позади себя шорох. Я оставил чердачную дверь приоткрытой, и сын старого Трофима, Петька, с которым, невзирая на запрет синьора Уголини, боявшегося, что я подхвачу вшей или перейму вредные привычки, общаясь с чернью, я часто играл на заднем дворе, воспользовался этим и проник на чердак. Это был мальчишка моего возраста, с короткими ногами, румянцем, словно осенние яблоки, и светлыми, будто летняя пшеница, волосами. Во времена великих решений, когда речь шла о том, как перемахнуть через высоченный забор или влезть на вершину дерева, он обычно подтирал нос рукавом; его голубые глаза решительно смотрели на препятствие. Сейчас, прежде чем я успел объяснить ему, в чем состоит дело, и дать приказ к отступлению, он уже сделал шаг вперед и несколькими энергичными движениями кулаком, а затем каблуком положил конец существованию и паутины, и ее создателя.

Так, в тринадцать лет я присутствовал при том, как проявились неожиданные и грозные силы, таящиеся в народном сердце, и хотя мне понадобились годы жизни и много опыта, чтобы извлечь пользу из этого урока, но с этого момента я почувствовал, что народ нельзя забывать,

что это одновременно и клиентура, и материал, и поддержка, и возможности, которые ни один из Дзага не может выпустить из рук.

Во всяком случае, в одно мгновение Петька проделал всю грязную работу, мне оставалось только воспользоваться этим. Сломанные сургучные печати меня немного смущали, я начал просматривать другие бумаги, загромождавшие этажерку. Здесь находились всякого рода инструменты, которые наш род применял в своей профессии. Я не был еще достаточно воспитан, или, как говорят сейчас, просвещен, чтобы оценить настоящую стоимость обгоревшего пергамента, изъеденного Временем и червями, акта «подлинной» сделки, согласно которому Фауст даровал Мефистофелю известные и неотъемлемые права. Здесь также лежала исповедь Вечного жида, сделанная в 1310 году перед инквизиторами Венеции, в которой это тысячекратно проклятое создание называло своих сообщников среди венецианской еврейской общины, имевших секретное поручение не только против Республики, но и против истинной веры. Эта исповедь Вечного жида позволила великой казне сильно пополниться, ведь были конфискованы состояния богатейших семей Синедриона. Мой равнодушный взгляд скользил по списку чудесных исцелений с помощью святого Анодена, где были указаны имена и свидетельства каждого исцеленного. Это была работа одного из моих предков Ренцо Дзага по заказу францисканцев. Еще здесь находилась настоящая исповедь Лютера, которую он сделал при смерти, из нее становилось ясно, что этот осквернитель подчинялся демону и что в обмен на позорную помощь он посеял в христианстве смуту и ересь. Рукописи были тщательно разложены по векам, и я заметил, что в этом порядке они следовали от магии к философии, от могущества Бога и дьявола к человеческой власти: гуманистический период открывался на сияющую перспективу счастья, на рай, покидавший небесные кварталы, чтобы прочно обосноваться на земле.

Наконец я решился взяться и за письма с треснувшим сургучом. Сердце сильно билось, мне казалось, что все в этом месте живет какой-то таинственной жизнью; надо было остерегаться, она могла возникнуть внезапно из глубины своей кажущейся невинности и превратиться в когтистого и ухмыляющегося монстра. Но из этой недолгой борьбы с детством я вышел победителем, я схватил письма и развернул их.

Я узнал руку Терезины.

Почерк был неловкий, орфография привела бы в ужас бедного Уголини, но письма были составлены с такой живостью, насмешливостью и даже злостью, что мне потребовалось некоторое время, чтобы привыкнуть к подобной свободе выражения.

Каждый лист украшал рисунок, такие тогда называли гротесками, а позже – карикатурами. С той жесткостью штриха, которую я найду после у Доре и Домье, они изображали отца, изображали с различных точек зрения, забавных конечно, но задевающих мое сыновнее чувство уважения. От слизняка, пса, дождевого червя, жабы или обезьяны до лакея, шута и зрителя за ночными горшками Екатерины, пробующего на вкус качество материала, до всего, что было способно выдумать воображение – не только неуважительное, но и терзаемое самым живым чувством.

Кроме отца, Терезина так же точно прошла по всем вельможам, окружавшим российский трон и саму государыню. Попади эти письма в руки властям, нас могли бы повесить, потому что в Московии с этим не шутили; неуважения не терпели ни в те времена, ни сегодня. Подобно трону, Терезина не пощадила и Церковь. О патриархе Герасиме, святом человеке, который столько сделал, чтобы помочь народу безропотно выдержать скорби, Терезина говорила, что «его борода такая белая, потому что сердце хранит всю его черноту». По поводу Григория Орлова она писала: «Ты знаешь, это тот, кто собственноручно задушил царя Павла, потому что единственное место, куда он еще не целовал свою любовницу Екатерину, – трон».

И добавляла: «Князь Потемкин проводит время в конюшнях, помогая царице забираться *под* лошадь, потому что наша государыня, если верить Дидро, – женщина большой глубины». Смысла последней фразы я не уловил, но понял его гораздо позже, когда в поте лица стал зарабатывать себе на жизнь.

Я был ошеломлен. Я не понимал, как моя нежная и веселая Терезина могла дойти до такой злобы и почему дочь бродячего комедианта забыла великий закон нашего ремесла, который состоит в том, чтобы нравиться, очаровывать, обольщать, развлекать, восхищать, но никак не оскорблять наших покровителей. Следует помнить, что хороший вкус был тогда правилом в искусстве и что потребовалось ждать почти два века, чтобы дурной тон получил официальное признание в этой сфере.

Письма были адресованы «синьору Туллио Карпуччи, Бригелле, у вдовы Тасси, за церковь Святого Духа в Венеции». Потом я понял, что Терезина передавала их дворецкому Осипу, ее поверенному, который с усердием передавал письма отцу, так что ни одно из них никогда не покидало Россию. Подобный способ говорить о великих мира сего привел меня в ужас, я был задет и оскорблен еще и тем, какой язык употребляла Терезина, рассказывая о своем супруге. «Я вышла замуж за человека, который притворяется вельможей, но у которого душа лакея; он послужил бы господину Гольдони прелестным персонажем для одной из его комедий – он горазд лизать чужие задницы», – писала она. Вот что значит, подумал я, не получить иного воспитания, кроме воздуха Венеции и выкриков гондольеров.

Я был еще слишком почтителен, как сегодня выразились бы – конформистом, какими часто бывают дети, и слишком несведущ, чтобы понимать, что сердце Терезины находилось на пересечении потоков, шум которых уже был слышен в Европе, и что свобода, о которой я знал только по плутням Арлекина, на Западе начинала затачивать перья, языки и ножи. Эта девочка, волосы которой то ли получили свое сияние и огонь от дневного света, то ли сами были живым источником света, была одним из тех существ, которые предвещают, отражают и зачастую определяют, того не зная сами, изменения в обществе. Терезина никому не была обязана своими непокорными идеями, ее природа хранила их в своих недрах, чтобы они хлынули в нужное время, как вкус и цвет заполняют плод без всякой предварительной обработки, разве что под воздействием тепла и света, когда все начинает вдруг двигаться, изменяться, просыпаться, расцветать и распускаться.

Можно представить себе, какими захватывающими и тревожными могли быть эти порывы ветра, обжигающего, нового, это пробуждение соков, когда она находилась далеко от Италии, богатой на солнечные песни, в самом сердце сумрачной и стылой русской зимы.

Я пробовал понять и, не решаясь обратиться к отцу с вопросом по столь тягостной для него теме и признаться в моих тайных походах на чердак, надумал спросить об этом саму Терезину. Для нее я стал, как она говорила, любимым котиком. Не знаю, то ли ей нравилось мое присутствие, то ли она всего лишь не терпела одиночества.

Чтобы поговорить с ней, я выбрал момент, когда она лежала у камина на шкуре медведя Мартыныча, старого, доброго, беззубого животного, умершего в преклонном возрасте и прожившего счастливую жизнь в вольере позади сараев, вот так она лежала и пролистывала нотный альбом, который ей прислал граф Памятин. Я всегда удивлялся, когда видел, что она читает партитуру, как будто речь шла о любовном романе; выражение ее лица менялось вместе с нотами, переходя от меланхолии к веселости и от веселости к удовольствию. Когда какой-то пассаж ей нравился особенно, она принималась тихонько напевать, иногда она смахивала слезу; можно было подумать, будто от страницы к странице музыка в ее глазах проживает жизнь, сотканную из бурь и радостей, поворотов и неожиданностей, что в конце она умрет или выйдет замуж, что ее похитят разбойники или увезет на коне возлюбленный,

что она похожа на заколдованных персонажей лавровского леса, которых воображение должно освободить от чар, – на стрекозу, цветок, дерево или ноту.

– Терезина. . .

– Ах, Фоско. Ты только что спугнул несколько премилых нот. Слушай же, вот они.

Она начала петь. Когда она пела, то этот несравненный голос, эта мелодия возносили меня на вершину счастья. Я так и не смог излечиться, избавиться от детской привычки отдаваться всем телом, всею плотью, человеческим обликом тому, кто меня восхищает, пугает или разжигает мое любопытство. Когда я учил алфавит, буквы становились действующими лицами; я увеличивал их, и они окружали меня, прохаживались, бродили вокруг, здоровались за руку, танцевали менуэт. Помню об одном «р», которое я научил танцевать казачок, одноногое «р» все время подпрыгивало и ударяло каблуком в паркет. Итак, я слушал голос, который умел из значков, начерченных в альбоме рукой старого графа, извлечь такое благозвучие. Мне даже не приходилось напрягать воображение, чтобы придать этому голосу человеческий облик, потому что он уже существовал в образе Терезины, который так соответствовал ее счастливому виду.

– Ну разве не хорошо?

– Терезина, я нашел на чердаке письма, которые ты написала твоему другу Карпуччи в Венецию. Осип не отдал их ямщику, а передал отцу. Эти письма никуда не отправлялись, они все здесь, наверху.

На ее лице выразилась такая скорбь, что я почувствовал себя вандалом, как будто поджег по меньшей мере двадцать гектаров заколдованного леса.

– Терезина!

Она рыдала, зарывшись лицом в мех бедняги Мартыныча. Я бросился на колени, взял ее за плечи, стал гладить по голове. . . Наконец я впервые позволил себе ласку, поэтому внезапно потерял всякую физическую устойчивость, тела не стало, в пустоте плавало только сознание. Я почти что испугался, помню только, подумал: вот так, когда умирают, душа. . .

– Не прикасайся ко мне!

Я не убрал руки, инстинктивно догадываясь, что сейчас услышал первое в моей жизни женское «да». Я наклонился над ней, обхватил за плечи правой рукой, рукой шпаги и защиты, и зарылся губами в ее волосах. . . Не знаю, сколько времени длились эти мгновения, в которых смешались нежность и запах. Счастье обретало форму, причина жить проявлялась передо мной во всей своей очевидности, со мной больше ничего не могло случиться,

Я отпрянул только тогда, когда услышал какой-то треск, и быстро поднял голову, опасаясь, что это отец: но это был всего лишь мой старый приятель, огненный человек, отплясывающий на поленьях свою разноцветную джигу. Терезина выпрямилась и сделала одно движение, которое после я видел только у нищенок Кампо Санто: она вытерла слезы локонами.

– Ох, я на него не сержусь, – сказала она. – Он меня любит. Ну да, он прочел письма. Он никогда ничего об этом не говорил. Я бы поняла, если бы он оттаскал меня за волосы, дал пощечину, выставил вон. . . Он славный. Но мы не созданы друг для друга,

– Почему же ты вышла замуж за него?

– Я хотела есть.

Я узнал, что, когда труппу бродячих комедиантов Портагрюа разогнали, потому что старого Арлекина обвинили в оскорблении правительства и в масонской деятельности, Терезине было пятнадцать лет. Ее приняла к себе семья Ардити, которые таким «благотворительным» образом поддерживали свое существование. Терезину определяли к какой-то содержательнице борделя, чьим ремеслом была поставка свежей плоти патрициям, столь же богатым, сколь и беднякам. Тогда существовало поверье, что венерическую болезнь можно вылечить, если тому,

кто ее обнаружит, удастся лишить невинности девственницу; это милое суеверие продержалось вплоть до XX века; доказательство этому мы находим в «Истории сифилиса» доктора Шампре. Терезина не знала «медицинской» стороны этого дела, но оборонялась. Она сказала мне, что здесь шла речь даже не о добродетели, но о страхе, ведь тогда в Венеции каждое утро собирали десятки, сотни трупов людей, которых медленно или быстро, но с одинаковым результатом изгрызла французская болезнь. Один из ее приятелей, какой-то цирюльник – коновал, живший с Сантиной, епатогад'ой труппы Портагрюа, – сказал ей, что почти все синьоры и богатые торговцы города покрыты шанкрами, гноящимися ранами и различными язвами, так что самой чуме не найдется места. Были и другие причины. . . Она кого-то любила. . . Терезина встряхнула волосами, покраснела, не пожелав больше ничего говорить, потом опять бросилась на спину к Мартынычу: он всегда был очень ласковым медведем. Она любила кого-то, правительство Венецианской Республики повесило его в клетке на всеобщее обозрение на площади перед собором. Он умер от холода и голода под взглядами благородных господ, которым нравятся подобные праздники. Да, это был разбойник, но он раздавал все свои деньги. Если бы он сберег их для себя, вместо того чтобы раздавать народу в соответствии с разными идеями, он, может быть, и выкрутился бы. Его сообщникам удалось бы вызволить его. . . Но вот ведь как, его обвинили в том, что он покупает пустые желудки, и он отдал Богу душу. Да, душу: именно там Ренцо Стотти прятал эту отраву, которую раздавал. Сводня явилась за ней: вся в черном, лицо такое белое, такое синее, такое красное, словно речь шла о маске *commedia*, разве что эта маска не смешила. Да, она на все махнула рукой, как раз тогда она не ела уже два дня, потому что Ардити нарочно морили ее голодом, чтобы она приняла предложение сводни. Случаю было угодно, чтобы отец остановился у Ардити, которые содержали трактир «Красный мак», за памятником Коллеони; он поговорил с ней чрезвычайно любезно; так как они не были знакомы, Терезина рассказала ему все: всегда легче довериться чужим. Вот. Он окружил ее отеческой заботой и, после того как ее осмотрели две акушерки, чтобы засвидетельствовать ее девственность, сделал ей предложение. Вот так это случилось. Она ни о чем не сожалела, кроме, конечно, смерти того. . . ох, нет, она не сожалела даже об этом: стоит начать сожалеть, и конца этому не будет видно, и это не жизнь.

Я в волнении слушал эту исповедь и раздражался, ведь я чувствовал, что почти вырос. Руки наливались силой, грудь раздавалась вширь, и мной овладевало неугасимое желание изменить мир и сделать из него подмостки *commedia dell'arte*, где шло бы представление о счастье и радости. Последующие дни я проводил в состоянии горячей эйфории, глядя на всех и вся – даже на тяжелые камни дворцовых охренниковских стен – с вызовом и гневом. Кулак сжимал гарду невидимой шпаги; глаза выискивали уродливых великанов, в которых больше ничего таинственного не было, их звали Голод и Унижение; одним пинком ноги я сломал стол из дерева ценных африканских пород, который стоял у меня на пути; я тогда ясно видел перед собой господина Ардити, поставщика для сводни Чигоны. Синьор Уголини был шокирован, услышав мои ругательства, раздававшиеся в зале, когда я поднимал взор к большому портрету дожа Фосколо и грозил ему кулаком. Я скоро стану величайшим из чародеев, которых когда-либо являл миру род Дзага; я наполню желудки всех бедняков по всему миру и отрежу косы и уши всем, кто притеснял бедных. Я расхаживал из комнаты в комнату, покровительственно улыбаясь слугам: их судьба находилась в моих надежных руках, и я во весь голос распевал «Гром победы, раздавайся». Я находил в этих решениях ни с чем не сравнимое наслаждение, таким образом, за неимением другого результата, оформилось, укрепилось и развилось мое литературное призвание. Поэтому излишне говорить, что это призвание творить внутри себя в одиночку совершенный мир могло привести меня только на

путь искусства.

Без сомнения, молодой барыне внушала чувство презрения и гнева та услужливость, с которой Джузеппе Дзага обольщал своих хозяев и служил им, но, кроме этого постоянного напряжения, существовали и другие причины разногласий между Терезиной и отцом, признаки которых я непрестанно улавливал. Они были более скрытыми, и я об этом кое-что скажу. Очевидно, что, несмотря на все, может быть, слишком яростные атаки, Терезина не расцветала в руках своего супруга, как должно расцвести каждой женщине. Но что больше всего раздражало «мастера неизвестного», как его называли вслед за князем Вюртембергским, давшим ему это прозвище, – это насмешливо-издевательский склад ума Терезины. Казалось, она не принимала всерьез ни одного важного дела, которым занимались сильные мира сего, и раскаты ее смеха, раздающиеся на возвышенных вершинах, на самом деле принижали их до уровня земли. Сначала жена сопровождала отца в его поездках, но он быстро понял, что ее присутствие губительно влияет на его способности, иной раз полностью его обезоруживая.

Это случилось при дворе князя Вюртембергского, самого благожелательного его покровителя, когда это влияние имело особенно печальные последствия. В Европе жили только три семьи, обладающие тайной магнетизма, или сомнамбулизма, как тогда говорили; это искусство ревниво передавалось от отца к сыну: Дзага, Боз-Калерги и марран Жерон, обращенный еврей из Кадиса. Месмер впоследствии лишил их этой исключительной привилегии, проводя публичное обучение, в которое он превратил этот метод внушения и научный характер которого он собирался установить.

Поездка в Вюртемберг состоялась весной, после свадьбы, и сеанс прошел в загородном доме посреди острова, в честь дорогого друга – некоторые говорили: слишком дорогого – князя-философа, маркиза де Галлана. Всю ночь слуги в желто-черных шелковых ливреях, застывшие в неподвижности, держали над собой канделябры, терзаемые ночным ветерком. Благородное собрание расположилось вокруг кресла, где отдыхала госпожа де Вир, нынешняя любимица, муж которой только что был отправлен с каким-то поручением в Польшу, Отец склонился уже над ней, мягко положив руку на плечо дамы. Сейчас он переместит ее, говорит отец, в прошлое, во Флоренцию, и проведет по дворцу Лоренцо Великолепного, которого она и опишет окружающим. Терезина, от которой я узнал про эти события, объяснила мне, что отец, чтобы ввести пациентку «в состояние», заставлял ее читать некоторые французские и немецкие книги о Возрождении, так как надо было облегчить ей топографию сна и таким образом убедить присутствующих.

– Закройте глаза, мадам, дышите глубже. . .

Его руки произвели несколько пассов перед лицом красавицы Ульрики, и в этот момент произошло событие столь же неожиданное, сколь и неуместное. Отец почувствовал какую-то дурноту, А точнее, испытал ощущение, что более сильная воля вытеснила его волю, и. . . его охватило неудержимое желание смеяться. С мертвенно-бледным лицом и испариной на лбу он боролся изо всех сил против беспамятства, потери магической силы и против взрывов хохота, которые труднее всего было сдержать и которые спазмами пробегали по его телу. Он поднял растерянный взор и стал искать вокруг источник чужой воли-смутьянки. И нашел его во взгляде Терезины. Обожаемое лицо его юной супруги выражало настолько заразительную иронию, что отец, сделав несколько последних отчаянных попыток и едва не расхохотавшись, что было бы для его репутации и карьеры губительным ударом, не нашел ничего лучшего, чем изобразить обморок, который приписал после «преизбытку магнетических потоков».

Он пришел в себя через несколько мгновений, и хорошо сделал, так как госпожа де Вир с застывшим взглядом и в каталептической позе продолжала оставаться в мраморном дворце во Флоренции, и отцу пришлось приложить немалые усилия, чтобы вывести ее оттуда.

После этого между «мастером неизвестного» и его резвой супругой произошло объяснение и столкновение, в которых не было никакого магнетизма и сверхъестественного, потому что у Терезины под глазом появился синяк. Отец, когда ему изменял светский лоск, приобретенный семьей Дзага при дворах, где им приходилось бывать, мог драться не хуже погонщика мулов из Кьоджи и оскорблять почище бондаря из Риальто.

Глава XIII

Я еще не знал о мучительных трудностях, которые порой отягощают интимные отношения между мужчиной и женщиной, когда дверь спальни закрывается за ними. Прошло много лет, прежде чем отец, измученный воспоминаниями и сожалениями, предоставил мне объяснения, которых я от него и не требовал, потому что уже испытал к тому времени подобные неудачи и знал, как к этому отнестись. По выражению, которое он употребил в тот момент растерянности, Терезине в его руках «не удавалось добиться своего». Сперва поверив в проклятье природы, он вскоре понял, что сталкивается вовсе не с каким-то нечаянным и бессознательным препятствием, но с умышленным и упорным отказом. Когда, обнимая Терезину, он бросал взгляд на лицо своей юной супруги, стараясь поймать трепет, предвещающий неотвратимое приближение счастливого удовлетворения и дающий любовнику нежное позволение завершить начатое, то видел в нем лишь враждебность, остановившийся взор, расширенные зрачки, застывшие черты лица, зубы, сжатые в отказе, упрямое «нет!», которое Терезина бросала самой себе, не давая выхода наслаждению, чтобы испытать мстительную радость, несомненно более важную для нее и более высокомерную, чем другие радости. Всем знаком этот отказ в удовольствии, происходящий от тайной или явной внутренней злобы, которая иногда намеренно поддерживается и питается этими горькими победами, заставляет мужчину обращаться за помощью к самому себе и доставляет удовлетворение, часто более желанное и более необходимое, чем успокоение чувств. Это был страстный поединок; Джузеппе Дзага истощил в нем свои жизненные силы, гоняясь за победой, которую нельзя одержать, а можно только получить в дар. Отец в своей мучительной исповеди дошел до самого края и, когда признавался сыну в унижениях, которые он терпел от той, которую страстно любил, то его голос приобретал жалобное звучание, англичане называют это *self-pity*, голос становился гнусавым, плаксивым, словно голос клошаров, которые делают себе татуировки с надписью «не везет», утверждая в собственных глазах свою неудачливость.

Я узнал, что отец часами перемешивал в своем кабинете вещества и отвары, надеясь найти мудреный рецепт, который позволил бы ему, как говорят Б таких случаях, «продлиться», принудить Терезину к удовлетворению и вырвать у нее крики счастья, что так тешат тщеславие самцов. Он испытывал эти микстуры на себе, вызывая тошноту и страшные колики. Наконец ему удалось открыть нужный состав, и это сильно укрепило его авторитет и все остальное, вызвав новую вспышку его популярности.

Поначалу он ставил эксперименты с пользительным составом на Фоме, нашем старом донском казаке, что жил во дворе, охраняя дрова. Он был не в себе, и его часто видели присевшим на корточки в уголке рядом с поленницей. Его потрескавшиеся, как комья земли при приближении зимы, руки постоянно собирали хворост и ветки. Более тридцати лет Фома строил Ноев ковчег, в любой момент он ждал потопа. Он действительно думал, что множество наших грехов достигло того предела, когда величественный гнев Господа может излиться с минуты на минуту. Фома тем не менее был далеко не сумасшедший, каким мы его тогда считали. Если и не произошло потопа в точном смысле этого слова, то бедствия и кровавые бани, обрушившиеся на русскую землю в свое время, ни в чем не уступали тем, которые претерпели первые в мире жертвы кораблекрушений.

Когда его спрашивали, какие создания он бы поместил на ковчег в первую очередь, Фома сурово глядел на вас и качал головой:

– Еще не знаю.

Неизвестно, может быть, ради того, чтобы завоевать его снисходительность и расположение и таким образом удержаться на плаву, но люди всегда старались подать ему милостыню, а наши слуги ухаживали за ним. У него была идея, доказывающая, что ему хватало здравого смысла: он стал продавать места на своем ковчеге. Их охотно раскупали, и это объяснимо; я плохо понимаю, к какой более конкретной надежде мог бы еще прилепиться русский народ.

Итак, на Фоме отец и испробовал однажды свое снадобье. Результат превзошел все ожидания: опустошив склянку, Фома принялся щипать наших горничных за ягодицы, а через пять дней интенсивного лечения результат оказался ошеломляющим. Однажды утром я услышал вопли со двора, бросился к окну как раз вовремя и увидел старика, со всех ног несущегося за кухаркой Авдотьей и обеими руками придерживающего штаны; Авдотья вооружилась метлой и возмущенно визжала.

Рецепт «длительного подъема», как охарактеризовал отец свое открытие, используется и в наши дни. Чтобы посрамить маловерных и помочь любителям чудесного, я привожу здесь эту формулу. Возьмите четыре щепоти борщевика (корни, листья и семена его), жменю калужницы (лист и цветки), жменю чистотела (выбрав, если возможно, увядшие листья), полжмени растолченных семян греческого укропа, жменю листьев мяты и листьев садового чабреца и сделайте вытяжку, которую будете пить каждые два часа, в то же время принимая сидячую ванную с применением этого же снадобья. Я продолжаю утверждать, что отец – автор этого рецепта, открытого им приблизительно в 1772 году, потому что хотя его и рекомендовал в последней четверти XX века знаменитый целитель Морис Мессеге, человек и коллега, которого я ценю очень высоко, – он не является изобретателем этого средства. Первым, кто воспользовался этим благотворным составом, был князь Потемкин; Джузеппе Дзага получил за это от императрицы Екатерины, в знак признательности, орден «За заслуги». Пусть не подумают, будто отец искал в своих отварах лекарство от немощи или что он страдал от недоверия к самому себе, губительному даже для лучших кавалеров. Но в той страстной борьбе, которую вела против него Терезина, он пытался выйти за пределы возможного. Ему это не удалось. Вспоминая об упорном неприятии, о стиснутых зубах, об оцетинившемся тысячью иголок враждебном и непреклонном зверином взгляде, он сказал мне в своей печальной исповеди:

– Она не хотела.

И добавил следующую необычную фразу, грусть которой могли понять только очень старые распутники:

– Она не хотела, потому что для нее заниматься любовью значило – творить любовь.

Пока в господских покоях происходили стычки, о которых я и не догадывался, меня самого мучила не менее болезненная фрустрация. Оба отверстия моего бедного счастья, которое я испытывал в бревнах бани, тщательно просмолили и законопатили, но если мои нижние уровни были теперь лишены удовлетворения, то насыщение взора никогда не было более полным. Я не пропускал переодеваний Терезины, она одаривала меня своей наготой столь естественно, что я спрашивал себя, не является ли естество одним из наиболее жестоких способов пытки, какие когда-либо были изобретены. Не знаю, имела ли она в виду, приучая меня видеть ее обнаженной, умерить мое нездоровое любопытство, – или же ее отличала неосознанная извращенность. Я даже думаю, что, не познав еще власти чувственности, волнений и жалящих укусов сердечных мук, она по своей невинности и не подозревала о страданиях, которым подвергала меня ее щедрость. Тем более что я разыгрывал комедию безразличия и холодности, изо всех сил следя, чтобы мои взгляды не выдали меня. Когда она надевала чулки или снимала рубашку, мои колени дергались в конвульсиях, а по лицу пробегала волна тика, но если бы она повернулась ко мне, я притворился бы, что занят чем-то другим, я стал бы

играть с ее собачонкой, мопсом по имени Принц, и небрежно насвистывать. Если мы стали братом и сестрой, как она искренне полагала, то никогда кровь мальчика не кипела от такого братства так сильно. Само собой разумеется, что эта красота, которая так щедро расточалась перед моими взорами, но отказывала всему остальному, не «упрощала», как говорят сегодня, наших отношений, не использовала мой взгляд по привычке, а только зажигала в моих недрах тысячу огней; эти объятия могли в конце концов повергнуть меня в состояние безнадежности и обездоленности, которые чуть не стоили мне жизни.

Наши сеансы «привыкания» в действительности превратили меня в раскаленную жаровню. Отказавшись прибегать с помощью рук к полумерам, которые – я попробовал их на себе – лишь подстегивали мое воображение и наполняли меня печальной пустотой сдутого мяча, я нашел другое средство, чтобы покончить с этим и успокоиться: нырнуть по шею в кучу снега, который накопился во дворе между зданием дворца и стеной. Итак, я нырял в это ледящее вещество, которое ошастливило когда-то Савонаролу. Холод обжигал меня и проникал до самых костей, я ждал, чтобы мои кипящие жизненные соки охладелись до обычной температуры. Я терпел до тех пор, пока оцепенение не достигало сознания. Однажды я, сам не заметив как, все-таки потерял связь с телом, забылся и обязан жизнью одному из наших кучеров, Ермолке, который отважился зайти за баню по малой нужде и увидел голову барчука, торчащую из снега. Мое лицо уже приобрело синеватый оттенок, но еще сохраняло приветливую улыбку, появившуюся часом раньше, когда я созерцал Терезину, примеряющую новое парижское белье, улыбку, которую Ермолка приписал какому-то святому видению, пришедшему, чтобы забрать меня в мир иной. Он позвал на помощь; двор огласился криками и плачем; обезумевшие слуги воздевали руки и возводили глаза к небу, закрывали лица, много суетились, а кто-то подал даже идею вытащить меня. У русских в высшей степени развита способность к жестикуляции и выразительной мимике, о которых мой друг Шаляпин сказал однажды, что эта избыточность компенсирует тысячелетнее молчание крепостных и угнетаемых. Меня в спешке перенесли в комнату, где синьор Уголини превратился от изумления в памятник, а женщины принялись меня раздевать, в то время как уже несли розги, жесткие волосяные перчатки и снег, чтобы растереть и высечь тело. Чудо юности, восхитительный и неудержимый напор весенних соков! Когда я был раздет донага, вокруг меня стояла гробовая тишина. Открыв глаза, я уловил на лице синьора Уголини выражение безграничной оторопи, а Глашка и Катюшка, которые сняли с меня последние одежды, застыв на мгновение, принялись вопить и закрывать рот рукой, как того требует оскорбленная добродетель. Воздав должное приличиям, они отвернулись, фыркая от смеха. Отец, которого только что известили, вошел как раз в этот момент. Одного взгляда ему было достаточно, чтобы удостовериться, что жизнь моя вне опасности и что ледяной бане не удалось заглушить голос природы, которая потребовала своего во что бы то ни стало. Ему не надо было большего, чтобы понять причины моего добровольного погружения и принять срочные меры.

Отец, любивший меня нежно, не мог сообщить мне о своих тревогах и, может быть, даже о разочарованиях; он с давних пор тщетно пытался разглядеть во мне зерно какого-нибудь таланта, который отец мог бы развивать, обрабатывать и поддерживать, чтобы великая семейная традиция не прервалась на нем. Он был счастлив, когда я приносил из лавровского леса изображения легендарных чудовищ, которых только мой детский взор мог выискать там. Позже, когда действительность и ее зловещий сообщник Время подчинили себе мою руку и мое зрение и когда я приносил домой только скудный земной урожай, деревья, цветы, пейзажи и другие предметы, где отсутствовали тайна и магия, он взволновался. Мой брат Джакомо научился играть на скрипке в шесть лет и уже стал виртуозом; Гвидо показывал чудеса телесной гибкости, которая должна была сделать из него акробата, достойного первых Дзага,

основателей нашего рода. Такое возвращение к истокам немного огорчало отца; он хотел видеть, как старший сын поднимется к самым сияющим вершинам и станет руководителем Церкви, может быть, даже Папой или, на худой конец, великим финансистом. Сестра была красива, а этого для женщины достаточно. И только я не обнаруживал никаких признаков таланта. Телесно я был довольно ловок, но моему уму недоставало живости и гибкости. Он не догадывался, что я переживаю трудный период, когда подросток стыдится в себе ребенка, но что детство в один прекрасный день берет верх, утверждается, управляет моим воображением и что таким образом я придаю новый блеск старой шутовской короне.

Итак, Джузеппе Дзага смирился с тем, что молодой человек, которого он окружил лаской и вниманием, представляет собой «затмение» в усыпанной звездами истории нашего рода. Но когда он увидел меня после ледяной бани, горящего огнем, который даже крайне суровая русская зима не смогла загасить, он совершенно успокоился. Конечно, еще нельзя было сказать, к каким высотам устремится столь очевидный избыток моих чувств и мой пыл, но было ясно, что я не обделен дарованиями и у меня есть все шансы на успех в своем восхождении.

Он ничего не сказал, сохранил бесстрастное выражение лица и предоставил меня заботам Уголини. Уголини, чуть поколебавшись между теплой и холодной ванной, склонился в пользу первой, она одновременно восстановила кровообращение и вызвала необходимое расслабление. В тот же вечер отец спустился в мою комнату. Взяв подсвечник из рук слуги, с которым пришел, он приблизился ко мне, откинул одеяло и властным жестом приподнял мою рубашку. Я думаю, он хотел убедиться, что не был жертвой оптического обмана. Я смотрел на отца с тревогой, как всегда озабоченный тем, чтобы нравиться. Еще до прихода Терезины эта часть моей личности исполняла меня удивлением, потому что начинала иногда изменять пропорции без всякой связи с теми скромными услугами, которые она мне предоставляла.

Я ждал.

По лицу самого знаменитого из Дзага пробежало быстрое понимание. Отец подправил мое одеяло и присел на кровать. Помню, он носил домашнее платье из красной парчи, расшитой золотыми, серебряными и черными нитями, которыми изображались каббалистические знаки, диковинных птиц и драконов, изрыгающих огонь; платье впечатляло и запоминалось еще больше, чем платье и шапочка Нострадамуса, украшенные звездами. Мы, то есть наша семья, всегда были самыми ревностными и упорными творцами счастья, и Джузеппе Дзага, наверное, чувствовал себя счастливым, зная, что его сын обладает всем необходимым, чтобы с гордостью служить своему призванию. Однако он показался мне невеселым; в улыбке, что блуждала по его губам, пока он изучал меня, проступала ностальгия; теперь я знаю, как невыносимо трудно быть стареющим чародеем.

– Арабы говорят Allah akhbar, что значит «велик Господь», – прошептал он; впервые я услышал, как он говорит о Боге, потому что, как многие искусники потустороннего мира, он хорошо разбирался в инструментах и тайных пружинах, которые они сами расставляют в кулисах, чтобы выглядеть более убедительными.

Отец поднялся и вышел, а перед ним – и слуга с канделябром, их сопровождали каббалистические знаки, адские драконы и небывалые птицы, которые вспархивали позади отца и затем снова садились, скрываясь в сверкающей шелковой жизни.

На следующий день после этого посещения моя жизнь резко изменилась.

Глава XIV

Пробило четыре часа. За окном уже стемнело; снежинки спускались с неба с торжественной медлительностью, дарующей наблюдателю необъяснимое успокоение. Я только что пришел в свою комнату, чтобы заняться немецким – языком, принесшим мне немало мучений церемонной чопорностью грамматических построений. Его изучение позволило мне понять, отчего именно немцы изобрели и усовершенствовали автоматы: оттого что Германия – страна точкой механики и раз и навсегда установленных с непреклонной тщательностью часового механизма движений. Прислонившись лбом к стеклу, я созерцал танец крошечных фей, блиставших благодаря сиянию их невидимых жезлов. Русские крестьяне говорят, что лишь чистым душам дозволено тешиться этим кружением и, едва коснувшись земли, воспарить к небу. Прочие, те, что образуют сугробы и устилают поблекший мир своей белизной, – души, не допущенные в рай и выполняющие во имя смирения и покаяния скромную, но нужную работу, украшая черную землю. У крестьян есть объяснения, не подвластные рассудку, на все случаи жизни, ибо их собственное существование уже давно доказало им всю никчемность здравого смысла.

Я услышал за спиной слабый шум, скрип паркета, отзвук жизни. Я обернулся. Никого. Волчья шкура, тарашившая с оскаленной морды стеклянные глаза, послушно лежала на своем месте у камина: она не выказывала по отношению ко мне тех хищных поползновений, которыми я наделял ее в своих мечтах. Мой приятель, огненный Арлекин, все так же плясал на углях, меняя расцветку наряда по прихоти пламени. Я заметил, что дверь бережно притворили. Мой глаз запечатлел самый конец перемещения дверной ручки, занявшей свое место. Кто-то из слуг, видимо, вошел и вышел, пока я был погружен в мои мечтания.

Потом я различил новый шорох. Он доносился из-за красно-белой бессарабской ширмы, защищавшей мою постель от сквозняков. Одновременно я увидел человеческую тень, двигающуюся за этим прозрачным экраном. Я никогда не был трусом, мой лес открыл мне, что чудовища до смерти боятся людей; привыкнув общаться с монстрами, я не опасался человека. Любопытство сызмала было главной чертой моего характера, оно доставило мне множество приятных минут. Итак, подзуживаемый любопытством, я приблизился к ширме. Сквозь филигранные узоры на тонкой ткани я разглядел очертания обнаженной ноги, рук, снимающих подвязку с другой ноги, покоящейся на полу, – до сих пор эта поза остается для меня самым волнующим воплощением женственности. На какое-то мгновение во мне ожила безумная надежда на то, что Терезина пришла ко мне, чтобы наконец освободить меня от навязанного ею невыносимого ига братства.

Но это была не Терезина.

Зайдя за ширму, я увидел сидящую в кресле юную цыганку, одетую, как мне показалось, лишь в цвета: ниспадающая, она смешивалась с золотом серег и браслетов и с чернотой волос. Цыганка смотрела на меня из глубины веков; взгляд этого ребенка, которому было не более тринадцати-четырнадцати лет, был отмечен бескрайним знанием, словно восходящим к истокам всего сущего. Закинув ногу на ногу, задрав до бедер цветастое платье, она тихонько покачивала ступней. Позже, часто встречаясь с ней, я не мог не думать о царицах древности, о храмовых жрицах, об императрице Феодоре и о сладострастных обрядах перед алтарями языческих богов в те времена, когда религия еще не стала чем-то загробным и мрачным.

Она погрузила свои ладони в черное сияние, ниспадавшее шелковыми волнами на плечи, и откинула его назад движением головы и прикосновением рук. Не могу утверждать, что она

была красива; ее глаза были так велики, что занимали почти все лицо: остальное было почти неразличимо. Нет, теперь, разглядывая ее заново, я вижу, что она не блистала красотой, в лучшем случае ее можно было назвать хорошенькой. Верхняя губа прекомично задиралась, открывая мелкие, острые, белые зубки. Лицо ее со слегка изогнутым носом, хищными, широко раскрытыми ноздрями словно выражало вызов, столь свойственный юности, будто говорило: «Знаю, знаю, чего тебе надо». Она опустила руки на бедра и, не отрывая от меня взгляда, наблюдая с почти плотоядной улыбкой эффект, производимый на меня ее движениями, медленно стянула с себя остатки одежд.

Здесь я открываю скобки, ибо по прошествии стольких лет множество славных имен забылось, множество секретов утрачено. Но в то время, как я следил взглядом за медленным движением платья по бедрам, могущество Третьей Пирамиды, облеченное великим жрецом Афариусом в форму двадцати двух ключей Тайны и распространенное им среди избранных по всему свету, признавалось не только розенкрейцерами и адептами Треугольника, но даже Церковью, никогда не прекращавшей сражаться с еретиками. Когда последнее движение ткани открыло наконец то, что мне предлагали с такой искренностью, я, не усомнившись, узнал один из ключей Афариуса, ключ счастья, и мне уже не нужен был свет очага, бросивший на чертовку красные блики, чтобы понять, откуда она пришла и какая сила мне ее прислала.

Отец позже, на склоне своих дней, – он бывал тогда пьяным чаще, чем это подобало бы человеку, привыкшему оперировать силами, отличными по своей природе от силы крепких ликеров, – предоставил мне объяснения более приземленные и более «венецианские».

Он заплатил двадцать рублей известной сводне Проське, чтобы та привела в мою комнату девку, способную за один раз направить меня по верной дороге, не упуская из виду двух других. Я воспринял это новое доказательство крушения тайны без особого сожаления – в эпоху Огюста Конта это крушение переживалось особенно остро, и помощь пришла лишь впоследствии, благодаря доктору Фрейду и его блистательным трудам. К тому же я нашел чем ответить отцу, кстати говоря, похвалявшемуся, что в 1680 году он обедал с Сатаной у принца фон Цана, – тот факт, что ласки, предназначенные мне, были оплачены не слишком дорого, ничуть не противоречит репутации Князя Тьмы, ведь купля-продажа всегда была мила его сердцу.

Я должен также добавить, что если меня посетило исчадие ада, то это лишь доказывает, что ад – учреждение, безбожно оболганное. Сколько философов-потусторонников избежало бы мук безответных воззваний, если бы, подобно мне, они в начале своего пути встретили руки и губы и сердечко, владеющее тайной истинного знания и бьющееся словно лишь для того, чтобы дать на все вопросы самые нежные ответы!

В то же время я получил предсказание моего будущего. Оно было дано мне этой скромной царицей наслаждений, одной из тех, чьи имена не стали достоянием истории, но кто простирает над нами прочнее, чем заносчивые монархи, всю полноту абсолютной власти. Маленькая цыганка сказала мне в этот полночный час, когда мороз за окном и огонь в камине еще прочнее соединяются между собою в их старинном дружественном союзе:

– Ты станешь великим любовником. Тебе еще многому нужно научиться, усовершенствовать, отшлифовать свое умение, но у тебя есть талант.

Как описать ту радость, которую я испытал, узнав, что добрые феи не забыли обо мне, что они, склонившись над моей колыбелью, коснувшись своими жезлами нужного места, сделали из меня то, что позднее назовут «одаренной натурой»?

Малышку звали Айша. Когда наутро она оставила меня, я чувствовал себя Моисеем, получившим скрижали Завета.

Перед тем как закрыть за собой дверь, она обернулась, улыбнулась мне и сказала:

– Takova khouïa i tzar-goloubtchik nie imeïet!

Не осмелюсь перевести это лестное для меня, но крайне грубое выражение: необходимо извинить это дитя, говорящее на первобытном языке невинности. Снаружи ее ждала в своей повозке известнейшая сводня Петербурга Проська Бакалаева – она прожила еще достаточно долго, так что Пушкин в поэме-послании, адресованной его другу Дельвигу, в элегической форме описал наслаждения, которыми его потчевали в ее «пансионате», в самых смелых выражениях.

Эта ночь ввела меня в состояние восторженности, в котором синьор Уголини усмотрел признаки мистического кризиса. Я оказался неспособен к работе: перо застывало в воздухе посреди урока, с блаженной улыбкой на устах я ласкал нежным взглядом потолок. Добрейший Уголини объяснил мне, что Бог, конечно, хорошая штука, его святые и ангелы снабдили наших великих живописцев множеством восхитительных сюжетов, но нет лучшего способа служить ему, чем исправно выполнять свои обязанности на земле. Я был совершенно с ним согласен и стал усердно посещать «пансионат» Проськи. Когда меня не отпускали, я бросался на шкуру старого медведя Мартыныча, который даже при жизни своей не выдвигал подобных излишеств, и, нежно обняв его, расточал ему свои ласки.

Природа, однако, требовала более полного удовлетворения. Однажды, когда, несмотря на все *Donnerwetter!* и *Gott im Himmel!*, расточаемые мастером пера Кудратьевым, я покрыл чернильными пятнами лист с каллиграфическими упражнениями, зов крови настолько овладел мною, что, отбросив перо, я бросился вон из комнаты. Я не знал, в какую сторону мне податься, но инстинкт повелителя и хозяина вел меня прямо на половину прислуги, в старые конюшни, куда можно было пройти через галерею третьего этажа. Есть в жизни мгновения, когда вдохновение направляет руку Судьбы, быть может, потому, что означенная дама в это время занята где-то в другом месте. Я открыл наугад одну из дверей и оказался в комнате Парашки, одной из горничных Терезины, которая большей частью занималась нарядами своей хозяйки, ее волосами, лентами, платьями, духами и мушками. Так вышло, что Парашка как раз в этот момент стояла на четвереньках, протирая мокрой тряпкой паркет. Прямо передо мной возвышался мощный круп русской крестьянки. Я издал глухой воинственный клич и упал на колени за ее спиной с таким неистовством, что мои бедные колени болели после этого падения еще два дня. Застигнутая врасплох, Парашка была совершенно парализована страхом и начала голосить, лишь когда намерения барчука обнаружили совершенно явственно. На ее крики, без сомнения, сбежала бы вся прислуга, если бы в момент вдохновения я не прошептал ей торопливо:

– Парашка, я тебя люблю, я не могу без тебя жить, я мечтаю о тебе день и ночь!

– Правда?

– Конечно правда, и еще – завтра мы пойдем на рынок и ты выберешь для себя любые ленты, какие тебе только понравятся!

Не льщу себя надеждой на то, что я предъявил ей сколь-нибудь необычные доказательства своей страсти, но я тогда только учился изъясняться на языке сердца, и нельзя отрицать, что я выказал в этом деле определенную ловкость. Женщины прислушиваются к нашептываниям, исходящим из глубины души, и искусство обольщения требует утонченности.

Парашка, во всяком случае, решила, что будет благоразумнее избежать скандала. Я был лишь немного удивлен тем, что, пока я парил в облаках, она продолжала тереть пол тряпкой.

Глава XV

Отец был тем более мной доволен, что мои братья уже покинули дом, сестра вышла замуж, и лишь я один до недавнего времени не давал никаких обещаний. Джакопо отправился в турне по городам Германии и, не будучи еще отброшен в тень дьявольским гением Паганини, прекрасно поддерживал репутацию семьи.

С моим братом Гвидо все обстояло гораздо прискорбней. Тем не менее я вспоминаю о нем с восхищением. Мне не было и шести лет, когда я впервые увидел его танцующим на грубой бельевой веревке и жонглирующим тончайшими тарелками рижского фарфора – подарком барона де Вебдерна, которого отец излечил от ночных приступов удушья. Гвидо стал великолепным акробатом, обреченным на успех у публики. Когда он в своем разноцветном трико ступал на проволоку, он напоминал моего огненного человечка – так он был подвижен, весел и ладен. Однако эта по преимуществу физическая ловкость смущала и огорчала Джузеппе Дзага. Нет, он отнюдь не стыдился прошлого нашей династии. Но он полагал, что нам нужно идти дальше и целить выше, превзойти элементарную ловкость, облагородить стремления, обновиться. Он мечтал, что его сыновья, достигнув вершин, на которые могут привести ловкость фокусника, сноровка жонглера, гибкость канатного плясуна и акробата, смогут, развив в себе эти качества, применить их на ниве философии, политики и литературы. Он видел нас аристократами, которые хоть и не смогут стать ровней природной знати, но все же будут достойны водить с ней компанию. Джузеппе Дзага, как никто другой, понимал, что у своих истоков искусство было лишь позой танцора, мелодией флейтиста, песней лодочника, сказкой, рассказанной у огня, – право слово, оно разгуливало босиком. Но мы уже отошли от истоков: на дворе была одна из прекраснейших цивилизаций в истории, и она протягивала нам руку. Не стоило ее отвергать.

Когда я смотрю на портрет моего деда Ренато Дзага, написанный Скаччи-флорентийцем, привезенным из Европы Петром Великим, меня всегда поражает нос моего предка. Его чуткие ноздри словно ловят флюиды будущего, это орган скорей прорицательный, чем обонятельный; его живой, лукавый взгляд, кажется, нацелен в грядущие времена. Не сомневаюсь, что великий скоморох знал: придет время, когда искусство займет в мире то место, которое прежде занимала религия, ибо великие цивилизации – увы! – пускают ростки на вершинах своих предшественниц; они бросают свои семена в их мрак и гниение, где им не суждено укорениться.

Я помню драматическую сцену, которой закончилась последняя встреча моего брата Гвидо с отцом. Джузеппе Дзага мерил шагами гостиную, украшенную портретами императрицы и дожа Дандоло. В комнате царил беспорядок, который в русских домах лишь усиливается с увеличением штата прислуги.

– Иди, – говорил отец, и голос его звучал глухо от с трудом скрываемой грусти. – Ходи по ярмаркам, стань простым клоуном. Я не презираю ни твое призвание, ни твою бедность. Если хочешь стать жонглером, канатным плясуном, и никем больше. . .

– Я хочу стать честным человеком, – ответил Гвидо.

Отец остановился и удивленно взглянул на него. На одно мгновение он будто состарился лет на сто; потом он взял себя в руки и вновь помолодел.

– Я породил придурка, – проговорил он.

– Все наши предки были бродячими артистами. Эти люди честно трудились и не имели никаких претензий. Теперь мы стали жуликами и самозванцами. Мы требуем к себе уважения,

на которое не имеем права, мы приписываем нашему скромному искусству возможности, которыми оно не обладает. Мы хотим быть господами.

– Я получил множество знаков уважения и признательности от многих увенчанных коронами глав, – произнес, почти пропел отец, издав тремоло, от которого не отказалась бы Люччина во втором акте «Хвастуньи».

– Эти главы падут.

– Тогда, – возразил отец, – короны возложат на другие. Настанет царство разума и красоты.

Мой неисправимый братец воспроизвел с помощью указательного пальца типично итальянский жест, в котором не было ничего каббалистического, К счастью, отец, устремивший взор в грядущее, приняв вдохновенную позу, которая, однако, получила бы больше одобрения на других подмостках, ничего не заметил.

– Там будет царить искусство, красота, мощь и благородство идей. . . Человек всегда найдет, кого поставить властвовать над собой. Грядущие века откроют людям нашего племени небывалые возможности. Утратив Бога, человечество будет все больше и больше нуждаться в других чародеях. Мы излечим все болячки общества с той же легкостью, с какой сегодня я лечу триппер. Тебе в твоих отношениях с публикой не хватает амбиций, широты взглядов, щедрости души. Все, что ты можешь ей предложить, – несколько гимнастических упражнений. . . наши внуки и правнуки будут искать, откроют и покажут народу глубинную тайну всех вещей, но ты. . . – Он пренебрежительно пожал плечами.

– Тайна в том, что нет никаких тайн, – улыбаясь, объявил Гвидо.

Тут впервые по моей спине пробежала материалистическая дрожь, предвестница конца чародейства. Отец также вздрогнул. А дело было в августе.

Тогда Джузеппе Дзага произнес величественную фразу, почерпнутую из древнейших и надежнейших кладезей нашего племени:

– Загадка не в существовании тайны, она в существовании веры.

Тогда паяц, жонглер, акробат Гвидо, молодой человек, решивший стать честным и открыто объявить всю правду о племени Дзага, воспроизвел второй жест, еще более итальянский, – он стал моей первой встречей с тем, что однажды назовут «конфликтом поколений». Он поднял руку и глаза к небу и показал фигу.

Отец мрачно взглянул на него. Потом указал своему старшему сыну на дверь:

– Иди зарабатывай свой хлеб в поте лица твоего, дурачок!

Я рассказываю здесь об этом прискорбном эпизоде, чтобы объяснить, почему отец обратил на меня всю свою надежду, всю нежность. Полагаю, он был счастлив, когда Проська, сводня, гостеприимный дом которой мне вскоре позволили посещать, доложила ему, как она призналась мне сама, что его младший сын наделен божественной искрой, которая всегда позволит молодому человеку, прилежному и настойчивому, открыть дорогу к женским сердцам. Добавлю здесь, наперекор некоторым сплетням, в частности несправедливой, достойной сожаления странице, посвященной мне известным историком Филиппом Эрланже, что я вовсе не «жил на дамский счет». Что до того, будто я не был слишком ревнив, «когда можно было извлечь какую-нибудь выгоду из дележа», и будто «Фоско Дзага без раздумий предлагал свои услуги зрелым дамам, чтобы способствовать упрочению своего положения в обществе», скажу только, что в молодости я был щедр и тратил не считая.

Глава XVI

Я с нетерпением ждал конца зимы, чтобы пригласить Терезину в полный красот и тайн лавровский лес; я спешил ввести ее в мое королевство, где пользовался могуществом, которому мог бы позавидовать мой отец. Я помнил, однако, что лес – область, куда реальность допускается неохотно. Она должна была вести себя тихо, подчиниться правилам этого волшебного места и согласиться принять скромный вид травы, цветов, зверушек, птиц. Старые дубы следили за тем, чтобы все эти обычаи строго соблюдались, но я был уверен, что, хоть я и подрос, отдалился от моего детства, Иван, Петр и Пантелей сохранили достаточно привязанности ко мне, чтобы позволить приподнять завесу и открыть моей подружке некоторые приметы другой реальности.

Весна открылась мне в столь галантной манере, что за ней угадывалась рука мэтра Фрагонара. Она была принесена мне на груди Терезины. Однажды утром она вбежала ко мне в комнату в расстегнутом корсаже, держа в руке рыльце своей левой груди:

– Посмотри, Фоско! Весна пришла!

Мне понадобилось несколько секунд, чтобы разглядеть божью коровку; мой взгляд был привлечен другой розовой букашкой, которую я хотел бы накрыть ладонью, как я это делал, ощущая прохладу, с пуговкой нашей собачки мопсика. Затем я был удивлен своей хитростью. Разглядев весеннюю вестницу, я подошел к Терезине и, под предлогом того, что хочу снять божью коровку, скрыл несколько нежных прикосновений. Терезина тут же разгадала хитрость, ибо букашка улетела прежде, чем я пришел в себя, и ударила меня по пальцам:

– Фоско, не забывай, что я жена твоего отца!

Хотя в ее голосе было больше иронии, чем суровости, я все-таки должен был отступить, и мне кажется, я до сих пор чувствую розовую божью коровку в кончиках моих пальцев.

Мы приехали в Лаврове в начале июня, и уже на завтра я повел Терезину в мое королевство. Я не предполагал, что меня ожидает в действительности. Может быть, я рассчитывал найти в моих старых друзьях сообщников, которые позволили бы мне удержать в руках мечту, превратившуюся в счастливейшую, сладостную действительность. Я просто-напросто забыл, что леса детства, даже очень хорошо к нам расположенные, не практикуют подобную магию, они становятся весьма суровы, когда дело касается морали, и имеют дело с физиологией лишь постольку, поскольку хотят лишить нас всего грубого и жестокого, что нам дала природа. Когда же речь заходит о наслаждениях, к которым расположено или, скорей, которых требует наше устройство, зачарованные леса, как старые девы, поджимают губы и принимают суровый вид. Они так хорошо угадали мои намеренья, что, когда я проник под их сень, ведя за руку Терезину, я встретил лишь холодную сдержанность и выражение приличий и правил хорошего тона природы, когда дерево ведет себя как дерево, цветы – как цветы, ручей – как ручей, когда не видно и следа Бабы-яги, гномов, колдунов, драконов и прочих существ, ведомых лишь детям и поэтам. Лавровский лес не смог простить мне моего постыдного поведения у бани, моих визитов в болото, моих плотских вожделений; в его глазах я стал мужчиной. Ему нечего мне было сказать, еще меньше – показать. Мы, Терезина и я, имели право на хороший прием по всем законам русского гостеприимства. Деревья вежливо шелестели, их ветки склонялись, словно приветствуя нас, но то был лишь ветер и хорошие манеры, дубы не вышли нам навстречу с хлебом-солью. Пруды хранили свою прохладу, но их загадочный вид не скрывал ничего, кроме кувшинок. Стрекозы по-прежнему бороздили их гладь вспышками молний, но ни одна из них не сбросила свою осторожную видимость и не превратилась,

упав к нашим ногам, в принцессу, некогда зачарованную злой колдуньей. Мои друзья Петр, Иван и Пантелей по-прежнему держались в стороне от прочих деревьев, но они больше не были свободно собравшейся ватагой, все объяснялось случайной игрой ветра, зерен и корней. На месте, где ученый кот на золотой цепи смеялся надо мной, поглаживая лапой свои усы, я нашел лишь мох, несколько красивых ромашек и шляпку гриба. Ручей больше не пел, но лишь журчал, как это обычно делает текущая вода. В тени я нашел лишь прохладу, и если злобный карлик Мухаммор и прятался где-то, так скорей всего – в тени литературы, где и следовало искать его чары. Я был поражен слепотой, которая позволяла мне видеть, но не позволяла прозревать. Я имел право лишь на «дважды два четыре», освещенное солнцем, покрытое ландышами, омываемое сладостным зефиром, оглашаемое птичьим пением и преподнесенное со счастливым видом, но во всем этом не было ни грамма таланта, я знал, что если я хочу обрести мой зачарованный лес, мне нужно его придумать. Самое скверное было то, что я больше не осмеливался ввести Терезину в места моих былых прогулок, рассказать ей о моих вчерашних друзьях, боясь, чтобы она не приняла меня за ребенка.

Но вскоре сама Терезина не смогла скрыть в себе ребенка, когда, лежа на берегу тенистого пруда, расчерченного стрекозами, она рассказала мне одну из былин, в которых проявляется глубинное братство народов, соединяя индейскую флейту и еврейскую скрипку, цыганскую песню и венецианские ночи, русскую степь и песню гондольера.

– Когда наступает карнавал, больше нет ни дня, ни ночи, есть только праздник, смех, танец, и такое веселье царит повсюду, что даже чума бежит от города, как дьявол от святой воды. Эта болезнь не выносит веселья, и с ней связано само возникновение венецианского карнавала. Давным-давно в город пришла чума, люди замертво падали на улице, и все молитвы были напрасны. . . Чума стала заносчивой, высокомерной, как знатный господин, она больше не считала нужным прятаться по углам, как обычно это делает; ее видели идущей у всех на виду, одетой в яркие лохмотья, сияющей мертвым оскалом черепа, ибо она уже не прятала свое лицо под маской. . . Везде по пути ее следования люди умирали на месте. Она шествовала, опираясь на трость камергера, следом за ней шли писцы, подсчитывая урожай. Мой дед очень хорошо помнит, как видел ее у канала Луна: она остановилась перед церковью Святого Иннокентия, полной людей, молившихся об избавлении от напасти. Чума обожает молящихся, потому что любит все серьезное. Без серьезного, без уважения смерть теряется, перестает считать себя такой уж важной и работает не столь успешно. Люди, которым не хватает серьезности, вызывают у смерти колики. Она любит порядок, послушанье, важность, строгость. Дед решил, что настал его последний день. Ведь чума была в десяти шагах от него: она нюхала табак и вслушивалась в церковное пение. Он быстро сдернул с головы шляпу и раскланялся перед ней, надеясь умиловить ее, ведь сильные мира сего любят послушанье. Но смерть даже и не взглянула на него, так ей понравились молитвы; она закрыла табакерку и посмотрела с нетерпением на писцов, подводивших итог: в церкви было более трехсот голов. Недурной урожай. Смерть вошла внутрь. Мой дед взял было ноги в руки, как вдруг он услышал звуки труб и взрывы смеха. Он повернул голову и увидел карнавальное шествие. В первом ряду шли скоморохи, жонглеры, акробаты, за ними – те, что позднее стали знаменитыми: Арлекин, Бригелла, Панталоне, Коломбина, Пульчинелла и все прочие, – некоторым не хватало кое-каких деталей, еще не до конца проработанных. С неба сыпался итальянский снег – синий, зеленый, желтый, красный – под названием «конфетти».

Чума вышла из церкви, чтобы навести порядок, но скоморохи первого карнавала, все марионетки и паяцы заплясали на веревочках, уходящих в небо – там их крепко держал в руке великий скоморох Небесный Дзага; при виде выходящей из церкви чумы все они засмеялись еще громче. Чума, заслышав смех, увидев, что ее не принимают здесь всерьез,

испугалась и сбежала в места, где серьезность правит безраздельно, такие как Прага, где она устроила свою штаб-квартиру. Так Венецианская республика была спасена карнавалом, так впервые народ понял, каким могучим оружием могут стать смех и непослушание, так родились *commedia*, Арлекин и свобода. Вот почему и до сего дня все напасти мира больше всего боятся смеха, ибо он обладает дезинфицирующими свойствами, губительными для Могуществ. . .

Я был удивлен. Такую историю вполне могли нашептать мне дубы, и я не ожидал, что Терезина расскажет ее так естественно и непринужденно, словно веря каждому ее слову, словно она сама была одним из творений мечты, встречу с которыми пророчил мне некогда лес. Я взял ее за руку:

– Терезина, ты вправду веришь в эту сказку?

– Ну да, верю, ведь ее рассказывает наш народ. А уж он-то знает, о чем говорит.

– Я понял, что лишь народ способен на волшебство, как лавровский лес.

– Я уверена, что царица Екатерина верит, а еще больше – все эти знатные господа. Они знают, что нет для них ничего опаснее, чем неуважение, насмешка и народный праздник. . .

Я решил, что Терезина несколько преувеличивает. Все достоинства, которые она приписывала беднякам, свидетельствовали лишь о развитом воображении, но синьор Уголини казался мне ближе к истине, когда говорил, что у царственных особ еще довольно времени и не стоит пренебрегать этой публикой, – а не то придется изучать вкусы тех, кто будет им наследовать. Те будут безмерно богаты, но не столь обходительны. . . Из уст Уголини я впервые по этому поводу услышал французское слово «буржуа», произнесенное несколько холодно, поскольку мой дорогой человек любил чистых людей с хорошими манерами. Что до народа, он объяснил мне, что эта публика еще отдаленнее и проблематичнее, ее вкус к добротному зрелищу пока под вопросом. В чем он, без сомнения, ошибался, ведь всего десять лет спустя гильотина собирала полные залы, если можно так сказать, и великие актеры, поднимавшиеся на подмостки, встречали детское расположение публики, зачарованной спектаклем, в котором она сама участвовала выкриками и разнообразными шуточками.

Этот интерес народа к вместилищам разума, особенно когда они сервируются в корзинке, никогда не иссякнет, к вящему благу человечества и нашего племени.

Мой обожаемый предшественник сочинил четыре комедии, которые мы разыгрывали перед публикой, состоящей из дубов, маков, бабочек и птиц, на освещенной солнцем поляне. Это были так называемые «комедии на четыре голоса», написанные для числа имеющихся в наличии актеров; в них действовали Арлекин, Сганарель и Коломбина – последняя была также донной Эльвирой. Мы сыграли сначала «Дон Жуан счастливый и, несмотря на это, довольный», затем «Арлекин-король» и «Арлекин и Эдип». Потом была поставлена «Статуя Командора, или Бесчестие», пьеса, в которой знаменитая статуя не говорит ни слова и не появляется в конце пира, чтобы увлечь распутника в ад, так что Дон Жуан приговорен к банальности и обыденности и ведет жизнь маленького буржуа без малейшего намека на величие, метафизику, ад и проклятие. Сегодня я почитаю эту пьесу за пророческую, она словно предвещает Европу наших дней. Отец согласился исполнять роль Дон Жуана и Командора, и он был великолепен, будучи лично знаком, как он нас заверял, с означенными лицами во время своего путешествия по Испании около ста пятидесяти лет назад, в поисках каббалистического сочинения Авраама из Саламанки: таким образом, он был способен вдохновиться реальными событиями. Реализм, как средство для создания иллюзии в искусстве, не знает себе равных, заключал он.

Через много лет после смерти автора я нашел рукописи четырех комедий и опубликовал их за свой счет в Милане. Я отнес пьесы нескольким моим друзьям – директорам театров. Увы, безуспешно: их нашли старомодными, наивными и безыскусными; как мне сказали, они отда-

вали «старой доброй комедией а-ля Гольдони». Я жалею, что процитировал здесь знаменитого «Бамбино» Спозци, которому театр стольким обязан. Это было веление времени: легкость вышла из моды, в гарибальдийской Италии публика требовала величия, слез и крови. Но сегодня, насытившись этой трагической троицей, Италия вновь обрела вкус к смеху, что для меня свидетельствует о новом прорыве демократии. Недавно я узнал – представьте, с какой радостью! – что тот, кого я почитаю первым среди нас, подданных королевства сцены, синьор Стрелер из миланского «Пикколо театро», выразил желание вставить «Арлекина и Эдипа» в свою программу. Я думаю, что если так все и будет, в вечер премьеры за кулисами «Пикколо» можно будет увидеть неясный силуэт в старинной одежде, похожий на заблудившегося артиста, – это будет Принчипио Орландо Уголини, воскресший от счастья, магическую силу которого совершенно напрасно недооценивают.

Наше лето было прервано визитом, который отец должен был нанести барону-философу из Риги Грюдергейму; он имел с ним дела по новому способу окрашивания шелка; на два месяца я был лишен моей Терезины, что погрузило меня в неврастению, или, как говорили тогда, в меланхолию, которая довела меня до того, что я стал плакать от лунного света и писать стихи. Наше племя всегда неодобрительно смотрело на грусть, ибо если она полезна нам у публики, внушая вкус к развлечениям, то для клоуна она может стать губительной, вызывая у него склонность к раздумью, философии, искренности и прочие душевные надломы, через которые внутрь проскальзывают все демоны сомненья, неуверенности, все «для чего?» и «зачем?». Согласно семейной хронике, один из Дзага так глубоко пал в бездну серьезного, что стал папой, хотя, может быть, в этом случае дело было в какой-нибудь неслыханной ловкости скомороха, желающего украсить свое искусство новым очарованием. Я провел август в написании философских стансов, од и элегий, мне случалось раздражаться рыданиями при виде смятого тростника. Синьор Уголини был уверен, что я увлекся рукоблудием, что было, по его мнению, смертельным грехом, ибо вследствие него мозг вытекает через мочеиспускательный канал. Это было не совсем так, я прекрасно устроил свои дела в этом смысле с некоей Глашкой, что не принесло мне никаких осложнений, кроме нескольких насекомых.

Глава XVII

В середине сентября мы вернулись в Санкт-Петербург; отец и Терезина уже неделю были дома.

Я заметил, что моя подруга изменилась, стала нетерпеливой и эксцентричной. Трудно было найти в Санкт-Петербурге более бестолковый дом, где царил бы такой капризный дух; в заботе, я бы сказал – в усердии, с которым Терезина старалась поставить все с ног на голову, угадывалась потребность в неведомых мне потрясениях.

Однажды утром, едва покинув мою комнату, я услышал крики и вопли, исходящие из синей гостиной. Я поспешил к этому торжественному месту, где царили во всем своем блеске портреты русских и немецких монархов, которым мой отец был обязан своей фортуной. Мебель, привезенная из Франции купцом Охренниковым, коллекция оружия и доспехов, саксонский фарфор, безделушки и шедевры Гутенберга, переплетенные в пурпур и золото, создавали обстановку, в которой взгляд, ум и деньги нашли свое воплощение. В привычном чопорном и степенном обрамлении передо мной открылась картина, в которой смешались вошедшие в моду галантные сцены в турецком стиле и кошмары Иеронима Босха. Несметное число мелких обезьян, еще более увеличивающееся от их чрезвычайной подвижности, висело на люстрах, прыгало по занавескам, качалось на шнурах, било фарфор на столах, срывало картины со стен, кувыркалось по коврам Испагани, превращая святилище фортуны в то, что наши друзья англичане называют *bedlam*. Черные обезьянки с серыми мордочками были того же вида, что и на картинах и привезенных с тропических островов рисунках г-на де Таллана. Нет никакого сомнения в том, что на фоне пальм, цветов лазурного моря и ослепительно яркого неба, запечатленных художником, эти твари выглядели бы вполне живописно. Но выпущенные на свободу в гостиной, эти двадцать или тридцать погромщиков производили впечатление жакерии. Изящные вещицы разбивались вдребезги; вцепившись в раму, несколько мартышек раскачивались на Каналетто до тех пор, пока он самым прискорбным образом не рухнул со стены; во все стороны летели книги; вместе со сдернутыми ловкими маленькими ручками скатертями на пол сыпались хрупкие статуэтки, музыкальные шкатулки, хрусталь. Разгром сопровождался яростными воплями, в воздухе витал запах, причина которого явственно различалась на ковре.

Стоя в дверях среди клеток, граф Арбатов восхищенным взором созерцал результат своего предприятия. Этот человек славился своими безумными выходками; одной из них была затея привезти из Африки сорок негрятенок, с целью разведения новых людей, ибо он полагал, что, спаривая их с нашими рабами, можно было вывести новую породу, в которой соединились бы африканская красота с русской выносливостью, к вящей пользе помещиков. В тяжелой выдвинутой шубе, накинутой на плечи, он зашелся в счастливом смехе. Уже несколько минут как его радость достигла предела, а смех перешел в припадок, в то время как его пунцовое лицо под густыми белыми бровями и стекленеющие бледно-голубые глаза застыли, почти окаменели в выражении небывалого счастья, прерываемого лишь ничем не вызванными приступами веселья. В скором времени он и впрямь был сражен болезнью, последняя стадия которой проявляется эйфорией. Французская болезнь весьма изобретательна в своих разрушениях, позволяя одним спокойно дожить до старости в своей компании и мгновенно поражая других.

Признаки безумия Арбатова все принимали за эксцентричность, моду, пришедшую из Англии, – удобное прибежище для тех, кто не знает, что делать со своей жизнью и своим

золотом, кто пытается заменить индивидуальность экстравагантностью, этим делом бездельников. За ним стоял его лакей в английской шляпе и рединготе, Джон Буль; на его лице застыло бесстрастное выражение человека, терявшего хладнокровие лишь в случае невыплаты жалованья.

Терезина в белом атласном платье, с двумя обезьянками в руках, казалось, была зачарована зрелищем. Однако в проявлениях ее радости угадывались нотки недоброжелательности и злобы, чуждые венецианскому празднику. Она сидела в большом кресле с прямой спинкой, с подлокотниками в форме лап грифона, торжественном и важном, откинув голову, в теплом ореоле рыжей копны волос; ее тело было напряжено, руки скрещены на груди, смех ее был неприятен, даже, я бы сказал, циничен. В ней угадывалась некая враждебность, направленная против всего мира – тогда еще не употребляли слово «общество» в его нынешнем значении: оно было синонимом «дворянского общества».

Наша прислуга с напуганными лицами разглядывала барыню и адских тварей, устроивших погром в гостиной; я знал, что в кухне и конюшне поговаривали о том, что итальянка бывает одержима дьяволом, что мне представляется невыносимым, ибо дьявол не выстоит и секунды перед такой несерьезностью – он боится ее пуще ладана.

Теперь я замечаю, рассматривая ее сидящей на давно истлевшем кресле, что ее губы и подбородок вырисовываются жестче и грубее, чем я предполагал: после стольких лет я решил окончательно проявить мои воспоминания и с каждым днем вижу Терезину все четче, с реализмом тем более явным, что он происходит не из внешнего мира, но из того, что я ношу в себе.

Отец появился в момент, когда баталия между обезьянами и порядком вещей, стоивших ему столько денег, достигла своего разрушительного апогея. Он остановился на верху лестницы, опершись на каменные перила. Он был одет в красный польский домашний сюртук с серебряными брандбургскими и держался прямо, словно застыл под воздействием неведомого внутреннего холода. Подняв к нему глаза, Терезина смерила его вызывающим взглядом, в то время как на ее лице безуспешно скрываемая печаль сменилась неверными, нервными волнами наплывающего веселья.

Я думаю, она была привязана к своему мужу, она начинала видеть в нем отца, которого никогда не знала; не в силах удержать себя от перемен настроений и взрывов страстей, она в то же время упрекала себя за страдания уязвленного самолюбия, которые она причиняла человеку, любившему ее. Я увидел на лице Джузеппе Дзага, старого чародея, которого Терезина обзывала «лакеем всех черных и кровавых сиятельств», тень страдания; затем он повернулся и ушел, а мартышки словно принялись праздновать его уход новыми скачками и воплями.

В течение последовавших нескольких недель Терезина окружила своих зверят нежной заботой; она, кажется, очень дорожила этими нарушителями спокойствия. Она призналась мне, что они напоминали ей *broglio*, подмости скоморохов на набережной Рабов, тамбурины и ликующий народ, шарманки, завезенные из Турции торговцами пряностями из Риальто, – венецианский праздник. Несмотря на все заботы, непоседливым зверькам не удалось прижиться в нашем климате. По всем углам расставили войлочные гнезда, зажгли печи, но холод и сквозняки вскоре сделали свое дело. Я с жалостью смотрел, как они жались к каминам; одна из зверушек так близко подвинулась к огню, что шерстка ее воспламенилась: жуткий огненный комочек заметался среди столов, поджег занавеску, вцепившись с душераздирающим воплем в ткань, и замер на полу, медленно догорая; черная гримаска бедняжки долго являлась мне в ночных кошмарах. Другие выбегали на заснеженный двор в поисках солнца и пальм; боюсь, что многих из них вытолкнули наружу слуги, упрямо продолжавшие придерживать версии их inferнального происхождения. По утрам их находили прижавшимися

друг к другу в сугробе, замерзшими в позах людей, объединенных в братстве страдания и непонимания. Терезина плакала, воевала со слугами, чуть не выцарапала глаза нашему мажордому Осипу Власову, которого она обвиняла в избиении зверьков. Она долго держала в руках последних выживших обезьянок: это было душераздирающее зрелище, ведь нет ничего жалче, чем грустная мартышка. Тут и там расставили жилища обезьян-цыган и вокруг жаровен, наполненных углями, маленькие больные грустно ждали своего конца – никто из них не выжил.

Отец оставил все идти своим чередом. Не говоря ни слова, он ходил по дому, избегая встречи с приживальщиками. Я полагаю, что Терезина охотно натравила бы на русский двор, как и на прочие европейские дворы, полчища обезьян-разрушительниц, но я не понимал, откуда приходит эта злоба и желание все поставить с ног на голову.

Я был сбит с толку, опечален неуважением к богатству и красоте, ведь наше племя всегда старалось украсить жизнь, доставить удовольствие, развлечь, одним словом – и пусть мне простят профессиональный термин, столь часто упоминаемый на этих страницах, – очаровать. Я уверен также, что она и сама не знала, в каком тайном уголке ее души рождался этот вихрь непослушания, вызова, чуть ли не подстрекательства. Сегодня я заключаю, что она была тем, что в нашем ремесле называется «медиум», что она неосознанно подчинялась загадочным вулканическим поветриям, которые в ту пору только начинали проникать в мир из самых глубоких и черных пластов земли. Тогда это влияние называли «астральным», позднее стали называть «теллурическим», сегодня называют «социальным», что, как мне кажется, ближе к истине. В те времена еще говорили о колдовстве, и мне пришлось дожидаться выхода великолепной книги Жюль Мишле о волшебницах, чтобы понять, как эти бедные создания были оболганы.

Не было никаких сомнений: моя обожаемая, моя нежная Терезина была во власти еще незнакомых мне сил, что заставляло меня волноваться еще сильнее. Эти поветрия должны были вскоре распространиться по всей Европе, и проходимцы всех мастей сумели извлечь из ситуации свою выгоду, когда они поняли, что достаточно провозгласить свободу, чтобы угнетать, братство – чтобы расстреливать, и равенство – чтобы взобраться на спину народа и жить в свое удовольствие.

Отец ни разу ни в чем не упрекнул свою молодую жену. Можно было подумать, что он находит тайное удовольствие в страдании, что он жаждет покарать себя. Не знаю, объяснялось ли это неким невысказанным суждением о самом себе, о своей роли шута, как он говорил иногда в момент усталости. Я думаю, уж не разделял ли он втайне, чтобы не внушить своим сыновьям отвращение к ремеслу, ненависть Терезины к публике, нашему хозяину, которому мы служим и от щедрот которого живем, – я имею в виду, друг читатель, прошлое, а не настоящее, ибо ничто мне столь не дорого, как твое благородное лицо, – или он попросту был обескуражен?

Отец не сказал ни слова, когда обезьяны разорвали дворец Охренникова, не сказал он ни слова и когда Терезина, растратив сумму, которая привела бы в ужас графиню Отрыжкину, причуды которой вошли в пословицу, в течение нескольких месяцев содержала труппу испанских *gitanos*. Великолепные певцы и гитаристы из Гренады с утра до вечера наполняли дворец Охренникова звуками своих голосов и гитар, странных инструментов под названием *castagnettes*, а также топотом каблуков.

Они выступали со сцены новой «Оперы-буфф», и их ангажемент продлевался несколько раз, составив, таким образом, почти целый год. С тех пор в Московии поселилась мечта о Гвадалкивире, Андалузии, о небе Севильи – так ностальгическая грусть фламенко затронула что-то глубинное в душах детей степи. Одна из самых звучных революционных поэм 1919 года

называется «Гренада» – юный красноармеец мечтает однажды увидеть Гренаду, он затягивает припев: «Гренада, Гренада, Гренада моя. . .»

Цыгане поселились у нас; Терезина таскала их за собой повсюду, их гитары и пение сопровождали ее во всех перемещениях. Представьте себе удивление, вызванное таким кортежем на улицах города. Они расположились в маленьких комнатках над хозяйским этажом – я о них еще расскажу подробнее. Ничто меня так не развлекало, как их выход по утрам в своих черных костюмах и красных платьях с оборками; у женщин в волосах были тюлевые и бархатные розы, у мужчин на головах – круглые плоские широкополые шляпы. Они спускались, стуча каблуками по нашей такой чопорной лестнице, представлявшей мне старичком, превращенным в камень в порядке наказания (или награды) за негибаемость и строгость; расположившись в вестибюле, как на сцене, они поджидали ту, которую называли фамильярно *chica*. Они были очень похожи на русских цыган. Я говорю «русских» потому, что тогда еще не знал, откуда попали в Россию цыгане. Их хозяин – сегодня говорят «импресарио», – еврей Исаак из Толедо, навещал нас время от времени, чтобы получить свои деньги и спросить, не натворил ли что-нибудь кто-нибудь из членов его труппы.

Он был старым другом отца.

Глава XVIII

Я сохранил об Исааке из Толедо воспоминания, которые больше похожи на постоянное общение. В течение веков, которые мне пришлось пройти за мою жизнь. . . Здесь я останавлиюсь ненадолго, чтобы дать вам время пожать плечами, улыбнуться и пробормотать беззлобно: «Этот старый шарлатан. . . Горбатого могила исправит. . . » Мне нравится в тебе, друг читатель, эта уверенность, эта ирония, ибо она поддерживает во мне то небольшое удовольствие, которое я еще испытываю, оставаясь самим собой. Так вот, в течение лет, которые мне пришлось пройти за мою жизнь с грузом любви, давшим мне бессмертие, вокруг которого рыскает смерть, высматривая первый признак потери памяти, я часто встречал Исаака из Толедо на перепутьях Истории. Мне нравилось считать его Вечным жидом, а он, в свою очередь, почувствовав во мне будущего товарища по борьбе, которую его и мое племя уже давно ведут против натиска жестокой реальности, охотно выдавал себя за этого сказочного персонажа. Он был очень высок и красив той красотой, в которой больше мужественной силы, чем гармонии пропорций, его нос и губы несколько преувеличивали свое присутствие на его лице, первый – своим наличием, вторые же – своей суровостью. Облаченный в бархатный камзол, пурпур которого переходил в странно переливающуюся тьму ночи, почему-то навевая мысли о Средневековье, он мало походил на своих сородичей, которых можно было тогда встретить в России. Говорил он о них слегка высокомерно, если не неприязненно: он был из племени господ, *serhardi*, в то время как его братья в России и в Германии, скорей, его кузены, как он говорил, были *ashkenazim*. Отец получил для него все необходимые разрешения, чтобы он мог беспрепятственно передвигаться по России и жить в городах. Он носил на шее золотую цепь с кулоном в виде звезды. Никто в России еще не знал о существовании звезды Давида, и этот знак принимали за символ астрологии – науки, которую он практиковал, дабы внушить уважение к своей персоне. Когда он по-русски снимал при входе свою коричневую меховую шапку, на его лысеющей голове оставалась ермолка в нимбе густых локонов. Длинная борода, хоть и черная вследствие постоянного тщательного подкрашивания, придавала его чертам поразительное сходство с автопортретом Леонардо в старости. В ту пору ему стукнуло полторы тысячи лет. Не знаю, сколько ему сегодня, у времени свои счеты с евреями – оно для них не течет, а кровотоцит, и эти капли не вписываются в привычные законы протяженности. Исаак из Толедо вдохновил меня на создание образа Вольпоне в постановке, которую я осуществил по этому произведению в Лондоне в 1962 году; эта постановка вызвала споры среди критиков. Он держался всегда подчеркнуто прямо, поглаживая бороду; когда его белые холеные пальцы пробегали по ее прядям, вы невольно ожидали услышать звуки музыки, настолько виртуозно он это проделывал. Мой отец уладил с ним вопросы оплаты его труппы. Между двумя этими людьми установилось некое родство душ, молчаливое взаимопонимание, почти сообщничество, словно они встречались без конца для того, чтобы вместе пройти через века. Они были братьями по крови, но по крови истинной, не той, что внушает ненависть и презрение тем, кто ищет низшие расы, чтобы возвыситься.

Всякий раз, когда отец отсчитывал Исааку золотые, мне казалось, что тот и другой развлекаются, перебрасываясь колкостями и скрывая за исполняемыми ими ролями глубокую взаимную привязанность, объединяющую с незапамятных времен евреев и комедиантов.

– Дружище Исаак, – говорил отец, – позволю себе заметить, что за те деньги, что я плачу за твою плешивую команду, я мог бы набрать в Венеции пять оперных трупп или пользоваться несколько ночей рядом благосклонностью Нитты.

– Это, ваше сиятельство, обошлось бы вам гораздо дешевле, – отвечал Исаак.

На его пальцах, оглаживающих бороду, блеснул бриллиант.

– Так что тебя на самом деле привело в Россию в этот раз?

Лицо странника помрачнело.

– Чума, – промолвил он.

Болезнь недавно опустошила Москву, выкосив пятую часть населения. Отец пристально посмотрел на Исаака:

– Обычно от чумы бегут. Никто ее не ищет.

– Ashkenazim позвали меня на помощь, – пояснил Исаак. – Ты будешь нам нужен. – Он сделал паузу. – Я даю тебе десять тысяч рублей, – предложил он вдруг.

Я слушал, сидя на ступеньках лестницы. Отец не задал ни единого вопроса о природе помощи, которую у него просили, что удивило меня. Как будто он все знал заранее.

– Оставь, – ответил он. – Ты же знаешь, я все сделаю даром.

Итак, три месяца спустя в Харькове развернулась церемония, в которой пришлось принять участие и мне – отец взял меня с собой не столько для того, чтобы я помог ему в работе, сколько для наглядного обучения. «Для тебя важно, – говорил он, – понять, сколь необходимы некоторые уловки, если нужно сражаться с ненавистью и презрением, которых величайшая духовная сила на Земле, имя коей – глупость, добавляет к прочим препятствиям и опасностям, подстерегающим нас на нашем пути ».

Евреев обвинили в том, что они умышленно завезли в Россию чуму, чтобы уморить христиан; сами же они остались невредимы по причине своей нечистой крови. Их сжигали, побивали камнями или приканчивали пристойно – ударом сабли. Прошел слух о неминуемой большой резне, замышляемой их самым большим врагом, патриархом Герасимом. Надо признать, что Екатерина противилась истреблению евреев, опасаясь, что народ, лишившись объекта для ненависти в низших слоях общества, начнет искать его в высших. К тому же евреи поддерживали коммерцию.

План, составленный отцом и Исааком из Толедо, был великолепен своей простотой.

В нем соединились практика талмудического экзорцизма с театральными эффектами, которой превосходно владел первый, и искусство commedia, все тонкости и уловки которой так хорошо знал второй.

Акт экзорцизма был назначен на конец марта в Харькове, когда эпидемия уже пошла на убыль. Я счел за благо передать здесь выдержки из хроники Гарбатова «Царицын временник»:

«Все обыватели получили приказ сидеть по домам, чтобы избежать губительного поветрия. Оно могло нахлынуть, когда чума будет выкурена из своей грязной берлоги жидовской музыкой, которую она совершенно не выносила. Рыночная площадь была четыреста аршин в длину и в ширину; каждый четверг ее заполняли бродячие торговцы, крестьяне, пастухи со своим скотом. Я приник к окну своей комнаты, выходявшей прямо на площадь. Было три часа пополудни, день клонился к закату, когда мы услышали первые отдаленные звуки еврейских скрипок. Жиды собирались из близлежащих местечек. Их было не менее двух сотен; окружив город, они со всех сторон сходились к центру, играя на своих инструментах. Не могу описать эту музыку, ничего подобного я до сих пор не слышал. Я знал, что жиды очень музыкальны, что они ловко управляют со своими скрипками, но я был воспитан на клавесине и благородных звуках духовного пения и никогда не интересовался вульгарными трактирными мелодиями. Могу, однако, засвидетельствовать, что музыка была вместе веселая и грустная, быстрая, танцевальная и в то же время говорящая о чем-то бескрайнем, нескончаемом, может быть, о заслуженной судьбе этого проклятого племени. Скрипки слышались все ближе, площадь оставалась безлюдной, спускались сумерки. Вдруг моя жена Василиса,

дочери Надя и Машенька с ужасом увидели с краю площади, между домами слесаря Духина и мясника Благиматова, самое отвратительное из всех когда-либо виденных мною существ. Судя по голове и телу, это было человекоподобное чудовище, но столь отвратительное, отмеченное всеми проклятиями ада, что каждый из нас сразу его узнал. “Чума!” – закричала малышка Наденька. Лицо ужасного видения скрывала черная повязка, но сквозь прорези виднелась красная гниющая плоть, а череп открывался во всей своей костяной наготе. Тело также было обернуто черными тряпками – без этой оболочки оно не смогло бы удержать свои гниющие потроха; ужасные выделения там и тут просачивались сквозь ткань. На месте рук, утративших плоть, выступали острые костяшки. Жуткое создание сделало несколько шагов по снегу, потом обернулось, видимо, в поисках пути к отступлению, ведь яростная, почти торжествующая мелодия еврейских скрипок теснила его со всех сторон и быстро, неумолимо приближалась. Эта музыка причиняла чуме жестокие страдания. Гадина скорчилась, выпростав руки, пытаясь защититься от выпадов мелодии, закружилась в медленном танце агонии и боли; нет никакого сомнения в том, что невидимый источник этого страдания заключался в еврейских скрипках и в их невыносимом для падали звучании. Ей удалось сделать еще несколько шагов, не переставая корчиться под волнами испепеляющей музыки. Тогда со всех сторон стали выходить на площадь музыканты; они появлялись между домами в своих вечных черных лапсердаках и шляпах, молодые и старые, и каждый со своей скрипкой. Все плотнее сжимали они кольцо вокруг чумы – ибо у меня не оставалось ни малейшего сомнения в том, что перед нами было именно это воплощение смерти. Музыка звучала яростно и гневно; евреи, сомкнув круг, остановились; чудище рухнуло на снег, вскинув к небу культю, словно умоляя о пощаде, скорчилось, распластавшись на земле, и наконец замерло. Но еврейские скрипачи, опасаясь, что падаль может оказаться живучей, продолжали извлекать из своих инструментов очистительные аккорды, при звучании которых источник зла не смог бы возродиться. Продолжая наигрывать, некоторые музыканты, и не только молодые, стали поначалу раскачиваться, а потом пустились в пляс, и я узнал ритмы и коленца, которыми в наших местечках выражают радость, рожденную из близости к их богу, члены странной секты, называющие себя *hassidy*. Гноющаяся гадина, втоптанная в снег, больше не двигалась. Но музыканты продолжали со всей горячностью своей веры и скрипок громить это вместище зла. Теперь они ополчились не только против чумы, но и против всех бесчисленных болезней и моровых язв. Дрожь охватила нас. И вот, когда ночь уже укрыла от наших глаз эту сцену, которая показалась мне, я это помню ясно, предвещающей конец эпидемии и даже началом грядущего небывалого здоровья, мы увидели среди танцующих евреев итальянца, доктора Дзага, в сопровождении своего юного сына.

С факелами в руках приблизились они твердым шагом, без всякого страха к источнику заразы, и они подожгли его; а скрипки зашлись таким весельем, такой радостью, что мои дочери принялись хлопать в ладоши. В одно мгновение мерзкая тварь сгорела, оставив на снегу лишь кучку пепла – утром ее растоптали копыта лошадей. Чума не вернулась в Харьков, она покинула пределы России, и хоть это не изменило моего отношения к евреям, должен признать, что они тоже на что-то годны, при условии, что ограничат свою деятельность игрой на скрипке».

Синьор Уголини, создавший это чудо, – я сказал бы даже, что это был главный труд его жизни, так и не воплощенный на сцене, – заработал на этом деле насморк. Под покровом наступающей ночи он выскользнул, как и было задумано, из зловещего пугала и добрался по тоннелю, вырытому в снегу, до ожидавшего его укрытия, в то время как отец и я подожгли чучело, изготовленное нами с таким тщанием. Мне было жаль уничтожить его, мне кажется, оно заняло бы достойное место среди других принадлежностей нашего ремесла, которыми я

любовался на чердаке.

Еврейские скрипки победили чудовище, и нужно было искать другие обвинения против племени Авраамова, что было не трудно сделать. Харьковское дело имело неожиданные последствия: всякий раз, как в местечке появлялась тяжелая хворь, приводили скрипача, вплоть до того дня, когда раввин запретил эту практику, поскольку, если больной все же умирал, семья обращала свой гнев на музыканта.

Из этого эпизода я создал для моего высокопоставленного друга маркиза де Куэваса либретто балета, который не удалось поставить на сцене из-за преждевременной кончины мецената.

Глава XIX

То, что отцовские друзья называли «безумствами» Терезины, приняло такой размах, что вскоре последовала неодобрительная реакция двора императрицы. Однако эти причуды никогда не заходили слишком далеко, и я не разделяю мнения г-на де Куланжа, обвинявшего Терезину в тайном умерщвлении некоторых высокопоставленных особ. Она не получила должного образования и того, что теперь называют «идеологической подготовкой», которые могли бы подвигнуть ее на осуществление подобного «террористического» или «анархистского» плана – в ту пору и слов-то таких еще не существовало. Я отнюдь не отрицаю того, что она обладала в полной мере некоторыми инстинктами, свойственными бунтарям, не признающим ни иерархии, ни чинов, ни титулов, я знаю об этом, не скрываю, и уверен, что таким образом я отдаю должное ее памяти. Но этот бунтарский дух исключал расчет и предварительное обдумывание, и если верно то, что мятежная натура Терезины предвещала весну мира, которую ждут и по сию пору, совершенно очевидно также, что речи быть не может о дьявольски хитром заговоре в той драме, причиной которой она невольно стала. И в самом деле, могла ли она рассчитывать на пособничество климата или получать от мороза и снега политическую информацию?

Но рассмотрим факты.

Начиная с праздника святой Феодосии, выпавшего на середину февраля, в то время как отец и синьор Уголини занимались подготовкой к харьковскому выступлению и работали над костюмами, от которых во многом зависел его успех, на несколько дней установились небывалые морозы, подобных которым не помнили и старожилы невыхских берегов. Березы и сосны, росшие тогда в черте города, на Верховке, покрылись таким толстым слоем инея, что походили на стеклянные украшения из Мурано – их первым завез в Россию мой дед Ренато. Чахлые взъерошенные деревья походили на сверкающие люстры, и сам воздух, казалось, превратился в глыбу льда. Каждое утро на улицах находили замерзших людей, и наш кучер Василий клялся, что видел, как один из этих несчастных разлетелся на мелкие осколки, когда его попробовали поднять с земли, так что пришлось собирать его по кусочкам.

И вот эту-то ужасную неделю Терезина выбрала для своего венецианского праздника во дворце Арбатова, богатого торговца мехом, имевшего фактории во многих странах вплоть до Китая. Балы-маскарады с трудом приживались в России, Церковь их не одобряла, поскольку дьявол, как известно, большой охотник до переодеваний – они позволяют ему пробраться в любое место неузнанным. Таким, по крайней мере, было мнение патриарха Герасима, более чем преклонный возраст которого не способствовал принятию нововведений.

Дворец располагался в семи верстах от Невского проспекта, он был построен на острове среди множества озер, ныне, после возведения дамбы и осушения болот немецкими инженерами, полностью исчезнувших. То была точная копия Палаццо Строщи на набережной Рабов. Слуги со съестными припасами, а среди прочего более чем на две тысячи рублей итальянских вин, были отправлены заранее. Гости должны были явиться в маскарадных костюмах, и с пяти часов пополудни вереница саней потянулась в направлении озера, где Терезина, ее цыгане и итальянские комедианты, как раз выступавшие в Малом театре, ждали их уже с утра.

Снежная буря началась внезапно около половины шестого. Еще за несколько мгновений в воздухе не чувствовалось ни дуновения, день был словно скован ледяной неподвижностью. Ветви деревьев трещали под тяжестью снега, но все это составляло только пейзаж хрустальной и недвижимой пустыни, чей покой лишь изредка нарушался поспешным полетом птицы.

Заранее облачившись в костюм королевского мушкетера, я с нетерпением ждал отцовского позволения, чтобы садиться в сани; я подошел к окну еще раз посмотреть, не готова ли упряжка. Как раз в это время с жутким воем налетел шквал, весь мир вдруг исчез в снеговых потоках, струящихся как с неба, так и с земли. Как будто дикие орды мельчайших белых бесов обрушились на город и предместья. Ничего не было видно: крылатые отряды бесчисленных снежных хлопьев не оставляли взгляду ни малейшего просвета. Крутящиеся дервиши вошли в раж, а ветер выдувал из гигантской глотки столь яростные звуки, что они казались воплощением самой ненависти. Тот, кто не видел метели, вряд ли сможет представить себе это неизбежное пленение всего живого и мертвого под белым пуховым саваном, превращавшимся в ледяную тюрьму для всякого, кто дерзнул выглянуть из своего логова. Князь Мурашкин отметил в своем дневнике, что в тот день Санкт-Петербург был засыпан «по горло»; когда понадобилось бить в набат, все колокола оказались замерзшими. Те, кто вышел из дому в полшестого, к шести часам были в снегу по пояс.

Отец все не шел. Позже я узнал, что он притворился, будто ничего не слышал о предстоящем празднике, и с утра заперся в своем кабинете. Я нашел его в гостиной; он всматривался через окно в ночь, заполненную клубящимися ордами, изгнанными из ада чьим-то гневным повелением. Отец был одет в крестьянскую рубашку и обут в валенки; рыжая меховая шуба, накинутая на плечи, делала его великаном. С ним был его друг, немецкий ботаник Кнаббе, выражавший свое беспокойство, сравнивая снежную бурю с проявлениями стихии на его родной Балтике.

– Но что же вы хотите от меня? – спросил его отец. – Я не вхож к Господу. А если вы знаете другое средство, чтобы остановить бурю, буду вам весьма признателен, если вы его мне укажете.

Говорил он по-французски. Я заметил, что отец всегда прибегал к этому языку, когда был расположен к колкостям и к иронии.

– Надобно послать помощь. . .

– Да, именно это мы и сделаем. Летите, друг мой, летите. . .

– Но еще около получаса лошади не смогут идти.

– И поскольку в хорошую погоду нужно по крайней мере два часа, чтобы добраться до озера. . .

Он пожал плечами. Меня охватил страх. Мысль о Терезине, засыпанной снегом, показалась мне столь ужасной, что я едва не потерял сознание. Нет, смерть не могла получить такую добычу. Я бегом пересек вестибюль и выскочил наружу. Бешеные своры снежных комьев набросились на меня и покрыли мое тело своими укусами, я попал на шабаш белых ведьм и крутящихся дервишей, с гиканьем швырявших свое ледяное зелье мне в глаза и ноздри, заталкивавших его мне в рот. Снег залепил мне глаза, я заплакал, но руки мои колотили по невидимому врагу. Слуги затащили меня в дом; когда меня усадили перед камином, чтобы обогреть, слезы мои уже замерзли и превратились в маленькие сосульки. Отец бросил на меня любопытствующий взгляд. В руке он держал бокал с амброзией, отпивая из него маленькими глотками. Высокий, широкий в плечах, смуглое лицо под серебряным париком, специально рассчитанным на то, чтобы скрывать его пышные, длинные черные волосы. Его жесткие черты вдруг смягчились.

– Ты любишь ее, не так ли?

– Я. . .

– Ты любишь ее как женщину.

Немец с недовольным видом теребил шнурок от часов. Он считал, что это все итальянские штучки, и не одобрял подобные изливания чувств.

Я непонимающе смотрел на отца. Как мог он оставаться таким спокойным, когда Терезину, нашу Терезину, может быть, уже схватили тысячи рук, ледяных колдуний, чьи злые голоса, словно уже торжествующие, теперь доносятся до нас, и ее нежное тело превращается в глыбу льда!

Отец поднес бокал к губам и сделал еще один маленький глоток.

– Ничего с ней не случится. Она в безопасности во дворце. Жаль праздника, конечно. . .

Тень иронии – или досады? – пробежала по его чертам, в его голосе появились вульгарные нотки, непривычные для человека, столь внимательно следящего за производимым им впечатлением.

– Но тщетно искать радость и веселье. . . вонне, если в самом себе не обладаешь природным даром довольства и счастья, которые. . . которые никто иной не сможет вам дать.

Одним глотком, по-русски, он опорожнил свой бокал – так пить сладкие ароматные ликеры, объяснял мне Уголини, не годилось. Он казался смущенным, сожалея, несомненно, что пустился в подобные разговоры в присутствии постороннего. Герр Кнаббе отвернулся; с безразличным видом он заводил ключиком свои часы, словно говоря: «Раз такое дело, и мне незачем беспокоиться».

Я был возмущен безучастностью отца в то время, как наша Терезина подвергалась такой опасности. Мне, однако, было известно, что он очень любил свою жену. Но я был слишком молод для того, чтобы понять страсть и бессильную ярость сильного чувственного мужчины, оказавшегося неспособным заставить женщину разделить с ним наслаждение. Не знал я также, что любящий может доходить до такой степени страдания и самообмана, что начинает мечтать о гибели любимой,

Буря бушевала три дня и три ночи. Когда она утихла, прошло еще две недели, прежде чем очистились дороги. Шестьдесят гостей Терезины, застигнутых в пути ненастьем, погибли. Среди них были грузинский князь Рашидзе, которому прочили место Потемкина на ложе императрицы, посол курфюрста Саксонии Курценберг, офицеры гвардии Истомин, Волабамов, Куницын. Все были найдены в причудливых позах, застывшими в своих костюмах неаполитанских рыбаков, пиратов, клоунов. Куницын, одетый под Данте, врач Пыжов, одевший под шубу костюм Мефистофеля с рогами и хвостом, – это был очень веселый человек, полковник Рублев в одеянии татарского хана были найдены псовыми в их санях, замерзшими вместе с кучером и лошадьми. Судьба дам не показалась столь трагичной – никто из них не принадлежал к высшему обществу. О некоторых жалели лишь по причине их красоты те, кто пользовался их благосклонностью или извлекал из нее какую-нибудь выгоду. По этому поводу родилось несколько словечек, довольно жестоких, – их приписывали то одному, то другому. Так, о Пугашкиной, считавшейся ненасытной и подвергнувшей серьезному испытанию силы самых одаренных природой офицеров, сказали, вынимая ее заледеневшее тело в испанском платье из сугроба: «Наконец-то холодна!» О польском графе Заславском, любезном пятидесятипятилетнем гуляке, вследствие импотенции сделавшемся поэтом, сказали: «Наконец-то твердый!» Эти не слишком любезные комментарии были напечатаны в «Блестящем альманахе», который издавал в Петербурге на французском языке жалкий писака Варвен. Еще несколько недель продолжали находить бранные останки тех, кто так и не увидел праздника. Последней откопали г-жу фон Шольт в объятиях своего кучера: губы бородатого гиганта слились с губами его госпожи – так он пытался отогреть ее своим дыханием.

Терезина оказалась живой и здоровой, как и прочие гости, прибывшие во дворец до ненастья; Пушкина это бедствие вдохновило несколько позже на создание повести «Метель». Она не высказала ни одного слова сожаления или участия в адрес погибших. Она говорила лишь, что «сожалеет о непогоде, помешавшей нескольким друзьям царицы принять участие в столь

удавшемся празднике, и что неприятные обстоятельства длились два дня и три ночи». Она произнесла это с поразившей меня беспечностью. Я лишь удивленно захлопал глазами: как она могла быть такой бездушной, даже жестокой по отношению к людям знатного происхождения, которым мы обязаны нашим благополучием? Я был в какой-то мере «маленьким принцем», что сегодня нахожу отвратительным: с моими длинными кудрями, шелковой одеждой и хорошими манерами, я, должно быть, смахивал на комнатную собачку, всегда готовую встать на задние лапки за лакомство. Сегодня это назвали бы снобизмом, тогда называли по-русски – щегольство. Мне понадобилось много лет, чтобы понять Терезину, или, скорей, почувствовать, угадать. В этом ребенке, рожденном на самом дне общества, откуда происходят галерники, острые на язык комедианты, ловкие на руку разбойники, где появляются на свет разные шуточки и дерзости, тлела в ожидании порыва ветра искра Божья. Инстинктивно, без участия ее сознания, это неугасимое пламя всегда искало, на что перекинуться, какой фитиль запалить. То, что мы принимаем за причуды и капризы, ее ненависть ко всем оковам условностей, эта любовь к беспорядку, ее цыганщина, как говорили тогда, происходили из неповиновения, вызревавшего в недрах общества, ожидая звезду, способную вывести его из тьмы.

Когда она вернулась домой, я так горячо бросился в ее объятия, что она заплакала. Она надолго приникла ко мне. Я ощущал ее маленький холодный нос на моем плече. Затем она скинула свою горностаевую шубку и предстала передо мной в испанском платье, вся в алых розах и черных кружевах.

– Как жаль, – сказала она, в то время как вокруг нее забегали служанки с чашками горячего шоколада: с нее снимали ленты, расстегивали застёжки, ей подавали домашние туфли, подталкивали к ней кресло, в которое она тут же опустилась. – В самом деле, жаль... Всех этих благородных, замерзших, как оборванцы. У жизни дурные манеры.

Потом она ушла к себе, и между нею и отцом произошла сцена, накал которой не смогли заглушить даже толстые стены.

Глава XX

Дело о дворце Абрамова дорого обошлось отцу. Его положение требовало сноровки и сдержанности. Он всегда находился на виду того, что сегодня называют общественным мнением, а в Петербурге это «мнение» принадлежало немногим. Его злейшими врагами были не те, кто считал его мошенником, а те, кто принимал его всерьез и желал гибели, видя в нем человека опасного. Франкмасона на службе сил зла.

Я не пытаюсь создать на этих страницах ложный образ моего отца. Правда то, что эликсир молодости, который он продавал дамам, омолаживал их лишь в их собственных глазах. Но его исцеления психологическим методом были многочисленны, и об этом имеются неоспоримые свидетельства. Его взгляд обладал гипнотической силой, которая помогала ипохондрикам и страдающим различными фобиями снова обрести веру в себя, ведь гипнотизм – давно признанный научный факт. Я не отрицаю также, что он сделал из своего дара инструмент для достижения личного успеха, ничем в этом не отличаясь от прочих членов нашего племени. Но если бы он не брал вознаграждения, если бы не создавал впечатления человека, заботящегося прежде всего о своих собственных интересах, он нажил бы и худших врагов, ибо церковь не прощала тех, кто угрожал ей примером истинной святости. Лучшие умы выказывали ему знаки уважения за его астрологические познания. Никто не станет отрицать, что астрология внесла существенный вклад в копилку нашего знания, поскольку она не переставала освещать и открывать странности человеческой души.

Г-н Ван дер Меер на трех страницах, посвященных Джузеппе Дзага в своем монументальном труде «Искусство и шарлатанство», обвиняет отца в том, что он якобы выманил пятьдесят тысяч рублей у графа Карапузова на поиски философского камня и трансмутацию металлов. Но он не говорит ничего об удовольствии, надеждах и мечтах, которые чародей доставлял милейшему графу до самой его смерти.

Граф Карапузов мог растратить свои деньги на строительство дворцов и покупку картин, но он распорядился ими с гораздо большей для себя пользой, ведь ощущения восторга и тайны, которые подарил ему отец, обогатило и украсило его жизнь. То, что г-н Ван дер Меер называет «подлостями» Джузеппе Дзага, придавало существованию его «жертв» новое измерение, и эффект от их воздействия был более длителен, чем от постановок Шекспира.

Дело о дворце Абрамова было использовано врагами моего отца, в частности врачами, которые не простили ему исцелений, которых он добивался там, где они опускали руки. Какой только глупой клеветы не распространяли о нем! Говорили, что приглашенные на праздник погибли оттого, что на самом деле они ехали на шабаш колдуний, и смерть стала для них справедливым наказанием. Эти глупости были подхвачены и оглашены попами. Некоторые из наших друзей перестали бывать у нас. Засыпая, мы не знали, не разбудят ли нас посреди ночи, чтобы препроводить в Петропавловскую крепость.

Только один человек продолжал регулярно нас навещать. Каждый вечер, когда мороз и мрак прогоняли с улиц прохожих, наш Фома открывал дверь человеку, одетому в белую овчинную шубу и большую волчью шапку: это был Ермолов, смотритель ночного горшка царицы.

Он входил, снимал шапку, запорошенную снегом, вытирал заиндевшие усы, стряхивал с бороды снег – под слоем белого снега она оказывалась черной, протирал свой лысый череп и шурил маленькие хитрые глазки. Вот он оглядывается вокруг с подозрительным видом

заговорщика. Его просят подняться в кабинет отца, и несколько минут спустя он туда и следует.

Памятуя о совете, данном мне моим родителем, утверждавшим, что главная добродетель человека – любопытство, открывающее двери познания, я в тот день последовал за казаком до конца коридора и, как только Ермолов вошел, прильнул ухом к замочной скважине.

– Итак, по-прежнему ничего? – различил я голос отца.

– Ничего, ваше сиятельство.

– Ты уверен?

– Уверен. Я не позволяю никому до него дотрагиваться. Она только писает.

Последовала минута напряженного молчания. Поскольку отец потерял благосклонность Екатерины, нам оставалось только скрытно исчезнуть, пока нас не заточили в крепость как шарлатанов, франкмасонов и слуг дьявола. Патриарх Герасим предпринял демарш в адрес министра Замятина, утверждая, что итальянец подлежит суду за ересь. Согласно новой версии, распространенной попами, снежная буря вызвана демонами по просьбе отца, действовавшего в интересах евреев, с тем чтобы погубить скот и поставить крестьян в зависимость от ростовщиков.

Джузеппе Дзага немало пострадал за сношение с иудеями, к которым наше племя всегда испытывало дружеское расположение.

– Однако, – сказал отец, – ведь это уже одиннадцатый день.

– Одиннадцатый, ваше сиятельство. Бедняжка, она делает такие усилия. Этим утром она целый час просидела на стульчаке и тужилась, тужилась. . . сердце разрывается от жалости. – Я услышал, как отец барабанит пальцами по рабочему столу. – Если до завтра она не облегчится, быть беде, – предупредил Ермолов. – Народу это выйдет боком. Говорят, она даже отвергает ласки, но это вряд ли. . . У нас любят преувеличивать.

– Миттельхаузер ее навещал?

– Да, он дал ей лаврового порошка. И ничего.

Запор Екатерины был болезнью хронической, от которой в периоды обострений страдала вся страна. Историк Грушин пишет, что продолжительный запор царицы превращался в национальное бедствие. К тому же императрице всех россиян суждено было умереть на стульчаке от апоплексического удара в тот момент, когда она сделала чрезмерное усилие, чтобы опростаться. У отца в запасе имелось новое средство, полученное им от немецкого ученого из ложи Великого Льва Иудеи: в нем были смешаны борщевик, хвощ, гречишник и масло, извлеченное из некоторых балтийских рыб. На следующее утро гвардейский офицер в императорских санях, в которые были впряжены две тройки, в сопровождении эскорта кирасир подъехал к нашему дому.

Отец передал ему пакетик с порошком и инструкцию, написанную его собственной рукой.

В течение последующих часов, впервые с тех пор, как мы были отцом и сыном, я увидел его таким подавленным. Наша судьба полностью зависела от кишечника царицы. Джузеппе Дзага сидел в кресле у камина со скорбным лицом, глядя голову нашего Мольера, которую тот сочувственно положил на колени хозяину. Отец назвал его Мольером потому, что грустные глаза спаниеля напоминали ему великого драматурга, трагическая судьба которого сделала его королевским шутком.

В полдень Терезина спустилась в гостиную. Некоторое время она бродила бесцельно, напевая, переставляя с места на место безделушки и бросая на своего супруга взгляды, в которых гнев и ирония сменялись жалостью. Затем, не выдержав, она под села к нему.

– Она покакала? – Отец пожал плечами, – И как вы себя чувствуете, муженек?

– А ты как себя чувствуешь, женушка? Мне кажется, ничто тебе не доставляет такого удовольствия, как обращать на наши головы гнев властей. Это может нам дорого стоить.

Она внимательно посмотрела на него.

– Каково Джузеппе Дзага чувствовать, что его судьба и судьбы его жены и сына зависят от дерьма? Да, от кучки дерьма, которое не желает выходить?

Превосходный сюжет комедии для г-на Гольдони, хотя, как говорят, старик стал слишком важным, чтобы вызывать смех публики.

– Оставь меня в покое, – проворчал отец, – Дерьмо дерьму рознь. То, из которого я тебя вытащил в Венеции, пахло не лучше.

Я стоял в углу гостиной, делая вид, что кормлю нашего зеленого попугая Хулио, верещавшего в своей клетке. Краешком глаза я наблюдал за выражением лица Терезины. Я почти уверен, что увидел слезы на ее глазах. Не могу вам описать, какое впечатление произвели на меня слезы Терезины, – я хорошо знаю границы моего мастерства. Я забыл руку внутри клетки, и разбойник Хулио воспользовался этим, чтобы больно меня ущипнуть.

«Да здравствует царь!» – проверещал он фразу, заученную еще во времена Петра, – вот уже десять лет синьор Уголини тщетно пытался переучить его на «Да здравствует царица!».

– Когда-нибудь, – сказала Терезина, – я вернусь в Венецию и заделаюсь шлюхой, чтобы действительно стать членом вашей семьи, ибо не было в истории блядей более блядских, чем всегда готовые к услугам Дзага!

Она повернулась спиной к отцу и взбежала по лестнице, придерживая двумя руками подол платья. Я хотел было пойти за ней.

– Останься, – бросил мне отец таким хриплым голосом, что я едва узнал его. – Ты не сможешь ее утешить. Есть лишь один способ усмирить ее, но ее природа препятствует этому. Есть женщины. . .

Он попытался взять себя в руки, но его унижение и ощущение беспомощности были столь болезненны, что никакой наружный блеск не мог скрыть таящуюся в нем глубинную суровость лодочников, моряков и возчиков из Кьоджи.

– Есть женщины, которых ничем не проймешь, ничем не успокоишь, ибо они ущербны в главном. Их можно трахать часами – они будут лишь считать мух на потолке. Ничто никогда не удовлетворит их. Ни бриллианты, ни праздники, ни восхищенные знаки внимания. . .

Он поднялся, подошел к столику и схватил нетерпеливой рукой бутылку с новым ликером, который привозился из Англии, но производился в Португалии. Он поднес ее ко рту, обойдясь без бокала. Я был поражен грубостью его речей и напуган злобным выражением лица. То было грубое лицо мужика, забивающего насмерть своего осла в отместку за собственное несчастье. Его взгляд, циничный и столь же жесткий, как и его черты, скользнул по мне.

– Тебе, сынок, скоро стукнет четырнадцать, – бросил он со злой усмешкой, не мне адресованной, но происходившей от его провалов, всех унижений, испытанных им на службе у знати, и от беспомощности сильного мужчины, неспособного даровать наслаждение женщине, которую он любит.

– Тебе скоро стукнет четырнадцать. Ты прекрасно устроен там, где нужно. Я справлялся у Проськиных девок. Ты одарен и сможешь творить чудеса с твоей волшебной палочкой. . .

Он засмеялся. Этот смех причинял мне боль, на моих глазах рушился образ отца, которого я любил и уважал больше всего на свете.

– Когда тебе изменит удача и все твои дела пойдут наперекосяк, а такое в жизни случается, ты сможешь зарабатывать себе на жизнь, работая сутенером; многие из наших занимались этим – сменили магию на магию, чародейство на чародейство. . .

Он направил на меня указательный палец. Он был пьян; должно быть, начал с утра.

– Но вот что я хочу тебе сказать. Тебе попадутся женщины, с которыми у тебя ничего не получится. Это, в общем-то, не так уж важно, ты можешь спокойно наслаждаться один, не заботясь о наслаждении другого. . . Но когда женщина, отмеченная таким проклятием, лишенная своей сущности, оказывается твоей возлюбленной. . . тогда, глупыш. . . тогда. . . ты познаешь ад. . . а знаешь, что такое ад? Это когда не можешь. Иди.

Я направился к двери, едва сдерживая слезы.

– Пстой.

Я остановился, но не обернулся. Я не хотел видеть отца таким. Я уже знал, что свою любовь, свои иллюзии нужно защищать. А иногда лучший, если не единственный способ защитить их – подвергнуть испытанию с холодным сердцем и ясной головой.

– Ты любишь Терезину? Скажи мне, ты любишь ее?

– Да, я ее люблю.

Мне сразу стало стыдно за свои слова, не за само признание, а за то, что я произнес его со слезами и детским голоском.

– Тогда. . .

Я ждал. Отец умолк. Потом я услышал скрип паркета. Я закрыл глаза и сжал зубы, я ждал, что его кулак опустится на мою спину. Я ожидал, что он прибьет меня, как щенка. Я не смог понять всю глубину его отчаяния и одиночества. Ощущения провала.

Его рука легла мне на плечо, он бережно повернул меня и прижал к себе. Теперь я уже не сдерживал себя и бросился к нему, рыдая. Он крепко сжал меня в своих объятиях.

– Плачь, – сказал он с нежностью, разрывавшей мое сердце. – Плачь за себя и за меня. Я, к несчастью, уже разучился. Даже не знаю, как это делается. Производство слез сложнее, чем производство философского камня. Наступает день, когда просто перестает получаться. Слезы покидают вас. Наверно, им перестает у вас нравиться: тепло уходит, меняется климат. . . – Он засмеялся. – Слезы, они как апельсины. . .

Он ушел. Я был счастлив, спокоен, утешен, ведь несколько мгновений я думал, что у меня никогда больше не будет отца, поскольку я не смогу больше восхищаться им.

Глава XXI

Когда наутро я увидел его, он вновь обрел свою уверенность, достоинство, самообладание.

Мы ждали с нетерпением новостей из ночного горшка императрицы. Заметив, что я хожу за ним, стараясь скрыть беспокойство, он дружески похлопал меня по плечу:

– Не бойся, малыш. Она покакает. Надо доверять искусству.

Около четырех часов пополудни мы услышали громкие удары в дверь. Я бросил на отца тревожный взгляд. Мне казалось, что это пришли нас арестовывать. Спустя несколько мгновений в гостиную, как пушечное ядро, влетел Ермолов. Он подкинул в воздух меховую шапку, стянул одну рукавицу и изо всей своей русской силы швырнул ее на пол, потом широко раскинул руки, показывая размер кучи.

– Ур-ра! – заорал он во всю мочь. – Высралась!

Мы были спасены.

Должен добавить, что признания, сделанные мне отцом в минуту отчаяния, по поводу недоступности, или, если угодно, «неразрешимости» Терезины, не произвели на меня никакого впечатления; по правде говоря, я их почти не понял. Мысль о том, что мужчина может придавать такое значение наслаждению, которого женщина не хочет или, по причинам физиологическим, не может от этого мужчины получить, далеко превосходила пределы моего еще почти детского понимания. Этот аспект взаимоотношений между полами стал в моем сознании важным много позже, когда забота о самосовершенствовании заставила меня в любовных объятиях отрешиться от чрезмерной занятости самим собой, а также когда необходимость зарабатывать себе на жизнь обязала меня учитывать вкусы публики.

Хотя ничего подобного снежной буре, причинившей нам столько неприятностей, больше не повторилось, зима в том году выдалась на редкость морозной. Терезина, ненавидевшая этот мерзкий климат, говорила, что он надрывает сердце, что у природы здесь одна цель – заключить жизнь в глыбу льда, вплоть до исчезновения последнего человеческого дыхания. В эти тягостные дни в ледяной пустыне, когда солнце поднималось над куполами Петербурга лишь для того, чтобы признаться в собственной слабости, и, как кающийся грешник, на коленях тащилось на проплешину неба, она, чтобы согреться, рассказывала мне об Италии. В ее рыжей шевелюре было больше света и тепла, чем во всей стране. Каждое утро в красных домашних туфлях, какие продают на улицах татары, немного ей великоватых, в домашнем платье, вышитом ею собственноручно апельсинами, соловьями и мимозами, распустив волны роскошных волос, при каждом ее движении начинающих перекатываться по плечам, она брала из рук своей горничной Вари чашку горячего шоколада и говорила мне о земле, которую я считал своей родиной и которую знал лишь по рассказам и песням. Ее глаза были сини, как наша Адриатика, а губы, в эти часы бледные от холода, лучше всяких слов рассказывали о никогда не пробованных мною плодах, на нашем языке называемых гранатами.

Не знаю, давала ли она мне эти уроки нежности, чтобы самой опьяняться воспоминаниями, но я уже тогда сомневался в том, что возвращение в страну моих предков даст мне большее счастье, чем эти утренние беседы. Как я был прав! Мне никогда не суждено было побывать в Италии рассказов Терезины, ибо, увиденная из России и описанная с любовью, эта страна приняла очертания, которые не поддавались никаким географическим измерениям. Так, много лет спустя я бродил по площади Сан-Марко в поисках праздника, который никогда больше не повторится, я искал в гондолах, в палаццо, в трапезных монастырей прекрасных,

грациозных, мудрых кавалеров и дам, которых мне не суждено было встретить; из своей ложи в театре Фениче я смотрел на выступление актеров, слушал остроты, голоса, оперы, которые восхищенный рассказ Терезины сделал в свое время волшебными. С чашкой шоколада на коленях, с улыбкой на губах и со взглядом, устремленным не в даль, но в те воображаемые пространства, куда держит путь мечта на встречу с воспоминаньем, она так рассказала мне о Венеции и тем самым разрушила для меня реальность, что мне никогда уже не суждено было открыть этот город, плывущий по волнам, похожим на небо. Но самыми сильными чарами обладал ее голос. Есть женские голоса, овладевающие слушателем целиком, его телом и самыми потаенными мыслями, скользящие над вами как прикосновения, ласкающие губы и сдавливающие грудь; скорее ласки, чем слова, они погружают вас в состояние, о котором арабский философ Мансур говорил, что «оно рождается от дуновения Аллаха». Я сидел рядом с ней, чуть позади, чтобы позволить моему взгляду ласкать ее: грудь, бедра, ноги, шея, округлость плеча. . . Я глотал слюну, руки мои чесались. Не знаю, сколько раз я едва удерживался от того, чтобы не заключить ее в объятия, не прикинуть губами к ее губам. . . Это желание никогда меня не покидало, ни днем ни ночью, – разве тут сосчитаешь? Какая-то доброжелательная» снисходительная к мечтателям сила хранила меня и придавала сил для сопротивления; всякий, кто отдавался мечтаниям, знает, что они сохраняют свое очарование и могущество лишь до тех пор, пока не сбываются. Много позже я был восхищен фразой Ницше: «Утоление – это смерть»; я нашел ее в письме, адресованном мне в баден-баденскую тюрьму, куда я был брошен после гнусного дела об эликсире бессмертия, который я не разливал по бутылкам и уж тем более не продавал, как меня в том обвиняли, – я не тот человек, что может перепутать столетия, к тому же я никогда не торговал лежалым товаром. К тому времени я уже начал печататься, и обвинение в шарлатанстве было, несомненно, делом рук нескольких завистников, которым моя зарождающаяся популярность не давала спокойно спать. Я никогда бы не пустился в такое вышедшее из моды предприятие в момент, когда акции бессмертия значительно упали, зато утопия стала выгодным товаром, не достигнув еще своей максимальной стоимости, как во времена Прудона и Фурье.

Иногда, если хрупкому солнцу удавалось пробить себе дорогу сквозь сырой туман, окружавший Петербург призрачной дымкой, я выезжал с Терезиной на долгую прогулку в санях по окрестностям города. Укутавшись в меха, накрыв колени лисьей полостью, мы скользили по снежной целине под перезвон колокольчиков, который смог бы рассказать лучше всех поэм и картин о ледяной чистоте русской равнины, В этом звуке слышна бескрайность, лес и горизонт; его веселость и грусть хотели бы разделить весь мир, но, не поладив, остались вместе. Тройка, легко касаясь снега, летела так быстро, что казалось, вот-вот покинет землю и поднимется над деревьями; иногда я закрывал глаза в ожидании минуты, когда, открыв их, увижу, свесившись за борт саней, там, внизу, крыши примостившихся в снегу деревень и верхушки деревьев, откуда наш стремительный полет спугнул удивленных воронов.

Голые растрепанные березы, как сиротки в поисках матери, сходились к лесу; вороны каркали, как льстивые царедворцы, лишь подчеркивая величие тишины; озера были невидимы, но под трехметровым слоем льда обитали сирены, питаясь одним лишь народным воображением сказок. Иногда, сверкая сталью, мимо пролетали на своих белых конях кирасиры императорской гвардии, галопом пересекая реку. Лисы, а иногда и волки при нашем приближении замирали на мгновение, чтобы тут же скрыться в своих норах, оставляя за собой звериный запах, еще долго хранимый неподвижным воздухом. Из конских ноздрей шел пар, спина кучера Ефима стеной возвышалась перед нами, казалось, у него нет головы, а только высокий воротник; когда молчание начинало тяготить его, он оборачивал к нам лицо под овчинной шапкой и спрашивал:

– Затянуть, что ли?

– Затяни, – отвечала Терезина.

Тогда из глубины своих легких, где, казалось, мог уместиться весь воздух Святой Руси, Ефим извлекал напев, мелодия и слова которого окружали нас: они словно слетали с сиротливо застывших деревьев, появлялись из белесой дымки, из белого пространства без конца и края, падали с неба – скупого торговца мукой, сыплющего медленно, словно сожалея, редкие хлопья. Терезина прижималась ко мне, склонив голову на мое плечо. Я чувствовал холодок от ее носа на моей щеке. Я был грустен, зная, что это была не нежность, а просто необходимость дружеского участия. У нас дома было четыре щенка. Она возилась с ними, а когда они ей надоедали, наступал мой черед. Я терпеливо ждал, поскольку она была справедлива и не пренебрегала ни одним из нас. И теперь, под теплой полостью, сжимая руку моей «сестрички» в своей, обняв ее за плечи, прижимаясь ногой к ее ноге, я вдыхал ее теплое дыхание и, глядя пристально в небо, старался думать о Боге, поскольку мне мешало возбуждение, длившееся порой на всем протяжении прогулки, и лишь набожные мысли позволяли мне иногда расслабиться.

– Терезина, почему ты так любезна со мной и так сурова с моим отцом?

– Потому что я люблю тебя.

Я сконфузился – ведь если она могла сказать это так спокойно, значит, в ее глазах я все еще оставался ребенком. Мне захотелось умереть.

– Это жестоко, – пробормотал я.

Она пожала мне руку. Она приблизила ко мне свое лицо, и я заметил, что глаза ее грустны. То была грусть, исходящая от нежности и мало-помалу переходящая в улыбку, но и улыбка эта не была веселой. В волнуемом маре рыжих локонов различал лишь ее глаза и нос.

– Я знаю, ты всегда будешь любить меня, – произнесла она. – Всегда. Я никогда тебя не обману. Я всегда буду в тепле твоих воспоминаний, и ничего со мной не случится. Я стану еще красивее. Благодаря тебе, уже давно мертвая, я останусь вечно живой и молодой. Ты будешь без конца приукрашивать меня. Ты сохранишь меня, и никто больше не отнимет меня у тебя. Твой отец говорит, что ты станешь писателем, что ты обретишь способность воплощать все, на что только глянешь своим внутренним зрением. Воплоти меня, Фоско. . .

– Терезина. . .

– Нет, не говори ничего. Да ты и не сможешь высказать. Так лучше. Надо чувствовать. Слова часто жульничают.

Я сделал, помимо своей воли, движение, чтобы обнять ее, ей-богу, я сделал это не намеренно, я ведь знал, что это невозможно. Мне и теперь случается делать подобные жесты, но женщина, которую я обнимаю, всегда другая.

– Нет, Фоско. . . У нас в Кьодже есть одна пословица: «Счастье с хлебом не едят. . . »

Это, должно быть, разумно, но в ожидании я мог умереть от голода. Я наверстал упущенное, как обычно, у Проськи.

Глава XXII

Гостеприимный дом располагался близ места, называемого «болото» – весной тающие снега преобразовали округу в топкую трясицу. У Проськи содержались полячки, цыганки, еврейки, худышки и толстушки; сама мать Курва была густо наштукатурена и нарумянена, рот ее напоминал трещину, по краям стертую от употребления; слой грима, казалось, увеличивался год от года, скрывая черты под застывшей маской; лишь подслеповатые кротовьи глаза жили своей подмигивающей жизнью. Когда она со свечой в руке спускалась или поднималась по лестнице, чтобы принять или проводить клиента, ее браслеты, ожерелья, серьги звенели, как бубенчики на тройке. Когда она с преувеличенным раболепием рассыпалась в восторгах гостеприимства, величая какое-нибудь Превосходительство, раскрашенная маска покрывалась трещинами, как старая штукатурка. Она вlepила мне в щеку слюнявый поцелуй, который я тут же стер рукавом; эта рожа, словно победившая время по милости некоего божества гниения и вечно близоруко лезущая навстречу, вызывала у меня тошноту. И еще эта ее вечная улыбочка, пошлая в своем глубоком и мерзком знании жизни, все видевшая, все надкусившая, все проглотившая и все же ненасытная, – такой осталась в моей памяти старая Проська. Я был уже слишком чувствителен к красоте, чтобы смеяться над безобразием, и, как мог, старался не выказывать отвращения. Сводня схватила меня за руку, втащила внутрь и заперла дверь. Она подняла свечу, чтобы лучше разглядеть мое лицо, и расплылась в улыбке, показавшейся, наверно, оттого, что она держала меня за руку, еще более отталкивающей. Она возвела очи горе – выпучила в свете свечи грязно-голубые зенки и запричитала:

– Господи! Какой он красивый, какой ладный! Какие сладостные страдания доставит скоро он нам, бедным женщинам! Кого желает он осчастливить сегодня?

Мне было все равно. Я был невзыскателен. Любая девушка, которую я сжимал в объятиях, была Терезиной.

Получалось, что я обречен на обман, всякий раз в минуту нежной ласки глаза женщины искали и находили в моих огонь любви, она чувствовала, как мое сердце признательно билось о ее грудь, а кои руки так крепко сжимали ее, словно старались не столько удержать ее, сколько оградить от мира. Они воображали, что любимы мною, не догадываясь, что для меня они не существовали вовсе. Когда на протяжении нескольких часов я вновь и вновь воспламенялся, они видели в этом доказательство страсти, ими внушенной, в то время как я всего лишь пытался миновать минуты оцепенения, когда пресыщение гасит воображение и я возвращаюсь в реальность, где эти чуждые мне лица проявляются во всей их тягостной и неоспоримой очевидности. В наших объятиях они искали соединения душ – а я в это время покидал их, чтобы соединиться с другой. Я помню одну маленькую полячку, Геленку, – милую худышку, готовую сломаться под моими пальцами. Она не обладала ясностью сознания, приходившей с веками, чтобы понять, что все состоявшиеся свидания – лишь слабый отблеск тех, что никогда не сбылись. Она не знала, что, когда она отдавалась мне, я сбегал от нее в край, откуда она была изгнана; она верила, что это ее я уносил в бешеной скачке, и принимала на свой счет залогов нежности, которые я расточал в ее объятиях Терезине. Однажды ночью, когда я отпрянул от нее, подняв голову, я увидел наплывающее на меня из тумана мечты худенькое личико со вздернутым носом; Геленка гордо гладила мне волосы и ворковала детским голоском со снисходительной нежностью:

– Ты знаешь, не стоит в меня влюбляться.

Я непонимающе захлопал глазами. Несколько раз этой ночью я покидал ее в своих мечтах, и теперь, усталый и опустошенный, я вдруг обнаружил, что у бедняжки почти нет груди, а пушок на ее теле имеет тот неопределенный оттенок, что колеблется между бурым и белесым, – он почему-то мне всегда напоминает об уборке – может быть, потому, что это точь-в-точь цвет швабры, которую у нас употребляли для мытья полов. Я понял наконец, о чем она говорит, и постарался соответствовать, ибо я слишком высоко ценю мечту, чтобы не уважать ее в других.

– Да, я люблю тебя, – сказал я ей, и, как всякий раз, когда я произносил слово «любовь», передо мной появилось лицо Терезины – это позволяло мне всю мою жизнь в подобные нежные моменты изъясняться с предельной искренностью.

– Здесь не надо любить, – сказала она, – здесь надо развлекаться.

Эта девушка, как оказалось, обладала правильным взглядом на любовь. Впервые я почувствовал, что от нее разит чесноком. Но я был хорошо воспитан. К тому же я таким образом практиковался в ремесле иллюзиониста, что мне помогло потом влиять на дамскую публику.

– Геленка, я день и ночь думаю о тебе, а когда я о тебе не думаю, я жестоко страдаю оттого, что не думаю о тебе.

Может быть, не самый изящный образчик красноречия, но в четыре часа утра, с девчонкой, пахнущей чесноком и, как я только что заметил, с двумя гнилыми зубами, это все же свидетельствовало о моих добрых побуждениях. Она улыбнулась:

– Обещай мне не делать глупостей. Все равно старуха забирает почти все деньги себе. Но если хочешь. . .

Она запнулась. Мне же все это начинало надоедать. Самое трудное в любезной беседе – минута, когда молчание может выдать безразличие, – тогда совершенно необходимо заполнить чем-нибудь пробел. Вот почему так трудно быть старым. С возрастом ты не способен больше перескакивать с пятого на десятое и приходится говорить, говорить. . . Я знал одного очаровательного старичка, барона Оффенберга, который любил повторять: «Старость – это разговоры». И в самом деле ужасно, когда часы опьянения истощат ваши силы и «предмет пламенных желаний», говоря словами Пушкина, вдруг превращается в homo sapiens, – а кто хочет оказаться в постели с «человеком разумным»? В годы моей молодости, едва «человек разумный» просыпался у меня в постели и начинал мыслить вслух или даже пытался втянуть меня в разговор, мне было достаточно заткнуть ему рот поцелуем и вновь сжать в объятиях – и homo sapiens исчезал, уступая место возлюбленной.

– Я сделаю все, что ты пожелаешь, – пообещал я, легонько отодвигаясь подальше от ее дыхания, но продолжая нежно сжимать ей руку, ибо всю мою жизнь я придавал большое значение изяществу в выражении чувства.

Геленка стыдливо опустила глаза, поколебалась, глубоко вздохнула и выпалила:

– Я хотела бы, чтоб ты написал мне письмо. Я, конечно, читать не умею, но это ничего, это пустяки. Мне кажется, что если бы хоть раз, хоть один-единственный раз в моей жизни я получила бы от кого-нибудь письмо, я была бы так счастлива. . .

Сердце мое сжалось. С тех пор я всегда испытываю самые дружеские чувства к падшим созданиям. Встречал я среди них настоящих каналий и стерв, но я всегда говорил себе, что они такие оттого, что им никто не написал.

– Геленка, я не просто напишу тебе, я сделаю гораздо лучше. . .

Я внимательно посмотрел на нее.

– Я напишу тебе письмо по-французски.

Она застыла, словно испугалась чего-то, ее личико задрожало, и после нескольких мгновений безуспешной борьбы против переполнявших ее чувств она разрыдалась.

Так я написал свое первое любовное письмо.

Глава XXIII

Я не могу описать, какое действие любовь произвела на мою бедную персону. Я спрашивал себя, не существует ли где-то вне нашего сознания некая вездесущая тайная сила, овладевающая людьми, дабы испытать на них свое всемогущество.

Отныне вся моя жизнь сосредоточилась во взоре. В нем выражалась вся моя страсть, тысячи посланий и признаний, жалоб, молитв и неслышных стенаний, и мне случалось со страхом подносить ладони к глазам – мне казалось, что они кровоточат.

«Нет с вами одного человека – и весь мир безлюден», – писал Ламартин, но я сказал бы: «Один человек с вами – и весь мир безлюден». Мне было достаточно того, что Терезина рядом, – и все люди, князья и рабы, предметы и множества живых существ исчезали, отдалялись, становились едва различимыми узорами «обманки», и никакие события, прекрасные или ужасные, не привлекли бы к ним моего внимания. Когда Терезина была рядом, казалось, замирало все живое и мертвое, ожидая повелений властелина; сам господин Время ждал с раболепной улыбкой, когда любовь покинет меня, чтобы привести в движение свои парализованные члены. Я вовсю пускался в притворство с Проськиными девками со всей верою Дзага в добротность подобия, бутафории, иллюзии, но отсутствие Терезины в пустыне, порождаемой каждым из таких повторяющихся провалов, было столь вопиющим, что оборачивалось подлинным насмешливым присутствием.

Часто после таких моих вылазок в «болото» Терезина входила ко мне в комнату, приближалась к окну, властным жестом поднимала шторы и оборачивалась ко мне, скрестив руки на груди. Она шумно вздыхала, сморщившись в брезгливой гримасе и сурово оглядывая меня:

– Ты опять шляется по девкам.

Тогда еще не вошло в моду – надо было дожидаться Достоевского – почитать проституток за святых, принявших на себя в своем падении все грехи мира. Эта казуистика здорово упростила задачу чародеев, она дала нам моральное разрешение ввести грех в наши книги.

– Надо жить – ответил я.

Она присела на краешек кресла и застыла, прямая как палка.

– Расскажи мне все, – осуждающе произнесла она.

– Но я тебе уже рассказывал в прошлый раз. . .

– Кого ты взял сегодня?

– Геленку.

– Бедняжка, это, должно быть, ужасно. И с чего вы начали?

– Как с чего?

– Ты же не станешь утверждать, что это всегда бывает одинаково?

Я был обескуражен такой необъяснимой наивностью. Мой отец не слыл мужчиной, оставляющим дам в подобном неведении. Я спрашивал себя, не смеется ли ока надо мной: не страдает ли она скрытой извращенностью, быть может неосознанной? Репутация моего отца, которого в Петербурге называли «истинным итальянцем», не могла примириться с видом гусыни, напускаемой на себя Терезиной. Хотела ли она таким образом унижить мужа, хитро и ненавязчиво намекая, что он негодный любовник? Но нет, думаю, последнее соображение продиктовано скорее моей ревностью, ибо я часто неприязненно думал об отце. Но как объяснить, что она выказывала такое невинное любопытство, будучи уже два года замужем за

человеком, не отвергавшим ничего из тех радостей, что может доставить сноровка – называемая ныне техникой, – коль скоро речь идет о совершенстве в искусстве? Я не понимал, как эта женщина, сотканная из весны и тепла, могла обнаружить такое невежество в чарах, единственный секрет которых – простое следование природе?

Я описал ей некоторые детали.

– Это невозможно. Она тебе это сделала?

– Ну да!

– Это отвратительно. Слушать больше ничего не хочу.

Она вышла, хлопнув дверью. Я начал было ставить под сомнение репутацию моего отца, но однажды вечером, подходя к «болоту», я увидел могучий силуэт Джузеппе Дзага на шаткой лестнице, ведущей в не менее шаткое место. Он остановился и взглянул на меня с нескрываемой гордостью. Две растрепанные девки, еврейка Хая и незнакомая мне новенькая, в этот миг появились из-за его спины, поправляя прически и одергивая юбки. Он сказал мне по-итальянски:

– Каков отец, таков и сын. Или, как говорят поляки: яблоко никогда не падает далеко от яблони.

Еврейка, которую я взял на этот вечер, сказала, что мой отец был в постели груб, как ломовой извозчик, и доставил ей этим немало приятных минут. Следовательно, я не мог усомниться в его силе, пылкости и умении.

В то же время я не мог не замечать, что, не выказывая и тени ревности, он все же бывал раздражен в часы, которые я проводил с Терезиной. Он входил внезапно, и, когда мы были одни, он, пристально глядя на нас, усаживался в кресло; результатом было скованное молчание, которое случается, когда избегают говорить о чем-то. Отец принимался толковать о делах, а я старался слушать с преувеличенным вниманием, поскольку Терезина совершенно не интересовалась подобными вещами и не скрывала своего безразличия.

Репутация отца в вопросах астрологии была непререкаема. По большей части она основывалась на дипломатии. Я подразумеваю под этим, что, перед тем как приступить к толкованию знамений, он подолгу беседовал с придворными фаворитами, министрами, советниками, послами и курьерами, недавно прибывшими из иных стран с последними новостями; таким образом, он зачастую был способен предвидеть оборот, который могут принять события. Высокопоставленные персоны не отказывали ему в покровительстве, ибо это могло стать для них средством влияния и скрытого воздействия на решения Екатерины. Таким образом Джузеппе Дзага смог предвидеть отмену казачьих привилегий в 1770 году и объявить о неожиданном и опасном размахе, который примет бунт Пугачева. Говорю об этом, чтобы очистить память о моем отце от всех обвинений в авантюризме. То был осторожный человек, сознающий свою ответственность и ограничивший себя предсказыванием событий, заслуживающих доверия. Принятый у министров, он сумел также снискать доверие посланников, так как помогал именитым иностранцам информировать своих правителей. В обмен он получал, в обход тех, кому они были предназначены, свежие новости, что позволяло ему объявлять императрице, после тщательного изучения небесных знамений, совершенного в ее присутствии, о Декларации независимости Соединенных Штатов и об изгнании испанских иезуитов. Отец не хотел усложнять себе жизнь и некоторые предсказания, некоторые пророчества скрывал, опасаясь показать излишнюю осведомленность. Он растолковал мне, что по этой причине он не осмелился предсказать гильотину во Франции. Он ставил такт и деликатность во главу своего искусства. Можно осудить подобную осмотрительность, но, если бы он предсказал Революцию и падение Бурбонов в момент, когда ничто еще не предвещало подобного ужаса, он не получил бы ничего, кроме неприятностей. Отец обладал, что называется, политическим

чутьем.

Вспоминаю о соглашении между Джузеппе Дзага и голландским посланником господином Гаагеном. Последний был таким толстяком с красным напудренным лицом и носом, размеры которого он довольно ловко скрывал под кружевным платочком. Одетый по последней моде, обутый в высокие, до бедер, сапоги» он первым в Петербурге узнал от неведомо какого курьера о Декларации независимости Соединенных Штатов. Он явился собственной персоной, чтобы предложить новость отцу в обмен на сведения о голоде, последовавшем за крестьянским восстанием близ Казани. Он приторговывал скотом и хотел знать, стоит ли продавать овец или подождать, пока вследствие нехватки провианта поднимутся цены.

– Дайте мне новость, которую вы принесли, – требовал отец, – там поглядим.

Голландец прищурился от дыма своей фаянсовой трубки.

– Когда вы узнаете новость, я не буду вам больше нужен.

– Что бы вы ни сказали, пять процентов от прибыли – мои.

Маленькие глазки посла ошупывали лицо отца.

– Мы люди чести, я вам доверяю. – Он приосанился. – Английские колонии объявили о своей независимости.

Отец соорил недовольную гримасу:

– Это не может иметь важного значения для русского двора, тем не менее. . . Придержите ваш скот еще несколько месяцев. Цена вырастет вдвое. Весь район от Урала до Волги охвачен хаосом. Нет кормов. Вам остается только ждать.

Я присутствовал, сам того не сознавая, при зарождении нового времени и того, что теперь, в мои зрелые годы, стали называть «современным капитализмом».

Джузеппе Дзага старался всеми силами привить на русской почве западные новшества. В то время мода на механические игрушки распространилась в цивилизованных странах и достигла Московии. Лучшие автоматы привозили из Пруссии, где это искусство расцвело, как нельзя лучше соответствуя зарождающемуся духу и характеру нации. Отец открыл мастерскую в Башково, где производились механические игрушки разного размера, некоторые из них превосходили совершенством механизмов западные образцы. Я проводил в этой мастерской незабываемые часы. Я обожал внезапно оживающие музыкальные шкатулки: откидывалась крышка, человечек в увешанном наградами зеленом фраке с галунами поднимался из ее глубины с улыбкой на устах, предлагая руку маленькой светловолосой даме в платье, усыпанном камнями. Он кланялся ей, брал ее за руку, и пара исполняла несколько па под приятную музыку, затем человечек снова кланялся, выпрямлялся, нюхал табак и довольно чихал. Мы с Терезиной любили подражать манерам галантной пары: я кланялся ей, она протягивала мне руку, мы танцевали несколько тактов менуэта, затем я склонялся в поклоне, она делала мне реверанс, я делал вид, что беру понюшку табаку, и мы чихали вдвоем в то же время, что и человечек на малиновой бархатной подушечке.

Теперь, когда я пишу эти строки, музыкальная шкатулка стоит передо мною на столе. Каким-то чудом я нашел ее в старом замке Лейген в Баварии, где оставил в 1848 году, спасаясь от разъяренных студентов, обвинявших меня в том, что я поставлял Людвигу Второму «опиум литературы, разглагольствующей о счастье, красоте, наслаждении и не замечающей нищеты и страданий народа». Урок, который они мне преподнесли, оказался полезным: я понял, что студенты были правы. С тех пор я никогда не забывал упомянуть в моих произведениях о судьбе слабых и обездоленных и осудить со всею силою голосовых связок гнет сильных – это создавало моим писаниям прочное положение в литературе. Затем последовало значительное увеличение тиражей и популярности, поскольку мои книги стали читать все заинтересованные люди, коим не было числа. Для литератора очень важно суметь наладить питающую связь с

миром.

Иногда мне случается сомневаться в себе. Я смотрю непредвзято на полное собрание моих сочинений на полках собственной библиотеки и говорю себе, что нет никакой разницы между этим занятием и ремеслом моих предков – жонглеров, эквилибристов, фокусников и канатоходцев. Тогда я нажимаю на кнопочку дрезденской шкатулки. Звучит старинная музыка, пара, такая хрупкая и вместе с тем такая стойкая, оживает, человечек берет свою даму за руку, и они проделывают все те же несколько па, чтобы вскоре вновь обрести покой: тогда я вновь обретаю веру в себя и во всех чародеев от Гомера до Сервантеса, от Данте до Толстого, которые уже сделали так много и так много еще создадут великих произведений. Можно, разумеется, поменять музыку, сочинить новый менуэт, новые па, можно поменять даже фигурки танцоров, главное – сознавать, что гений, способный на такие чудеса, никогда не прекратит вдохновлять нас. Бледно-розовая кукла замирает с поднятыми руками после двух ударов в ладони, человечек нюхает табак и чихает, вот и сыграна пьеска, ничто важное не умирает, люди могут уходить успокоенными. Мне довольно этого мгновения покоя, чтобы вновь обрести веру в призвание нашего племени. Во дворе моего дома на улице Бак растут каштаны – они также играют, не прекращая, свою пьесу, осознанно теряя цветы и листья, чтобы вновь обрести их весной, все происходит с соблюдением условий, с уважением к правилам, установленным для всех раз и навсегда и, надо признать, великолепно выверенным.

Да простится мне этот интеллектуальный чих. От него прочищаются мозги,

В мастерской были представлены многочисленные образчики механических игрушек, в течение нескольких поколений приводивших в восторг аристократов, чтобы потом осесть у старьевщиков и в лавках древностей. Мастер Крениц из Дрездена присылал нам плюшевых собачек, они подавали лапу, служили, лаяли и курили трубку, кошачьи оркестры, где были флейты, и цимбалы, и даже дирижер с взлохмаченной гривой – прототип Бетховена. Он дирижировал тридцатью двумя котами в течение десятка минут, оркестр играл одну из симфоний, сочиненных самим Креницем, опередившим свое время, ибо скрежет механизма стал одним из элементов композиции. Когда музыка смолкала и маэстро, рывками повернувшись к публике, низко кланялся, Терезина слегка подбирала платье и отвечала ему реверансом. Крениц не забыл и об аплодисментах: когда маэстро приглашал свой оркестр подняться и в свой черед поклониться, все серые, черные, рыжие вставали и раскланивались перед нами.

Был в мастерской и манекен астронома: стоя на своей башне, он направлял телескоп в небо, где великолепно ограненные звезды начинали вращаться после нажатия на кнопку механизма, выверенного не менее строго, чем сама Вечность. Для любителей со слегка извращенным вкусом предлагалась казнь Анны Болейн, Марии Стюарт и прочих маленьких прелестных королев: они вставали на колени, вежливо укладывали головки на плаху под топор палача – чтобы сохранить их в неприкосновенности, ибо австрийский мастер имел доброе сердце и еще в ту эпоху изобрел хеппи-энд. Генрих Восьмой присутствовал на церемонии в позе со знаменитого портрета Гольбейна. Игрушки не превосходили и двадцати сантиметров в высоту. Я не переставая искал эту изумительную драгоценность у антикваров, и если, друг читатель, тебе случится набрести на нее, знай, что я у тебя ее возьму за хорошую цену, – если для тебя это всего лишь еще один автомат, то для меня он содержит невидимые частицы молодости.

Я не забыл ни одно из этих чудес – ни сад Эдема, ни Ноев ковчег. Сад был площадью в один квадратный метр; вокруг Адама и Евы мирно паслись малюсенькие твари. Змей был столь мал, что трудно было заподозрить его в гнусных намерениях; Терезина сказала к тому же, что Ева уже съела множество яблок безо всякого вреда для себя, пока в дело не вмешалась церковь. По ее словам, следовало одеть змея монахом и приставить ему голову Папы, патриарха Герасима или Савонаролы. Ноев ковчег был поврежден при перевозке, и всякий

раз, когда включался механизм, лев, вместо того чтобы рычать, куковал, а кукушка издавала львиный рык. Но, может быть, таков был изначальный замысел художника, опередившего свое время и предугадавшего классовую борьбу, а также изменение соотношения сил между правящими слоями общества и широкими народными массами.

Мастерская располагалась в нижней части старинного дворца Домова, скверно построенного и к тому времени уже полуразвалившегося. Часть здания была воссоздана из дерева. Отец приказал разрушить внутренние перегородки и на шахматных плитках черного и белого мрамора расставил свои самые большие автоматы; некоторые из них были в рост человека. Эти автоматы были изготовлены с большим тщанием и претензиями, чем маленькие, большая часть их не вынесла состязания со временем. Я не очень-то жаловал эту команду – есть, наверно, в природе человека нечто, внушающее неприязнь к тому, что чрезвычайно на него похоже и в то же время совершенно от него отлично. Там были янычары с вытарашенными глазами – они двигались самым устрашающим образом – и персонажи, называемые гротесками – потому, что походили на кривляющиеся статуи из итальянских гротов: евнухи, султаны, пираты, людоеды. . . Почти все двигались скверно: когда их приводили в действие, порывистость их движений сковывала воображение, вместо того чтобы помочь ему воспарить. Но одна из этих больших персон, напротив, удалась на славу. Она представляла собой Смерть с косою в руках; в ее грудную клетку было вмонтировано зеркало, отражающее лицо того, кто осматривал автомат. Внутри были спрятаны часы, и, когда они отбивали время, челюсти Смерти изображали улыбку, сопровождаемую мрачным лязгом, подразумевавшим смех.

Смерть была поставлена на рельсы длиной в пятьдесят футов, и, когда ее приводили в действие, она надвигалась на вас медленно и неотвратно. Бр-р-р. Я до сих пор вздрагиваю, вспоминая о ней. Другой превосходный автомат, творение русского мастера Козлова из Воронежа, представлял собой легендарного витязя Илью Муромца, одетого в броню, со стальной палицей и копьем: подняв руку, он вглядывался в горизонт. Но бравый витязь был создан для того, чтобы восседать на коне. А поскольку коня не было, эффект получался несколько комический: бородатый гигант, сидя на корточках, казалось, справлял нужду в уголке.

Двое русских рабочих, Кузьма и Илюшка, возились с этими манекенами под руководством вюртембержца Мюллера – отец выписал его из-за границы и теперь платил большие деньги, чтобы тот налаживал автоматы, купленные любителями, и создавал новые. Это был рыжий человек, почти прозрачный из-за своей бледности; он питал к своим автоматам, которые называл не иначе как «мой маленький народец», нежную любовь, которая, казалось, оставляла в его сердце немного места для вульгарных подражаний, выходящих из рук природы. Он провел семь лет в мастерской Фольберга в Дрездене и перенял от этого мастера искусство механика, из которого отец извлекал немалую выгоду вплоть до того дня, когда оно едва не привело нас к гибели.

Глава XXIV

Отец доверил Мюллеру настройку турецких воинов-янычар, о которых я уже упоминал. То была работа великого Креница. Рука художника придала их чертам кровожадность, приличествующую врагам истинной веры. Эти чудища располагались кругом на управляемой платформе, и после включения механизма, находящегося в центре, они начинали сходить, сопровождая каждый шаг взмахами кривых сабель. Эти фигуры были куплены князем Насильчиковым, большим любителем автоматов, обожавшим изысканно доводить дам до истерики с помощью спрятанной в блюде с жарким огромной механической крысы, внезапно выскакивавшей на стол. Не зря же высокие умы уже предчувствовали появление нового человека, для которого механизмы и вообще наука будут служить движущей силой и опорой.

Игра «в янычар» состояла в том, что приглашались несколько знакомых, один из них вставал в центре платформы. Затем незаметно запускался механизм, и кровожадные воины, движения и взмахи сабель которых были отрегулированы так, чтобы не дать прохода тому, кто захотел бы улизнуть, начинали неумолимо надвигаться на почетного гостя. Жертва вначале лишь посмеивалась, но, поскольку она не могла выйти из круга, не будучи разрубленной, а круг все сжимался, наступал момент, когда человек полагал себя приговоренным к неминуемой смерти. Было чем развлечь самых избалованных зрителей, тем более что Насильчиков слыл большим чудачком и был способен на любые безумства. 29 декабря 1772 года многочисленные гости, среди них министр Облатов, князь Голицын и прочие высокопоставленные персоны, развлекались столь утонченным способом; после первых криков ужаса своих дам гости сообразили, что машина отрегулирована так, чтобы последний шаг кукол и последний взмах ятагана не мог нанести никакого вреда испытываемому, расположенному в центре устройства. Напоследок Насильчиков сам встал в середину, настроив механизм на максимальное сближение. Янычары ожили и, свирепо вращая глазами, лязгающей поступью двинулись к ожидающему их со смехом просвещенному любителю новейших общественных увеселений. Никто так и не узнал, произошла ли какая-нибудь поломка в механизме, сам ли князь расстроил его по неумению, или чья-то преступная рука, как и предположили впоследствии, удлинила путь автоматов, но янычары не остановились на месте, назначенном им как предел.

Под насмерть перепуганными взорами собравшихся аристократов, каждый из которых сам походил на застывший от ужаса манекен, князь Насильчиков был изрублен на месте железными куклами. Когда я добавлю, что не нашли никого, кто мог бы остановить взбесившуюся машину, что пришлось послать на фабрику, будить Мюллера, привезти его, что все это время, почти полчаса, манекены продолжали рубить кровавые останки своего хозяина, вы сможете себе представить эффект, произведенный чудесной машиной, которую сама царица за несколько дней до этого события назвала «триумфом человеческого гения». Эффект сей был весьма разорителен для торговцев автоматами, и это самое малое, что можно добавить к происшедшему. Никто так и не узнал, был ли здесь преступный умысел, дело рук какого-нибудь лакея, подкупленного врагами Просвещения (или самого князя с его невинными играми). Преступление ли или поломка механизма – в любом случае впечатление, произведенное на население, было весьма сильным, и, когда Мюллер в мастерской отца привел манекены в порядок, злые языки в который раз обвинили его в «чертовщине». Патриарх Герасим науськал своих попов, те мутили народ, указывая на «слуг дьявола». Толпа разбила стекла в нашем доме и, в довершение всех бед, подожгла фабрику.

Мы были оповещены о несчастье глубокой ночью. Когда мы прибыли на место, все деревянное строение, где находились большие автоматы, было объято пламенем. Ни отец, ни я не вышли из саней, стоявших чуть в стороне, поскольку рядом толпилось сотен пять подлых людей и не было никакого сомнения в участи, которая ожидала бы «итальянского дьявола», узнай они нас. Помнится, был там и поп, весь в черном, указывавший своим крестом на пожарище, – а всякий знает, что добрый христианин, осененный крестом, способен на все. Наш кучер Ефим, не переставая креститься и втянув голову в плечи, умолял нас вернуться, ко отец совершенно невозмутимо обзревал со странным интересом волнующийся народ. Можно было подумать, что он получил только что важный урок, из которого рассчитывал извлечь большую пользу.

Он выдал наконец пророческое изречение, которое показывает, до какой степени этот великий человек даже в самую трудную минуту владел собой и был способен подняться над обстоятельствами до философических высот.

– Посмотри, сын мой, – заметил он, – вот где скрыты неограниченные возможности, истинные сокровища, новые сферы деятельности... Да, будущее за народом. Мы должны повернуться к нему лицом. Здесь пробиваются бесчисленные всходы. Великие умы бросали семена, но пожнут урожай лишь умелые руки. Народ – это будущее.

Не знаю, то ли в подтверждение его слов, то ли волею тайных, руководящих медленным ходом вещей сил, которым не пришлось по нраву столь глубокое проникновение в их игры, но будущее тут же заявило о себе, и довольно грубо, в лице огромного бородатого мужика, одетого в овчинный тулуп, который повернулся в нашу сторону и узнал нас. Он нацелил в нас кулак и рявкнул жутким басом – его воздействие на меня было столь сильным, что я до сих пор не могу слушать некоторые русские оперы, такие как «Борис Годунов», не покрываясь холодным потом всякий раз, как возвышается раскатистый голос исполнителя главной роли: «Вот они! Вот они! Бей их! В огонь демонов!»

Толпа, всегда готовая рьяно выступить за Бога и правое дело, при случае бросая в кипящую воду подвернувшихся младенцев или убивая их в чреве матери, ринулась на нас.

Мы были спасены происшествием, в котором всякий волен увидеть игру случая или перст судьбы, которая в то время еще не выбрала, поддерживать ли ей элиту или народный гнев. Часть стены мастерской уже обрушилась и догорала в языках пламени, пляшущих и сплетающихся вокруг дворца. Когда, казалось, уже ничто не могло спасти нас от костра, над толпой раздалось нечто вроде хохота, за которым последовало захватывающее дух молчание. Без сомнения, под влиянием жара механизм одного из наших лучших автоматов пришел в действие, и из пекла появился наш шедевр, вдохновленный знаменитой гравюрой Дюрера – уже упомянутая мною Смерть с зеркалом. Автомат порывистым шагом, со спокойной решимостью, как жнец, поднимая и опуская косу, начал двигаться на толпу. С тех пор я присутствовал на многих восхитительных спектаклях, у Пискатора в Берлине, у Мейерхольда в Москве, даже снял фильм с моим другом Конрадом Вейдтом в главной роли, в котором хотел передать леденящий душу эффект от рассказанной выше истории с янычарами. Но я не видел за всю мою карьеру ничего более захватывающего, чем выход Смерти с зеркалом из пожарища. Размеренным шагом двигалась она на толпу москвитов в ночи, увенчанной дымным ореолом – прелюдии стольких огненных празднеств.

Улица вмиг обезлюдела. Онемевшие от страха люди разбежались в полной тишине. Поп, бросив крест и подобрав сутану, скакал с резвостью, достойной лучших наших коз. Кучер Ефим свалился с козел и пытался спрятаться под санями.

Мы заметили, однако, что один человек остался стоять на площади напротив скелета – отнялись ли у него от страха ноги, воплотил ли он в своей персоне все вошедшее в поговорку

мужество русского народа, был ли он просто пьян – последнее, как оказалось, было ближе к истине. То был мужик с волосами, стриженными в скобу, в руке он держал бутылку горилки (предтеча нынешней водки). Смерть, дойдя до конца рельсов, остановилась перед носом у бравого москвитя. Они находились на расстоянии пол-аршина один от другого. Наш гражданин сделал тогда восхитительный братский жест: поглядев с минуту на Смерть, он протянул ей бутылку. Увидев, что Смерть не приняла предложение, мужик прикончил предложенное угощение в один глоток и бросил бутылку в пламя. Немного поразмыслив, он утер губы, после чего взял Смерть под руку, недвусмысленно жестикулируя, с явным намерением утащить ее с собой в какой-нибудь знакомый ему кабак. Сделав две или три бесплодные попытки уломать автомат, он воспроизвел непристойный жест, погрозил Смерти кулаком и ушел, спотыкаясь, нахлобучив на уши свою шапку.

Восхитительное творение мастера Креница одиноко стояло па улице на фоне пожара.

Мы смогли проникнуть внутрь фабрики, где нашли Мюллера, изрядно обгоревшего, но живого. Совершенно очевидно, что его идея поставить автомат на рельсы и направить па толпу сквозь пламя спасла наши жизни. Мы успели восстановить машину и другие ценные автоматы, прежде чем новая волна христианского гнева обрушилась на мастерскую.

Нет ничего удивительного в том, что после этой трагедии некоторые увидели в ней преступный замысел врагов дворянства и абсолютизма. Князь Насильчиков, страдая приступами меланхолии и ипохондрии, имел обыкновение подвергать своих слуг телесным наказаниям и бесчестию, чтобы не быть одиноким в своих скорбях и найти утешение в братстве страждущих. Нашлось немало оснований для того, чтобы обвинить отца и, более того, – чтобы обвинить Терезину в том, что они могли замыслить это убийство вследствие заграничного свободомыслия. Ничто, однако, в глубине России не предвещало того дня, когда поэты и чародеи приведут в действие нож гильотины, чтобы после самим принести к нему свои вдохновенные головы в ожидании витиеватого творения. Мой отец обладал, без сомнения, даром предвидения, но знал, что публика еще не готова к новым идеям. А он не любил играть перед пустым залом.

Екатерина, которую это происшествие скорей позабавило, не считала своего протеже способным на подобную дерзость, однако она сочла за благо на некоторое время упрятать нас подальше. Так мы были если не заключены, то приглашены пожить в Петропавловской крепости на Неве, откуда вдобавок мы могли любоваться прекрасным видом. Там нас приняли радушно, мы не испытывали недостатка ни в чем, и само Ее Величество снисходительно присылало нам гусиный паштет, пироги с зайчатиной и оленину с картофелем, ибо мода на вкусный клубень, сто лет назад завезенный из Германии, распространилась по всей России, так что немецкое слово Kartoffel превратилось в русскую картошку. Екатерина дорожила репутацией просвещенной монархини, приобретенной на Западе, и старалась, в той степени, в какой это не оскорбляло народных чувств, поддерживать искусства и науки.

Глава XXV

Итак, мы были приняты и размещены сообразно нашим заслугам. Отец пользовал коменданта крепости генерала барона Димича, его жену и двух дочерей, страдавших от солитера. Я воспользовался заключением в крепость, чтобы улучшить мой немецкий в компании графа Ельница, нашего соседа, арестованного за опубликование «Трактата о красоте», в котором он призывал к облагораживанию русского народа через образование, дабы исторгнуть его из безобразия и низости нынешнего положения. Приняв во внимание преклонный возраст этого господина и его высокое происхождение, Екатерина не подвергла его смертной казни, каковой подобные писания заслуживали; такая инвектива была, однако, высказана против Радищева, автора «Путешествия из Петербурга в Москву», о котором я уже говорил выше. Она объявила графа безумным и заключила до конца его дней в крепость. Чтобы убить время, отец посвящал меня в премудрости каббалы и в возможности тайных толкований, которые открывали духу то, что не имеет внешних, чувственных проявлений.

Джузеппе Дзага был доволен оборотом, который приняло дело. Уже давно ни один Дзага не сидел в тюрьме, говорил он, пора нам подновить наш герб. Он проповедовал, вышагивая перед камином, где потрескивал огонь, достойный нашего итальянского темперамента:

– Для артиста, озабоченного посмертной славой, полезно знакомство с сырой соломой каземата. Идея о необходимости страданий и гонений для творца оперится лишь в девятнадцатом веке, когда власть перейдет из рук знати в руки буржуазии. Тогда и скажут о литературе, музыке, живописи, поэзии: «Красоту нужно выстрадать». Понятно, что идея о том, что страдание может быть полезно для чего-либо, что оно должно быть поощряемо среди артистов, – свинская, но поверьте мне: в тот новый день, что скоро забрезжит над миром, ставьте на свинство – и не прогадаете.

Отец носил сюртук из черного шелка и серебристый напудренный парик, которые подчеркивали благородство его черт, единственно истинное, ибо оно отражает внутреннюю красоту, красоту души. Когда я думаю, что кто-то мог называть Джузеппе Дзага «аферистом» или даже, да простит Господь г-на Франсуа Видаля, «редким сочетанием волка, фазана и лисицы в одном лице» («Человеческая мечта и паразиты». Париж, 1836), я могу лишь презрительно улыбнуться.

Отец подошел к Терезине и положил ей руку на плечо. Этот жест, такой отеческий, вновь внушил мне невесть какие надежды, словно он освобождал молодую женщину от священных уз брака. . .

– Но эта свинская идея, что нет величия без страдания, глубины без смертных мук и тоски, идея, что нищета и заботы облагораживают, очищают и делают человечнее. . .

Терезина, со всей силой выразительности, какую она показывала на сцене, положила руку на сердце и изобразила на лице презрительный плевок из самой глубины своей венецианской души.

– . . . эта идея, созданная из крови и дерьма, примет скоро такой размах, что тюрьма, пытки и смерть будут полагаться столь же необходимыми для артиста, как бумага и чернила. Так будем же считать наше заточение способом утверждения нашего доброго имени и славы. Люди скажут, что Джузеппе Дзага пострадал душою и телом от тирании, будучи брошен на сырую солому каземата за свои идеи и приверженность новым веяниям, ибо он обогнал свое время. . .

Слуга-швед, которого комендант предоставил к нашим услугам, вошел, чтобы доложить, что обед накрыт. Мы расселись вокруг красиво убранного стола, где столовое серебро, подарок князя Нарышкина, и цветное венецианское стекло ожидало нас на белоснежной скатерти, чтобы вместить в себя фаршированного карпа и следующее за ним жаркое из кабана с черникой. Все это сопровождалось венгерским токайским, которое отец получил от князя Баграньи. Он исцелил этого благородного венгра наложением рук от болезни, которая должна была унести его несколькими годами позже.

Но лучшие минуты этого заключения, первого в моей жизни, были те, что я провел рядом с Терезиной. Можно ли вообразить более пьянящее счастье, чем быть заключенным за толстыми стенами крепости вместе с той, которую любишь? Мне случалось даже мечтать о более совершенном застенке, еще более ужасном, тесном, холодном, который вынудил бы ее, за неимением места, спрятаться в моих объятиях, где не было бы другого источника тепла, кроме моего дыхания.

Через несколько дней после нашего водворения в крепость у меня вышло столкновение с отцом, напор и, я бы даже сказал, грубость которого стали для меня первым откровением о неведомых водоворотах, тайно бушующих в расселинах того, что в то время не называли еще психикой, но по старинке – душой.

Отец и Терезина разделяли комнату, выходящую на ту, что служила нам гостиной и столовой. Однажды вечером, когда Терезина уже ушла к себе, отец засиделся со мной за партией в пикет. Он казался рассеянным и мрачным. На нем был чудесный фиолетовый домашний халат, цвет которого, в зависимости от освещения, переходил в зеленый, благодаря хитроумной добавке в ткань цветных ниток. Он снял свой парик и носил некое подобие головного убора, покрывавшего его голову на индийский манер; надо лбом он был украшен сапфиром. Никогда его облик не казался мне более нелюдимым: черты застыли в выражении жестокости, что, в сочетании с темным блеском глаз, имело вид, называемый англичанами *malevolence*; я поймал себя на мысли о яде и кинжалах Флоренции. Джузеппе Дзага, когда мы были одни, не часто надевал эти украшения, ставшие впоследствии столь популярными на эстраде и считавшиеся непременными атрибутами тех, кто называет себя факирами. Тогда они еще не вошли в употребление и всегда производили необходимое действие на наших гостей. Было как-то непривычно видеть его в этом одеянии склонившимся над партией в пикет. Я не знал, какой тайный червь грызет его, но догадывался о его наличии.

Под рукой у отца стояла бутылка ликера, из которой он обильно угощался. Он играл рассеянно и явно думал о чем-то другом. Наконец он поднялся и, не пожелав мне спокойной ночи, повернулся и прошел в соседнюю комнату. Оттого, видимо, что был пьян, он не потрудился плотно закрыть дверь. Не знаю, какой черт меня дернул, но, вместо того чтобы, в свою очередь, пойти спать, я остался на месте, наострив уши. Я не должен был этого делать, потому что был вознагражден лишь безмерным отчаянием, охватившим меня, едва я уловил первый скрип постели, первый шепот. Я никогда еще не слышал слов, доносившихся до меня, так как никогда не был в Италии, я знал язык своей страны лишь настолько, насколько меня хотели обучить ему. Мой отец занимался любовью с Терезиной с грубой настойчивостью, желая длительности и последовательности в достижении блаженства – не своего, нет, но того, которое он хотел навязать – или вырвать у своей молодой жены, что несказанно уязвляло не только мою любовь, но и мои сыновние чувства. Однако не от этого по моей спине забегали ледяные мурашки, – Терезина смеялась. Этот смех ничем не отличался в своей легкости и веселости от того, что я так часто слышал при других обстоятельствах, но теперь, когда отец пытался навязать ей ее женское наслаждение, он мне казался почти столь же неуместным и чудовищным, как оскорбления, которыми отец сопровождал свои ласки. Я сделал тогда то,

за что мне стыдно, да, стыдно еще и теперь, и в этом поступке я угадал первый признак низости, ибо есть любопытство, которое никто не имеет права удовлетворять, даже если ты произошел от многих поколений скоморохов, честь и достоинство которых так настойчиво ставились обществом под сомнение, что они решили обойтись без них. Я встал, подошел к двери и приоткрыл ее шире, чтобы видеть все.

Уже более года я посещал Проськиных пансионеров и знал решительно все о некоторых позах, где отсутствие нежности компенсируется грубостью, где невозможность разделить наслаждение с партнером оборачивается желанием унижить его и опошлить. Но я в собственной наивности полагал, что такие изыски годятся лишь для борделя, где и рай имеет привкус ада. На один момент, при их передвижениях, мне открылось лицо Терезины – и я был поражен, разглядев на нем улыбку победительницы. Четкий смуглый профиль Дзага над ней походил на клюв хищной птицы, в этот момент – пусть мне простят это выражение, ибо я очень любил отца, – он напоминал мне стервятника.

К счастью, комната освещалась лишь одной слабой свечкой и худшее, таким образом, было скрыто от моих глаз.

Я помню, как по моим щекам покатались слезы, а потом венецианская кровь взяла верх над моим обожанием и сыновним почтением и я вдруг ощутил в моей руке нож. Я, должно быть, наделал шума, потому что в миг, когда я схватил нож со стола и повернулся к двери, на пороге вырос отец. Я разрыдался, но моя рука продолжала сжимать нож. . .

Никогда еще я не видел Джузеппе Дзага, обуреваемого такой яростью, такой ненавистью. Он шагнул ко мне и вывернул мне руку, нож выскользнул и упал на плиты. Если я расскажу о том, что было после, это будет предательством по отношению к памяти отца, – когда я говорю «память», я имею в виду не мертвеца, но человека, пережившего самого себя настолько, что он стал призраком, существующим лишь в моих воспоминаниях. Слезы счастливо скрыли картину ненависти, но я явственно слышу его рокошущий голос и теперь, в другом веке, в другом мире:

– Иди трахни ее, тебе уже давно этого до смерти хочется. Иди, щенок! Ты увидишь: она не существует. Нет женщины, нет ничего – пустыня! Она даже не знает, что это значит – быть женщиной!

Он втолкнул меня внутрь комнаты с такой силой, что я упал на ковер к подножию постели. Лишенный воли, сотрясаемый рыданиями, в которых иссякли потоки мечты, я не мог шевельнуться, волны тысячи раз пережитых в воображении мгновений испустили дух под тяжестью грубой реальности.

Не знаю, сколько времени я оставался распростертым у грани небытия. Я почувствовал запах, сладость которого была мне так хорошо знакома, руки, сплетенные вокруг моей шеи, щеку, прижавшуюся к моей; я услышал звуки ее речи, где русские слова путались с венецианским диалектом:

– Ну успокойся! Все это чепуха. Когда доходит до постели, всякий становится конюхом!

Я открыл глаза. Отца не было. Волосы Терезины скользили по моему плечу. Слезы унесли с собой худшие из воспоминаний; лицо ее, вновь сроднившееся с мечтой, улыбалось мне, и я пробормотал:

– Терезина, почему ты такая?

– Какая «такая»?

– Ты знаешь. Такая.

– Это мужчины такие, не я.

– Но... но...

Она опустилась передо мной на колени, ее пальцы утерли мне слезы, и вскоре нигде не осталось соленых следов.

– Терезина, почему тебя нет?

Она встала.

– Я есть, – возразила она, – это твоего отца нет. . . Теперь иди спать. Все это – лишь. . . – И тогда она произнесла то, что я не понял тогда и не понимаю до сих пор. – Все это – лишь вытребенки знатных господ, сильных и могущественных. . . которые при этом не забывают пересчитать свои денежки. . . на том и стоят. Ну, иди же!

Едва я лег, отец вошел ко мне в комнату. Немного поколебавшись, он подошел и сел ко мне на кровать. Он прятал свои глаза, я чувствовал, что он не осмеливается взглянуть на меня. Я тоже не смотрел в его сторону, потому что не хотел, чтобы он видел в моих глазах упрек. Затем его рука нашла мою, и я почувствовал его крепкое пожатие.

– Вот беда, – сказал он по-французски. – Как подумаешь, что весь свет воображает, будто Джузеппе Дзага может творить чудеса!

Он поднялся и вышел, тяжело ступая.

Не знаю почему, он напомнил мне Дмитрия, нашего старого слугу, в обязанности которого входило гасить свечи во дворце Охренникова, – всю ночь он бродил из комнаты в комнату, чтобы удостовериться, что все огни погашены.

Меня не покидает чувство, что я не сумел как следует описать Терезину такой, какой она стоит теперь рядом, читая через мое плечо то, что я только что написал. Ее слегка вздернутый носик, видимый мне в профиль, – его можно было бы назвать «одухотворенным», если бы он так не напоминал пуговку на мордочке щенка, который появился на свет словно лишь для того, чтобы лизать ваши ладони. Глаза – янтарные блески в изумрудной воде, где по странному капризу оптики не отразилась церковь Сан-Джоржо-Маджоре. Шея, лоб, подбородок, плечи, улыбка – все это вышло нетленным из силков Времени, остановившегося и от недовольства собой изглодавшего самого себя, сломавшегося, разбившегося на куски, так что до сих пор здесь и там лежат выветренные скалы, руины замков и дворцов и прочие обломки вещей, пользовавшихся репутацией прочных, но обладавших существенным недостатком – они не были созданы из воспоминаний. Иногда я привожу Терезину к Сен-Лорану или к Куррежу, чтобы одеть ее соответственно времени, и великие кутюрье, несколько удивленные тем, как я брожу, всегда в одиночестве, по их салонам, присылают мне свои приглашения. Непросто одеть свои воспоминания по последней моде, потребуется множество примерок, но иногда мне удается подобрать один-два наряда, которые оказываются ей к лицу.

Глава XXVI

Затянувшееся пребывание в Петропавловской крепости начинало нас беспокоить. Императрица дала нам понять, что она ожидает некоторого успокоения общественного мнения, чтобы позволить отцу возобновить его мирные занятия. Невозможно высказать, сколь много внимания великая государыня уделяла искусствам и какой щедростью она привечала в России всякого, кто выказывал готовность возвращать в ее оранжереях цветы духа, расцветшие под лучами западного Просвещения.

Нашими соседями по заключению были некоторые знатные персоны, среди них – польская графиня Лесницкая, имевшая неосторожность ревновать к Екатерине своего мужа, чрезмерно, по ее мнению, используемого царицей, а также знаменитый дуэлянт Панин, подозреваемый в делах темных и кровавых. Если верить труду Морнена «Аристократы и закон чести в XVIII веке», вышедшему в 1901 году, Панин, чье великолепное владение шпагой вызывало всеобщее восхищение, был якобы членом масонской ложи «уравнителей»; ее адепты, презирающие привилегии, поклялись истребить людей, обладающих преимуществом рождения, то есть дворян. Книга Морнена великолепна тем, что в ней отсутствуют какие-либо серьезные доводы в пользу виновности Панина. Наш товарищ по заключению запомнился мне белокурый юношей, полным жизни и веселья; страсть к фехтованию владела им с такой силой, как другими – страсть к живописи или литературе. Говоря о нем, уместно будет упомянуть английское слово «спорт», ибо, по имеющимся свидетельствам, он неоднократно предлагал противникам свои услуги по совершенствованию навыков и приемов боя, прежде чем встретиться с ними на поединке. Императрица заключила его в крепость за убийство на дуэли (по ее же тайному приказу) полковника графа Рубова, отвергнутого ею любовника, ставшего слишком ревнивым и надоедливым. Панину надлежало пребывать в крепости все время траура, который государыня носила по покойному из утонченности чувств, а также из сострадания к неутешному горю графини Рубовой, одной из своих фрейлин. Офицер обладал в равной степени талантом карточного шулера, что немало позабавило моего отца, поскольку сам Джузеппе Дзага не разменивал свой дар на такие пустяки.

Должен откровенно признаться, что я начал испытывать некоторые бытовые неудобства в той скучной жизни, к которой нас вынуждали требования обитатели, нас приютившей. Нет, ничего подобного той отвратительной сцене, о которой я вынужден был, из любви к истине, здесь рассказать, более не повторилось, я даже сделал попытку затворничества в собственной комнате, но голос Терезины не переставал доноситься до меня, поскольку она беспрестанно пела, как и всегда, когда была особенно несчастна; звук ее голоса, неважно, была это песня, смех или разговор, стал для меня постоянным раздражителем, которому я не мог сопротивляться. Иногда она приглашала меня, чтобы помочь расстегнуть застёжки на платье или отыскать закатившуюся куда-то сережку; иногда она звала меня без всякой причины и подолгу с грустью в меня вглядывалась – тогда мне казалось, что это не мы заключены в темницу, а ее глаза, в которых я читал всепоглощающее желание неведомой мне абсолютной свободы. Один из ее самых близких друзей, старый слепой музыкант, как раз вошедший в моду, Иван Блохин, часто навещал ее в крепости, где, в комнате Терезины, его ждал клавесин. Я присоединялся к ним, мои пальцы уже приобрели известную ловкость, достаточную, чтобы переходить от русской виолы к итальянской гитаре, чьи напевы, казалось, прилетели из моей родной страны. Панин подружился со мной, и между нами был заключен некий плутовской

альянс после того, как мы стали свидетелями и даже пособниками одной большой любви. Дочь коменданта плаца была замужем за поручиком Фонвизеном, молодым блестящим офицером, несшим службу в гарнизоне на берегу Яика, называемого ныне Уралом; уже в течение года среди казаков бродила смута. Анночка была вся кругленькая, с короткими ножками, да и лицо ее, быть может, не несло отпечатка высокого ума. Но я был далек от легкомысленного гостеприимства маленького дома на «болоте», а голод не делает разницы между скромным капустным супом и изысканным кушаньем. К моему счастью, оказалось, что Анночка была безумно влюблена в своего далекого супруга. Она думала лишь о нем, говорила лишь о нем и доходила при одном упоминании его имени до такой степени воспламенения, что на лице ее проявлялось выражение неизбывной нежности, позволявшее догадываться о тайно проступающих капельках росы. Она подходила ко мне, впившись в меня глазами, вследствие близорукости словно подмигивающими, и, оперев на мое плечо головку бедной покинутой птички, щебетала:

– Я думаю лишь о нем, я так его люблю, так люблю. . . Если бы ты знал, как я его люблю!

Я взял ее руку и нежно пожал:

– Скажи мне, Анночка. . .

– Я отдала бы мою жизнь, чтоб очутиться в его объятиях! – Это был весьма смелый образ, ибо я не уверен, велика ли была бы радость ее мужу сжимать в объятиях мертвое тело. – Бедное мое сердечко! Мне иногда кажется, что оно вот-вот разобьется!

Я положил руку ей на грудь и счел удары ее бедного сердечка.

– Закрой глаза, Анночка, я помогу тебе лучше его представить. Я умею, я все время занимаюсь этим. Поверь мне, все Дзага – волшебники. Собери свои мысли. Представь, что это его рука трогает тебя, скользит по твоему телу. . .

Рука моя трогала, скользила. . .

– Что ты делаешь, что ты делаешь. . .

– Это магические пассы. Анночка, я помогу тебе увидеть твоего мужа. Он подходит к тебе. Ты чувствуешь? Не покидай его. . . Закрой глаза. . .

– Ой. . . да. Ой. . . нет!

– Он вернулся, вот он прижимает тебя к своей груди, он ищет свое сокровище, он находит его. Думай о нем! Думай о нем изо всех сил!

– Ой, я думаю! О, я так крепко думаю!

– Думай!

– Я. . . думаю!

Моя рука, если можно так выразиться, испытала легкое удивление при этих маневрах, так как, испробовав лишь профессионалок, я и не подозревал, что огонь может пылать при такой влажности,

– Думай!

– Я думаю! Я думаю! Мой муженек! Петя! Петенька!

– Да, это я, твой Петруша! Я вернулся!

– Входи!

– Я вошел! Вот он я!

– Ой, ой. . .

– Вот так!

– Ай!

– Ой. . . О-о-ой!

– О-о-о-о-й!

– Мя-а-а-у!

Этот последний крик исходил не от счастливого супруга, не от счастливой супруги, наконец воссоединившихся посредством моей волшебной палочки, но от кота Митьки, весьма недовольного внезапным падением двух наших тел на постель, где он мирно нежился в солнечных лучах. Я был восхищен проявлением моей чародейной власти, и мне показалось, что все мои предки, все Дзага, гордились мною. Я был лишь дебютантом, и все же мне удалось перенести из далеких южных степей нежно любимого супруга к его супруге, изнемогающей от любви.

Еще не пообтесавшись как следует в свете – а может быть, будучи слишком итальянцем, чтобы уметь молчать, – я не преминул похвастаться Панину. Что мне удалось моими чарами соединить два любящих сердца, разделенных тысячами верст. Вскоре я узнал, что Анночка грезилась о своем ненаглядном с еще большей страстью, чем я предполагал, ибо, выйдя от меня, она тут же бежала к Панину в поисках возлюбленного супруга. Панин, человек в глубине души сентиментальный, был по-настоящему тронут. У нее к ее Петьке самая возвышенная страсть. Это мило.

– Я думаю, никому не удастся разъединить двух существ, нежно любящих друг друга, – сказал я важно, пытаюсь напустить на свои пятнадцать лет вид искушенности в делах сердечных.

По истечении нескольких недель нас отчасти утомил неуголимый жар, с которым Анночка чаяла обрести своего суженого. К счастью, в правилах крепости допускалось некоторое снисхождение к значительным персонам, и мы имели право закрывать двери наших комнат изнутри.

В то время я уже много писал. Невозможность покинуть крепость лишь усиливала жажду свободы, и мое перо давало мне крылья. Писания мои не блистали глубиной, но я инстинктивно понимал, что, как бы неловки они ни были, форма зачастую подменяет глубину, и яростно работал над стилем, стараясь если не быть, так казаться, – первое условие успеха. Для начала каллиграфия, по крайности, заменит стиль, как позднее, по мере обретения мастерства, стиль даст впечатление глубины. Еще я предавался пению в дуэте с Терезиной. У меня был довольно приятный тенор, и, хотя его не достало бы, чтобы сделать карьеру в опере, он сыграл не последнюю роль в моем, осмелюсь сказать, успехе в обществе, ибо он позволил мне придавать моей интонации убедительные оттенки и вплетать в разговор нотки милой непосредственности. Искусство вращаться в обществе не может претендовать на почетное место в иерархии, но вряд ли стоит им пренебрегать. Хотя мой отец недолюбливал карточные игры, но часы и дни тянулись томительно долго, и он использовал их, чтобы посвятить меня во все тонкости, необходимые тому, кто рискует своим состоянием на зеленом сукне. Я получил от него столь добрые уроки, что за всю мою долгую карьеру никто не смог поймать меня на плутовстве. Отец внимательно изучал мои писания, и я думаю, он нашел их достаточно многообещающими, чтобы помочь приобрести все навыки, необходимые тому, кто решил встать на этот путь. Существует некий общий источник всех искусств, и я учился ловко резаться в карты и придерживать несколько там, откуда в нужный момент мог их извлечь. Джузеппе Дзага также выписал из мастерской целую коллекцию немецких замков, и я упражнялся в их открытии всеми возможными средствами, в том числе изготовляя специальные ключи, и среди них один универсальный – что было в то время много проще, чем сейчас, ибо ни замки, ни мысли еще не достигли степени сложности, характерной для наших дней.

Глава XXVII

Вскоре я заметил, что отец стал пить больше обыкновенного. Иногда он напивался совершенно пьяным и в течение многих часов сидел, уставившись в пол бессмысленным взором. Его пожирал червь сомнения в собственной подлинности – удел всякого, кто достаточно долго практиковался в правдоподобию, переодевании, обмане зрения и игре и извлек немало восхитительных эффектов из своих волшебных фонарей.

Я думаю, что в другие времена Джузеппе Дзага был бы вполне пригоден к тому, что ныне называют идеологией, политической борьбой и революционной деятельностью, и мог бы в кровопускании испытать свою искренность и убежденность. Все это воплотилось однажды в удивительную фразу, которая свидетельствует, сколь далеко может зайти магистр магии, изнуренный собственными иллюзиями, и какой жестокий разлад с самим собой он порою носит в себе.

– Нас всех надо прикончить, – бормотал он. – Настанет день, когда. . .

Этот день, к счастью, еще не настал, несмотря на несколько млечных или кровавых зорь, потребовавших столько показательных жертв, и мне достаточно бросить взгляд на полки библиотеки, чтобы вновь почувствовать себя на коне.

Не знаю, под влиянием ли меланхолии или из необходимости взбодриться и преодолеть минуту сомнения, столь опасного для нас, нуждающихся в постоянном присутствии духа, но именно здесь, в Петропавловской крепости, отец вложил мне в руки Книгу нашего племени.

Уже весна весело улыбалась нам, северное солнышко бросало на серые камни свои лучи, которые русские называют «зайчики», тогда как лед на Неве трещал, наполняя ночь глухим рокотом, всегда немного волнующим баловней судьбы, поскольку напоминает о другой безудержной стихии.

Вспоминаю с необычайной ясностью минуту, когда отец появился передо мной, – не так, будто это было вчера, следуя известному словосочетанию, но так, как если бы он стоял передо мной сейчас, когда я говорю вам об этом, и так оно и есть, хотя в этих случаях обычно говорят о привидениях; однако уверяю тебя, благосклонный читатель, вот он стоит передо мной во всей своей реальности. Если же сама эта реальность немного расплывчата, неопределенна и прозрачна, это отнюдь не ставит под сомнение присутствие Джузеппе Дзага рядом со мною, но лишь свидетельствует об истощении сердца и воображения у его сына, – так зачастую чересчур продолжительное занятие искусством мстит тому, кто посмел сделать из него профессию. Итак, мой отец все так же стоит передо мною у меня в кабинете на улице Бак и все так же протягивает мне Книгу; если же читатель, перелистав, начнет наконец себя чувствовать в окружении призраков – пусть он обвинит в этом старика писателя и его иссякшее вдохновение. Это был толстенный том, когда-то переплетенный в кожу, но переплет давно потерял окраску и плотность, будучи столь же старым, как и сама Мудрость.

– Возьми, – сказал мне отец. – Здесь все.

Голос его был тих, и в нем проскальзывали нотки почтения и чуть ли не скорби, а во взгляде, вместе печальном и нежном, угадывалась важная, застывшая серьезность – выражение, которое он готовил для деловых встреч.

– Здесь тайна, которую твой дед, Ренато Дзага, открыл на смертном одре. Нужно, чтобы твой разум и душа прониклись ею. С ней ты всегда сможешь перенести сомнения и отчаяние и навечно сохранишь улыбку нашего покровителя Арлекина. Ты почерпнешь на этих страницах

силы, необходимые, чтобы и дальше вершить наше ремесло и выпутываться из всех ловушек отрицания, из всех «а надо ли?», которые действительность тщетно будет расставлять тебе.

Я на минуту замешкался. Мне казалось, что если я подниму этот темный переплет, похожий на крышку гроба, сам Бог вцепится мне в лицо, – я не предполагал, какой еще возможен универсальный ключ. Наконец я решился. И был удивлен, что, несмотря на состояние переплета, страницы Книги, сделанные из великолепной веленовой бумаги, были свежи и чисты. Их было семь, и все они были абсолютно белыми. Никакие письма не тронули их, на них не было ни поучений, ни наставлений, ни одного знамения, ни одной вечной истины. Я вспомнил, что отец в детстве уже говорил мне о Книге, но теперь я приближался к сознательному возрасту, – не утратил ли я способности понимать? Я переворачивал страницы с трепетом душевным, и вдруг – отец не успел еще произнести ни слова – стал свет, и я понял все нестигаемое, царственное величие надежды, презиравшей все превратности судьбы, которыми веяло с этих еще никем не исписанных страниц.

– Не забывай никогда, сын мой.

У меня перехватило дыхание. Я думал о всех тех, кто был столь жестоко обманут в течение стольких лет и продолжает обманываться, потому что верит, что обрел истину, и о всех тех, кто был убит, вырезан, замучен, сожжен или кто испытал жесточайшие страдания во имя некоего окончательного слова, в то время как ничего еще не было сказано и все возможности открыты.

Я думал о всех апостолах абсолютных истин и обещал себе никогда не попадаться на самую их грубую приманку под названием «ясность». В это самое время я думаю о великой большевистской революции 1917 года, – Господь да упокоит ее душу, – из которой я сумел выкарабкаться, лишь расточая в своих книгах похвалы Ленину-Сталину.

Я закрыл книгу, и мне показалось, что чистый белый свет исходит от моих ладоней.

В эту ночь я не уснул. Мне казалось, я нахожусь у истока бесконечного путешествия. Я слышал, хмелея от скрежета и треска, как Нева ломает лед, освобождаясь от оков, я видел восстающие народы, армии, спешащие им навстречу, а потом народы, становящиеся армиями, и армии, становящиеся народом, я понимал наконец, почему человек есть плод воображения, и что его надо осмысливать, создавать и воссоздавать без конца, и что все затверженные истины – всего лишь одеяния Времени, краткие остановки в пути. Я видел в смятении освобождающейся Невы Дантона, Робеспьера, Бонапарта, Ленина, стоящего на уличной трибуне и обращающегося к народу с пламенной речью, – образ, ставший сегодня штампом, но я сумел его предвидеть в царствование Екатерины II. Тем, кто не поверит мне, пожимая плечами, кто станет рассуждать высокомерно о подтасовках шарлатана или снисходительно простит мне поэтические вольности, я скажу: мессеры, или, лучше, месье, – терпеть не могу анахронизмов, – я всегда был только скоморохом, только им. Однако я мог бы предоставить вам письменные доказательства реальности моих видений, но остерегусь, ибо если есть смертельная опасность для балагура, так это – быть принятым всерьез, и, не зная, чем закончатся ближайшие выборы в этой стране, я не имею никакого желания закончить мои дни в психлечебнице.

Никогда я еще не играл с Терезиной с такой радостью, как в это время. Я говорю «играл», потому что не нахожу другого слова, способного описать блаженные часы, когда воздушные шары счастья витали в воздухе и, чтобы запустить их, достаточно было слова, смеха, биения сердца.

Терезина каждое утро одевалась как на карнавал. Нам нужно было много веселья, красок, розыгрышей, чтобы справиться с непрерывным звоном колоколов, которые, казалось, отовсюду доносили до нас непрекращающийся стон, рожденный меж молотом и наковальней, – он навсегда остался для меня голосом русского народа.

Домино, маски, помпоны, заостренные колпаки, балаганные наряды мчались на помощь, перевозились туда и обратно, сперва на санях, потом, с таяньем снега, на коляске из дворца Охренникова в нашу тюрьму и обратно. Синьор Уголини щедро раскрыл для нас свой сундук. На постели Терезины, украшенной толстощековыми русскими ангелочками, которых она нарядила по-турецки, что, должно быть, вызвало скрежет зубовой со стороны истинной Церкви (впрочем, Терезина утверждала, что старуха давно растеряла свои зубы), – расположилась вся честная компания. Был там и Капитан с кожаным прибором, Панталоне с красным носом, синьор Пульчинелла, злой и горбатый до невозможности, Доктор с голым задом и Арлекин, конечно, Арлекин, к которому я ревновал непрестанно – такие нежности расточала ему Терезина.

Наше пребывание в крепости все затягивалось, что не могло не вызывать некоторого беспокойства, но комендант был несказанно любезен. Екатерина распорядилась: заключение, безусловно, но также и чуткость, подобающая артистам. Весь скомороший Петербург, всякий, кто рад ухватить черта за хвост, приходил развеселить нас. Турецкий театр Креммена с представлением марионеток «Карагез», наши друзья глотатели шпаг и огня, фокусники и сам Фрицци, великий швейцарский чревоушитель, были к нашим услугам. Эта веселая компания создала вокруг нас свободный мирок, где единственной заботой было не упасть с натянутой проволоки, не обнаружить содержания рукавов и не двигать губами, когда заставляешь говорить куклу, расположенную на другом конце комнаты. Здесь, в России, блеснул последний луч света из умирающей Венеции, где *commedia dell'arte* выродилась в заранее записанные и заученные диалоги, а дож бросал кольцо в лагуну, обручаясь с Адриатикой, под смех австрийских солдат.

Полагаю, однако, что истинным призванием Терезины был танец. Никогда прежде мне не приходилось видеть тело, столь же воздушное и гармоничное в своих прыжках и вращениях. Я часто танцевал с нею. От тех времен осталось опьянение, находящее на меня при звуках гитары и кастаньет, и потом, в Севилье и Гранаде, я без конца посещал выступления танцоров фламенко. Несколько цыган из тех, что привез в Санкт-Петербург Исаак из Толедо, обосновались в столице – они тоже навещали нас. Они открыли мне, что трепетные движения на месте танцоров фламенко, сдержанные, прерывистые взмахи рук и ног родились во времена рабства и напоминают движения рабов, стремящихся разорвать свои цепи.

Глава XXVIII

Мы покинули крепость в конце мая и тут же узнали о смерти моей сестры Анджелы, последовавшей от сильной простуды после охоты в окрестностях Кенигсберга. Скорбь отца была неутешной, но надо также отметить, что к ней примешивалась некая толика разочарования и профессиональной озабоченности, ибо прореха на репутации нашей семьи, претендующей на бессмертие, стала очевидной.

К счастью, вскоре из Кенигсберга до нас тайно дошли гораздо более утешительные новости. При положении тела сестры в гроб было замечено, что лицо покойной имело странный оттенок и черты Анджелы казались необъяснимым образом изменившимися. После выяснилось, что имела место подмена, тело умершей исчезло, а взамен его на смертном ложе, убранном цветами, положили большую раскрашенную и раздетую фарфоровую куклу. Можно представить, какой скандал разразился в такой помешанной на порядке стране, как Пруссия. Были допрошены с пристрастием врач и мой шурин граф Остен-Сакен. Первый, пользуясь больную на всем протяжении развития заболевания, представил все достаточные основания для констатации христианской кончины, второй в присутствии судьи и нотариуса должен был присягнуть, что он не обладал никакими извращенными наклонностями, подвигшими его к супружеской жизни с манекеном.

Доктор Каценбах был высокий крепкий детина, наделенный редкостной силой. По прошествии некоторого времени он покинул Кенигсберг и обосновался с Анджелой сначала в Брунсвике, затем в Вюртемберге. Когда спустя два года я встретил Анджелу, она раскрыла мне эту уловку, которая и по сей день считается образцом элегантности и изворотливости. Эта утонченность показывает, какую ценность мы, Дзага, придаем сохранению чести и душевного спокойствия тех, кого не можем не огорчить, но кому желали бы тем не менее помочь перенести горечь утраты.

А произошло вот что.

Остен-Сакен был безумно влюблен в свою жену, но Анджела оставалась к нему равнодушной, и, полюбив Каценбаха, она решила бежать с красавцем доктором, но так, чтобы пощадить чувства мужа, которого она уважала, и не оскорбить приличий и нравов своего окружения.

Она отправилась в Вормс, где мой дядя, называвший тогда себя фон Загге, изготовил для нее манекен, подобный тем, что он поставлял для дворов немецких князей. Сходство манекена с Анджелой было мастерски достигнуто. Вернувшись в Кенигсберг, сестра притворилась больной, и мнимая смерть ее была констатирована доктором Каценбахом; с помощью нашей служанки Карлы куклу положили на смертное ложе, а затем отнесли в ожидавшую карету и отправили в последний путь: таким образом, муж был лишен унижения видеть себя обманутым.

Когда подмена вскрылась, добрые бюргеры не преминули увидеть в этом деле следствие темных махинаций, но никто не заподозрил мою сестру. Такова правда о деле «мертвой куклы», которое наделало столько шума и которое, надо полагать, вдохновило господ Гофмана и Шамиссо на их творения, куда они щедро ввели оккультные силы, под влиянием которых якобы находился мой отец.

Я встаю также на защиту чести сестры, поскольку при других обстоятельствах она могла бы стать объектом злобной клеветы. Как правило, все хорошее быстро кончается, и вполне понятно, что Анджела скоро охладела к Каценбаху – тот оказался пентюхом, приверженным

более к трубке и табаку, чем к утонченной поэзии, которая для жизни – то же, что огонь для камина. Анджела увлеклась авантюристом Форбахом – он содержал игорный дом в конце улицы, на которой жила моя сестра. Заболеть ведь может каждый, даже лекарь, и приписывать смерть злосчастного Каценбаха некоему злодейскому напитку, поднесенному ему сестрой, было бы вызовом хорошим манерам, которые, наравне с осмотрительностью, в нашей семье свято чтились, Я могу усмотреть здесь досадную путаницу между нравами Венеции и Флоренции. Бравый Каценбах умер как последний дурак – это иногда случается с людьми, совершенно лишенными воображения. Начиная с этого обыденного события на нас начал сыпаться град клеветы.

Моя сестра выказала всю возможную скорбь, какую только требует хорошее воспитание. Она была просто поражена, когда в момент положения в гроб тела бравого Иоганна несколько самых близких среди присутствовавших заметили, что черты покойного, несмотря на несомненное сходство с обликом означенного лица, казались все же несколько искаженными; когда же пригляделись внимательно, оказалось, что хоронят манекен, ловко прикрытый цветами, чья фарфоровая плоть, хотя и высшего качества, – явно не дело рук Божьих. То была манна небесная для газетчиков – не стоит, однако, на них обижаться, ибо, чтобы продать, им нужно продаваться. Исчезновение тленного тела доктора К. стало свершившимся фактом. То, что имела место подмена, несомненно, но обвинять исходя из этого мою бедную сестру в преступлении и утверждать, что подмена была совершена потому, что признаки отравления стали проявляться во всей своей очевидности на лице подлинного трупа, настолько чудовищно, что на подобное способны лишь чудовища.

Я знаю, что моя сестра в высшей степени обладала уважением к неприкосновенности личности ближнего и той деликатностью чувств, которая заставит иного скорее убить, чем поставить кого-то в затруднительное положение, и она сочла бы безжалостным поступком ранить Иоганна до глубины души, грубо бросая его. Как и множество возвышенных идеалистов, она, дай ей право выбора, предпочла бы оскорбить действием тело, но не душу. Я подозреваю, не здесь ли кроется причина резкости и даже жестокости, свойственной молодым любовницам, столь разительно отличающихся от их трепетного отношения к оставленным мужьям.

Стоит добавить, чтобы решительно положить конец клевете, претендующей на звание исторического факта, что невиновность Анджелы в скором времени была удостоверена публично. Будучи обвиненной несколько лет спустя в том, что отравила этого пройдоху Форбаха, она была оправдана после того, как ее адвокат доказал, что последний, погрязнув в долгах, бежал, преодевшись в женское платье, что следует из того, что его тело так и не было обнаружено. Первые следы яда, которые врачи обнаружили на его лице, говорят лишь о том, что, прежде чем бежать, он пытался свести счеты с жизнью. Искренность сестры на протяжении всего процесса совершенно убедила судей.

Анджела Дзага написала впоследствии несколько очаровательных книжек для детей и стала известна под псевдонимом Матильда фон Сарди, благодаря авторству множества любовных романов, которыми она украсила досуг светского общества; в них находят замечательное знание человеческого сердца.

Мы были счастливы вновь обрести наш дом на Мойке и возобновить привычное течение жизни. Отец счел, однако, благоразумным частично приостановить некоторые свои занятия, ибо, если в конце века, просвещенного философами, обвинения в черной магии больше не приводили на костер, в моду вошло новое слово, как нельзя лучше соответствующее духу времени, прогрессу и нравам эпохи, – «шарлатанство». Если вас не за что было подвергнуть казни огнем, от этого льды Сибири не становились привлекательнее. Не стоило сбрасывать

со счетов и врачей, немецких и английских, которые со все возрастающей яростью выступали против вторжения того, кого они называли «итальянским шарлатаном», на застолбленные ими участки. Отец ограничился лечением того, что по-французски тогда называли «дурным расположением духа» и впоследствии в русских словарях получило определение «душевная болезнь».

Его самым знаменитым пациентом стал князь Нарышкин; метод лечения, который использовал отец, а также случай исцеления больного был упомянут в письме Лу Андреас-Саломе к Рильке как пример «преднауки», а Фрейд отметил сии первые шаги своего искусства на конгрессе по психоанализу в Берлине в 1901 году.

Случай с князем Нарышкиным стал печальной иллюстрацией варварских нравов, преобладавших в России перед воцарением Екатерины Великой. Царь имел обыкновение, когда кто-нибудь из придворных смел вызвать его гнев или просто ему не понравиться, издавать официальный декрет, или указ, где по всей форме объявлялось, что с такого-то числа означенный господин должен считаться сумасшедшим. Утверждают, что этот метод до сих пор практикуется в Советском Союзе в отношении некоторых поэтов, писателей или иных несчастных последышей из племени чародеев, когда они входят в немилость. Результатом подобного «указа» было – в случае князя Н. – то, что несчастный придворный, попавший таким образом в опалу, должен был отныне исполнять обязанности шута и таковым считало его все царское окружение. Дворянин, низложенный в ранг шута, был обязан переносить смеясь самое скверное обращение, любые оскорбления, пинки, пощечины и прочие низости. Князь Нарышкин был вынужден переносить подобные унижения в течение двух лет, пока Екатерина, с помощью пяти братьев Орловых, Преображенского полка и пятидесяти тысяч войска, не двинулась на Петергоф и не низложила своего мужа, который был задушен три месяца спустя Григорием Орловым. Его смерть приписали геморрою. Отец пустил тогда в обращение словечко, подхваченное затем Дидро, – его отголосок можно найти в письме к Софи Воланд: «Царь был задушен при посредстве геморроя».

Но и после возвращения ему всех чинов и наград князь Нарышкин не смог отвыкнуть от унижения, которому он подвергался в течение нескольких лет. Надо сказать, что и весь вид его был несколько комичен. Это был пухленький человечек, слегка пришибленный, его большая круглая голова непрерывно покачивалась из стороны в сторону, так что невольно хотелось помочь ему ее отвинтить, а его вытаращенные глаза, в которых, казалось, навеки застыл ужас, вращались в орбитах, как мошки, попавшие на жаровню и бесплодно пытающиеся оттуда выбраться. Он сильно косил, что отнюдь не добавляло приятности его взору.

Он был настолько подавлен, что не мог перестать играть роль шута, хотя указ Екатерины объявил официально, что он отныне освобождается от «безумия». Посреди обеда, сидя на месте, причитающемся ему по знатности его рода, он вдруг вскакивал и выбегал в центр зала. Там, под озадаченными взглядами князей и послов, он садился на корточки с лицом, на котором застыло выражение испуга, внушенного ему неодолимой внутренней силой, жертвой которой он стал, и кудахтал, подражая движениями головы и взмахами ресниц курице, снесшей яйцо, – развлечение, особенно любимое Петром III, заказывавшим его по несколько раз на дню. В другой раз, беседуя с английским послом о заключении мира с Пруссией или о последних одержанных русскими войсками победах в войне с Турцией, он вдруг принимался лаять, служить, требовать сахар, вилять задом, как собака – хвостом, после чего со всей серьезностью, нисколько не отклоняясь от нити разговора, снова включался в беседу.

С самого своего возвращения в достойное состояние Нарышкин метил на пост министра иностранных дел; императрица понимала, что его гримасы и кривлянья – не что иное, как болезнь вроде пляски святого Витта, и что точность и прозорливость его ума остались непо-

врежденными, но даже для Екатерины было трудно назначить министром и усадить за стол заседаний Совета столь одержимого недугом человека. Какое мнение могли о нем составить, когда некая внутренняя сила поднимала его из-за стола и заставляла бегать вокруг на четвереньках, обнюхивая ножки стульев и задирая ногу – жест, который мог показаться забавным лишь царю, не ведавшему в жизни ничего приятнее, чем атмосфера прусской кордегардии? Отец исцелил князя Нарышкина. Лечение магнетизмом, как говорили тогда, или гипнозом, как сказали бы позже, не было единственным методом, который он применил. Он очень хорошо понимал, что автоматическая реакция шутовства вызывается у князя страхом отеческого наказания. Царь в русском просторечии часто именуется «батюшка отец», следовательно, пациента надо избавить от страха перед гневом Отца.

Описание сеансов было опубликовано г-ном Ксаверием Керди в Лозанне – но сей достопочтеннейший швейцарец, кажется, не сумел оценить в должной степени все то, что было нового, смелого, прямо-таки революционного в методе, примененном Джузеппе Дзага. Идея воспользоваться портретом Петра III, чтобы изготовить восковую личину, воспроизводившую с точностью кошмара облик государя, и нарядить царем, нацепив на него маску нашего повара Пушкова, может показаться сегодня хитроумной, не более того; чтоб лучше ее оценить, надо перенестись в то время. Понятия психического освобождения и воздействия на психику были тогда совершенно неизвестны. Равно как освобождающее святотатство, профанация, совершающаяся для избавления от авторитета, были не только совершенно неизвестны, но и очень опасны для того, кто осмелился бы ими оперировать. Фальшивый царь, в свою очередь, преображался в шута, и князь освобождался от своих страхов, заставляя Петра III лизать свои сапоги, изображать наседку, с лаем носиться на четвереньках и мочиться на стену, задрав ногу.

Лечение продолжалось несколько месяцев, и князь был совершенно исцелен, У него остался единственный тик – короткий горловой смешок, который к тому же был прописан ему отцом, поскольку происходил теперь всякий раз, когда Нарышкин представлял себе царя, и был превосходным лекарством. Лев Нарышкин не стал министром, но во многом благодаря его воле был основан Московский университет. Это был умнейший человек, как я уже говорил, и, несмотря на то что он подарил отцу пятнадцать тысяч рублей, он всегда немного не доверял Джузеппе Дзага. Однажды он сказал отцу:

– Вы мне очень дороги, душка, но за вами нужен глаз да глаз. Если вам придет в голову применить ваш метод для лечения черни, мы все закончим наши дни на эшафоте.

Отец, каковы бы ни были его сокровенные мысли, не стремился быть в этой области впереди своей эпохи и смог найти подходящее к случаю слово.

– Поспешись – людей насмешишь, – произнес он.

Стоит ли напоминать, что и по сей день в советской России принято объявлять официально и по всей форме, что такой-то писатель или гражданин, потеряв благосклонность властей, должен считаться сумасшедшим, и что метод освобождения, изобретенный отцом, называемый «неуважение» и «неподчинение», там столь же опасен сегодня для того, кто рискнул бы применить его на практике, как и во времена штатных шутов.

Глава XXIX

Уже несколько месяцев несметно богатый помещик Иван Павлович Поколотин слал моему отцу подлинные мольбы о спасении, составленные из трогательных, восхищенных и льстивых фраз; знаменитого целителя приглашали приехать, чтобы излечить «великую тоску», которая гложет страдальца. По его словам, дни его были сочтены, ибо «меланхолия усиливается с каждым днем и лишает день – света, а ночь – сна». Он предлагал отцу двадцать тысяч рублей, если тот согласится прибыть в удаленную губернию и вернет ему вкус к жизни. Это была по тем временам огромная сумма – крепостной крестьянин, или «душа», как тогда говорили, стоил всего сто двадцать рублей.

Владения Поколотина располагались в Оренбургской губернии, дорога туда заняла бы не менее трех недель. Отец пригласил своего корреспондента приехать на консультацию в Санкт-Петербург. В ответ пришло еще более жалостливое письмо. Поколотин утверждал, что тело его не вынесет путешествия. Мы были весьма удивлены, когда отец вдруг согласился отправиться в Пряниково.

Джузеппе Дзага решился предпринять эту опасную авантюру вследствие некоторого охлаждения со стороны двора, вызванного исцелением князя Нарышкина, вернее, способом, которым оно было достигнуто. Петр III был свергнут и задушен, но это было внутреннее дело властей, и никто не должен был в него вмешиваться. Екатерина была достаточно проницательна, чтобы предвидеть, что отцовский метод – «неуважение» (теперь говорят – «десакрализация») мог представлять опасность для дворянства и самого престола.

Во дворец Охренникова было нанесено несколько «визитов», и были обнаружены книги Вольтера, Руссо и Дидро, запрещенные в России, где только Екатерина и высшие сановники имели право ими наслаждаться, ибо считали себя единственно способными судить, насколько благопристойны были эти игры разума, созданные лишь для развлечения.

Отец счел за благо несколько отдалиться от государыни. Ему было понятно, насколько опасно для чародея обмануться в публике. Если бы двор рассудил, что, вместо того чтобы добиваться расположения князей, он принялся искать его у черни, нас не преминули бы достигнуть крупные неприятности. Он решил принять приглашение Поколотина, и в разгар лета, 10 августа 1773 года, весь наш табор пустился в путь. За каретой хозяев следовали две коляски со слугами, одеждой и реквизитом, с которым мой отец никогда не расставался в странствиях, полагая, что невозможно предугадать, на какие уловки ему придется пуститься. Отец ехал с Терезиной, я разделял кибитку с Уголини. Наши ночевки доставляли мне огромное удовольствие; поскольку гостиницы были ужасны, мы были экипированы со всей предусмотрительностью странников, мне нравились языки огня, лизавшие мрак, крестьяне, приносившие нам кур и яйца и часами стоявшие перед нами, внимательно рассматривая роскошные шатры и дивясь на наши странные привычки. Терезина играла на гитаре и пела венецианские песни на освещенной светом звезд русской равнине. Уголини листал старые газеты, которыми снабдил его итальянский посол. Мы располагались на подушках, разбросанных поверх красно-черных бессарабских ковров. Иногда из мрака выступали конные казаки в папахах, надвинутых на брови, они приезжали по трое, по четверо и не спешили; когда же им подносили по чарке, они испускали удивленные крики или разражались смехом, попробовав тонкие ликеры, так мало подходившие для их луженых глоток. Отец доставал иногда из кожаного футляра зрительную трубу и погружался в созерцание алмазных россыпей, которыми летнее небо

было украшено с роскошью, достойной восточного сатрапа. Воздух был нежен и сух, в нем угадывался аромат сжатых хлебов; невидимые стада кочевали под перезвон колокольцев, казавшихся отдаленными, даже когда они начинали позвякивать рядом. Кругом разливалось кровавое зарево горящих трав, подожженных для улучшения почвы. Мычание коров, бляенье овец придавали необъятной степи успокаивающий домашний уют. Наши слуги засыпали первыми – бесхитростные души более чувствительны к усталости, чем к поэзии. Народу еще нужно многому научиться. Была пора падающих звезд, и я спрашивал себя, отчего это они выбрали для падения тот же месяц, что и созревшие плоды. Лежа на спине, я растворялся в небе, прогуливался по Млечному Пути, взбирался на загривок Большой Медведицы, навевался на Сириус, сгребал ногой бесчисленные безымянные звезды, своим скромным блеском не заслужившие собственного имени; я подносил их к уху, чтобы послушать их рокот, как это делают с раковинами, жонглировал Кастором и Поллуксом, созвездиями, не внушающими доверия из-за их плутовского нрава. Я засыпал, мечтая, а пробуждаясь и видя, что сверкающий ковер, вытканый с таким тщанием для привлечения зевак, исчез, начинал спрашивать себя, в каком закутке небесный Дзага, дававший в вышине свое представление, прятал свои роскошные декорации, и туман воображения не выветривался из моей головы. Потом я вновь обретал чувство обыденной реальности, сопровождаемое, однако, яичницей, блинами с медом, кукурузными лепешками с вареньем и чаем из огромного серебряного самовара с выгравированной на нем герцогской короной – его изготовил для отца великий ювелир и поставщик всех русских самоваров нижегородец Иван Трофимов.

Моей первой заботой при пробуждении было бежать в шатер Терезины и объявить ей, что завтрак подан, – и это было лучшее время дня, ибо ее тело обдавало меня пьянящей волной сонного жара. Ее лицо в необъятном ореоле волос, волнами сбегавших на подушку и затопивших ее целиком, открывалось мне как бесценный подарок дня в том море женских ароматов, о которых земля, поле и луг могут лишь бесплодно мечтать до окончания времен. Она была счастлива, ибо ничто не отвечало столь полно ее натуре и ее бродяжьему духу, как *дорога*. И теперь, стоит мне закрыть глаза, я вновь вижу карету, проезжающую по зачарованным лесам и по дорогам Франции, Италии, Германии, давно уже утратившими столь дорогой моему сердцу вкус пыли: Терезина сидит внутри, и моя мечта никогда не осмелится открыть дверцу – я всегда был предельно строг в передаче реальных событий и теперь боюсь, несмотря на всю подробность моего повествования, никого не обнаружить внутри. Я всегда с большим удовольствием встречаюсь с цыганами и с замиранием сердца останавливаюсь перед их повозками, но и в них я остерегаюсь входить: надо соблюдать осторожность в обращении с действительностью, иначе вас может ожидать неласковый прием. Иногда три моих цыганских друга Ивановичи, угадав, что мне не хватает мечты, приходят навестить меня и часами наигрывают свои мелодии – не итальянские, но так много говорящие мне о той, что тоже не была цыганкой; мне кажется, что о Терезине сложили песни все народы мира.

Мои отношения с отцом обрели прежнюю почтительность. Не знаю, смирился ли он со своим поражением или утешился тем, что существуют скрипки, из которых ни один виртуоз мира не сумеет извлечь мелодии. Он отпустил бороду, что еще не стало обыкновением в аристократической среде, – она придавала, не знаю почему, его чертам суровость и твердость, напоминавшие об Испании – стране, влияние которой еще только начинало сказываться. Отмечу попутно, что мой отец хорошо знал Лопе де Вегу и Кальдерона, и хотя некоторые даты тогда показались мне несколько странными, я отношу свои сомнения на счет быстрого взросления – я пребывал тогда в возрасте, когда, оставив волшебные леса детства, я еще не обрел собственного таланта.

Лица венецианцев, может быть, оттого, что на них наложили свой оттенок Восток и

Запад, способны меняться при малейших изменениях освещения, они также принимают, в зависимости от рода деятельности, то выражение ясности, то – загадочности: мне казалось, отец подолгу колебался, прежде чем выбрать себе образ, соответствовавший состоянию его души или настроению публики, расположение которой он должен был завоевать. Когда мы ехали по степи, мне помнится, он принял обличье испанского гранда, может быть, потому, что, удаляясь от столицы, где его ремесло было слишком известно и не позволяло ему быть со знатью на равной ноге, он пользовался возможностью беспрепятственно выбирать для себя роли и, так долго заставляя мечтать других, теперь дал себе возможность немного помечтать самому.

На подступах к Балконску цыганские таборы, столь многочисленные в округе, послали к нам кошевого с подарками – ведь отец выговорил для этого братского нашему племени народа право разбивать свои шатры по всей России; в течение долгого времени указ Екатерины носил наше имя, цыгане называли его «дзагар».

Никогда я не был столь счастлив, как в эти долгие недели, когда дни и ночи сменяли друг друга в щедром тепле и земля приобретала к вечеру тот аромат, в котором смешиваются глубинная сокровенность переплетенных корней, обласканных солнцем, иссушенных растений и созревающих семян: была в этом неведомая мне зовущая пряная тайна, в которой земля воплощалась сразу в женщине, хлебе, плодах и животных. И еще – эта стремительная скачка всадников на белых конях, покрытых деревянными синими и розовыми седлами, – преследующих ли кого-то, бежавших ли от невидимого врага, или это просто был их образ жизни. Союз этих людей со степью был похож на союз птицы с небом – те садились в каком-нибудь месте лишь для того, чтобы снова взлететь. Стремительный и бесцельный бег всадников, быть может, был для них способом опьянения.

Каждое утро Терезина выходила из своего шатра «в волосах», как говорят русские старушки, и возводила глаза к небу, где все было синё – той лучающейся синевой, не перестающей удивлять меня, еще не избалованного такими волшебными проявлениями прекрасного.

– Они все уехали и все забрали с собой, даже ковры, – говорила она. – Они, должно быть, кочевники и бродяги там, наверху, и, надоев публике, тщательно убирают подмости. Было бы забавно увидеть, подняв глаза однажды утром, забытые накладные носы, остроконечные колпаки или маски Пульчинеллы. Ночь так прекрасна, что утром я всегда надеюсь найти какие-нибудь следы праздника: серпантин, дорожки конфетти или какую-нибудь усталую звезду, уснувшую и не разбуженную в срок, не успевшую скрыться. . .

Однажды утром, когда весь мир еще спал, а солнце, пролив первые бледные волны на землю, еще не разбудило ранних птах, когда все, включая жаворонков и насекомых, были зачарованы тишиной, я покинул свое ложе, влекомый зовом крови, что отдает первые часы дня в самодержавное подчинение молодости, но не в надежде совершить то, что, почитая своего отца, счел бы оскорблением священных законов нашего племени, нет, я вошел туда, чтобы примоститься в углу на земле и слушать ее дыхание, которое было в равной степени и моим. Слушать, как она дышит во сне, доставляло мне необъяснимое успокоение: я подстраивал мои вздохи под ее, и мне казалось, что мы – *одно целое*. Мне случалось оставаться в неподвижности в полутьме, существуя в одном ритме с нею часами напролет, – и я чувствовал, как она живет во мне. Я мог даже, обхватив себя руками, чувствовать себя ею, выйти наконец из этого замкнутого круга, на который я наткнулся повсюду в своем одиночестве, разъятый, разлученный с собою, с истинной своей сущностью, оторванный от жизни и ее истоков, которые заключило в себя другое существо, так что подлинная жизнь становилась невозможной.

Так я жил, лишенный этой важнейшей части самого себя, которую насмешница природа наделила своей независимой жизнью, так что мне стоило больших усилий казаться живущим.

Я сидел по-турецки на ковре, прислонившись к пологу шатра, мало-помалу светлевшему под лучами разгоравшегося солнца. Я дышал Терезиной. Я видел лишь рыжее облако ее волос, тоже дремавшее; я никогда не считал ее волосы чем-то неодушевленным, это было теплое, живое существо, иногда я подставлял руку и нежно ласкал их – и тогда тысячи рыжих белок разбегались под моими пальцами. Наконец я услышал голое Терезины:

– Ты меня любишь?

Я отдернул руку – этот вопрос она не имела права мне задавать, зная, что я лишь в начале пути, у меня нет ни гения, ни даже таланта и я не смогу найти нужные слова, чтобы объяснить то, что я чувствую, и то, что еще ни один мужчина до меня не мог испытать.

– Иди ко мне. . .

Я встал и склонился над нею. Меня обдала теплая волна, в которой женское тепло и мечта столь неотделимы друг от друга, что мечта обретает плоть. Моя кровь стучала, как земля под ее каблуками. Тогда меня посетила последняя мысль отрочества: антипод смерти не жизнь, но любовь. Это была мысль подростка, ибо в ней не было ничего нового, и это была последняя мысль отрочества, ибо я продолжал жить, я на самом деле стал мужчиной и был готов создавать, отдавать и терпеть. Я почувствовал едва осязаемое прикосновение ее губ к моим, и этот скользкий поцелуй словно лишил меня тела: те несколько секунд, что он длился, я весь сосредоточился в собственных губах, потом моему телу была резко возвращена его привычная форма, и сделано это было с такой силой, что в ушах моих раздался грохот – не знаю, от копыт ли казачьих коней, скачущих по степи, или от биения моей крови.

– Нет. – Терезина подняла руки и уперлась ими мне в лицо. – Нет, я хочу жить. – Она провела пальцами по моему лицу. – Я хочу жить там, внутри. Я не хочу умирать.

– Терезина. . .

– Я хочу, чтобы ты продолжал выдумывать меня, воображал, я не хочу исчезнуть. Я хочу жить в твоём воображении всю твою жизнь.

Мои руки в отчаянии продолжали искать ее. . . Она сжала их своими.

– Фоско, умоляю тебя. Я хочу продолжаться. Мне нужен ты. Мне нужно быть мечтой.

Мне кажется, я не услышал бы ее и переломил бы свою судьбу, не войди в эту минуту отец. Я был одержим таким желанием, таким отчаянием, что мне было совершенно безразлично, что он сделает – ударит меня по лицу хлыстом, который он сжимал в руке, убьет или просто вышвырнет вон, перестав считать меня своим сыном.

Я вскочил, повернулся к нему и глянул на него исподлобья, может быть, даже с вызовом. Накануне он уехал в Симбирск к губернатору, находившемуся при смерти и жестоко страдавшему. Я не знал, что он скакал несколько часов кряду ночью, чтобы успеть точно к этому моменту. Не думаю, что это было следствием его дара предвидения, что он ревновал ко мне Терезину и не хотел оставить с нею на ночь. Он просто вернулся – вот и все.

Джузеппе Дзага был одет в белую черкеску с карманчиками для зарядов на груди – эта манера носить боевые припасы пришла к нам с Кавказа. На голове у него была папаха из серой овчины, отороченная надо лбом белой лентой. За пояс был заткнут итальянский пистолет, подарок Потемкина, – отец владел этим оружием в совершенстве. Я был так молод: в этом возрасте и смерть кажется чародейством.

Отец шагнул в угол шатра, где располагался столик с фруктами, взял с него гроздь винограда,

– Черт побери! – сказал он. – Семь часов верхом. К счастью, губернатор умер перед моим приездом – это позволило мне избежать провала.

Он молча ел виноград, не глядя на меня. Мне показалось, что я уловил в его чертах слабый оттенок насмешки. Я подождал еще минуту и направился к выходу.

– Фоско. . .

Я обернулся. Отец с явным удовольствием доедал виноград. Невероятно, в какой степени в этой своей белой черкеске он был похож на русского: я нашел потом те же черты – кроме глаз, голубых, а не черных – у одного из моих друзей, актера Ивана Мозжухина, которого я встретил в Ницце после Первой мировой войны.

– Будь любезен, скажи Степану, чтобы принес мне чаю. . . И еще, пусть поможет снять сапоги.

Я вышел. Потом, однажды поднимаясь на лифте, я понял, что талия Терезины была не столь тонка, как я думал, а бедра тяжелы, ее плотные мускулистые лодыжки напоминали о крестьянской привычке, согнувшись, ковыряться в земле. Но ее волосы – все такие же огненно-жаркие – всякий раз заставляют меня счастливо улыбаться, когда они омывают мои мысли и мою память.

Глава XXX

Мы были уже более двух недель в пути и миновали Помойск, когда нам стали попадаться многочисленные следы восстания Пугачева, до недавнего времени не принимавшегося в Петербурге всерьез. Вошло в привычку, что нужда и голод вызывают в народе молниеносные вспышки гнева, за которыми, после нескольких отрубленных голов, вновь устанавливается порядок.

Бунт казаков, к которому примкнули многочисленные орды татар, башкиров, чеченов и калмыков, по своему размаху не мог быть сопоставлен со вспышками народного гнева, ему предшествовавшими. Военные, попадавшие нам на пути, курьеры, раненые и офицеры, направлявшиеся к месту службы, клялись нам, что бедствие на сей раз было ужаснее, чем недоброй памяти чума в Москве. Кровавый вал откатился на юг, и репрессии в деревнях, сдавшихся лжецарю-«освободителю», по своему размаху обещали всему этому краю долгие годы затишья. Но воздух был пропитан смертью.

Не знаю, было ли это сделано умышленно или по небрежности, но мы натыкались то тут, то там на отрубленные руки и ноги, а то и на все тело, от которого хищниками были отхвачены лучшие куски, попадались и головы казаков, молодецки насаженные на пики.

Повсюду видны были кости, вымытые из земли дождями ранней сырой весны и тщательно очищенные летним солнцем. Это нельзя было назвать приятным зрелищем, и наш кучер непрестанно погонял лошадей. Чтобы развеять мрачные впечатления, я брал гитару, отец запевал, и, поскольку Терезина сидела не поднимая головы, только откидывая рукой пытавшиеся щекотать ее погрузневшее лицо волосы, мы приглашали слуг присоединиться к нам, и я не слышал ничего смешнее, чем то, как бравые Парашки, Ивашки, Симки старательно выводят хором наши итальянские куплеты.

Гостиницы были ужасны.

Макароны, называемые в этой стране лапшой, не состояли даже в отдаленном родстве с гениальным изобретением нашего народа, мало-помалу впитавшего извилистость и гибкость, присущие этому продукту. Отец захватил с собой порошок от насекомых, но грязные постели, тяжелая пища, отчаяние людей, мечущихся между бунтом, нищетой и репрессиями, заставляли меня более, чем когда-либо, мечтать об Италии. Венецианский праздник отдалялся, исчезал, словно убегая от горя всех этих подавленных людей, так что невозможно было поверить в карнавал: даже Уголини, захвативший-таки с собой свой драгоценный сундук, не осмеливался достать из него волшебные костюмы. Он опасался, что господа Арлекин, Панталоне, Пульчинелла и прочие синьоры, наделенные величайшим легкомыслием, будут скованы изголодавшейся, удрученной горем публикой и не пожелают материализоваться в стране, где лишь жестокость вызывает смех. Бедняга Уголини не мог перенести зрелище стольких зверств в сочетании с подобной нищетой, ему случалось даже сомневаться, говорил он мне, не была ли Италия сказкой, которую рассказала ему кормилица на русской равнине, чтобы сделать жизнь хоть сколь-нибудь сносной.

У некоторых встречаемых нами крестьян были вырваны ноздри – отметка бесчестья, оставленная тем, кто примкнул к мятежу. В гостинице близ Рязани мы познакомились с неким помещиком: Пугачев приказал отрезать ему нос и уши, а после заставил беднягу их съесть. Его сопровождал священник, ибо, повредившись в рассудке, тот обвинял себя в каннибализме. Поп старался его успокоить, объясняя, что людоед суть человек, поедающий других, но никак не самого себя.

В гостиницах много говорили о благородных дамах, изнасилованных и вследствие того потерявших рассудок. Отмечу, что, как свидетельствует мировая литература, всякая изнасилованная аристократка считает своим долгом сойти с ума – видимо, это у них почитается за признак хорошего тона.

Да не осудят меня строго, если я скажу, что средства борьбы с безысходностью и ужасом, сопровождавшими нас на всем протяжении поездки через разоренные области, мы в полной мере черпали в источниках нашего скоморошьего искусства, и да поверят мне, что не было ни цинизма, ни равнодушия в том, что, проезжая рядом с виселицей, на которой еще покачивались трупы восставших, которые, видимо в назидание, было запрещено снимать, мы брали в руки наши гитары и принимались петь. То была наша манера «держать удар», как говорят в народе, и, кроме того, заявить о своей вере в будущее жалкого рода людского, столь же склонного к добру, как и ко злу.

Но наши гитары и наши песни были слишком слабым оружием в этой неравной борьбе.

Первой сдалась Терезина: она разразилась рыданиями, увидев, как в деревне Кошкино дети играли в мяч головой знаменитого атамана Пройкина. Что до Уголини, то он невольно помянул Господа Иисуса Христа, добавив новый персонаж в *commedia dell'arte*. Тогда отец приказал ему достать костюмы из сундука. Терезина, одетая Коломбиной, отец – Капитаном, Уголини – Бригеллой, а я, Фоско Дзага, – Арлекином, – три дня мы колесили по азиатской степи. Действительность нам теперь казалась более жестокой, чем все кровавые легенды, зародившиеся здесь. То была робкая, но все же довольно смелая попытка передового отряда венецианского карнавала открыть путь на Восток, предприятие еще более дерзкое, чем авантюра Марко Поло, и я нисколько не стыжусь наших песен, наших гитар и наших кривляний перед виселицей, ибо человеческое достоинство выучилось смеяться там, где его столько раз заставляли плакать.

Нам случалось встречать в пути некоторых предводителей восстания, плененных армией генерала Михельсона: их перевозили на телегах в деревянных клетках прикованными цепью, один конец которой за кольцо был продет в нос пленника. Никогда мы так не гордились своим званием детей карнавала, как теперь, лицом к лицу с подобным зверством. Наше достоинство скоморохов было задето, ибо это недостойное зрелище ставило под сомнение доверие и уважение, которое мы испытывали к нашей публике. Так мы встретили близ Тверска одного из ближайших сподвижников Пугачева, предводителя казаков Петуха, с кольцом в носу. Поведение моего отца, поклонника Эразма, стоило нам объяснений с офицером охраны. Отец, конечно, не был понят, но я, его сын, сохранил к нему за этот поступок бесконечную признательность, ибо им Джузеппе Дзага объявил, что он избрал новую публику, и ясно показал, в каких сердцах и в каких утробах племя Дзага отныне будет черпать вдохновение.

Отец остановил нашу карету, спустился и прошел вокруг повозки, которая перевозила под рогожей весь наш реквизит. Затем он вернулся к клетке бунтовщика. Место, где кольцо пронзало его нос, загноилось, и эта рана, расположенная так близко к мозгу, должна была причинять ему ужасные страдания. Отец улыбнулся казаку, отступил на шаг и продемонстрировал ему свои пустые ладони, как это проделывают на сцене все иллюзионисты. В следующее мгновение из его рук выпорхнул и взлетел в небо белый голубь, за ним последовал еще один, за ним – еще.

На искаженном лице казака появилось выражение безграничного удивления, и потом – он улыбнулся отцу. То была улыбка сообщника. Он понял.

Офицер сопровождения сделал нам строгий выговор, но было уже слишком поздно, будущее уже было провозглашено.

Чтобы избежать немилости генерала Мансурова, в чьи обязанности входила «очистка»

деревень, крестьяне располагали на заборах, окружавших их избы, отрубленные головы бунтовщиков. Они их подбирали или отрубали сами у повешенных: то был едва ли не единственный урожай, собранный во всей округе. Изгороди, украшенные таким образом, должны были свидетельствовать о лояльности к короне. Большинство казачьих поселений последовало за Пугачевым, другие дрожали за свои шкуры, и ни для кого не было секретом, что эти бедняки при приближении регулярных войск стремились любыми средствами раздобыть головы. Офицер Вольского полка, составивший нам компанию за обедом, рассказывал, смеясь, что он видел настоящие рынки голов в слободах, куда их свозили с полей и сбрасывали на землю, между свиньями, овцами и лошадьми.

Я счел бы себя неискренним, если бы не признался, что зрелище этих мертвых лиц, украсивших изгороди, стало для меня много позже источником вдохновения, из которого я извлек эффекты, благосклонно принятые критикой, для некоторых театральных постановок, в частности «Разбойников» Шиллера, пьесы, которую я поставил у Вахтангова в 1922 году в Москве.

Я должен, наконец, добавить, чтобы закончить эту скорбную главу – в другое время я опустил бы ее, шадя чувствительность моих читателей, но нынешняя публика весьма взыскательна, – что в некоторых поместьях, избежавших разграбления, местная знать не подавала примера достойного поведения, как то приличествует благородным сердцам перед лицом варварства. На лужайке перед прекрасным поместьем Павлова-Орехина, выстроенным во французском стиле, мы стали изумленными свидетелями игры в кегли, где шаром служила голова знаменитого Пузова, одного из трех первых вождей восставших яицких казаков. Сие недостойное действие было тем более удручающе, что все общество очаровательных дам и галантных кавалеров изъяснялось по-французски, – это показалось мне оскорблением языка, на котором было выражено столько благородных чувств и возвышенных идей. Мы прибыли к месту назначения в первых числах сентября. Имение Поколотина оказалось приятного вида зданием, небольшим по размеру, так как не насчитывало и тридцати комнат, но устроенным на итальянский манер и расположенным в центре необъятного фруктового сада, плоды которого в апофеозе осенней зрелости обещали роскошество пиров Гарун-аль-Рашида. Мы были встречены необычайно тощим человеком, чьи руки и ноги скорее напоминали щепки, зато ладони были широки чрезвычайно: его торс после утомительно длинной шеи неожиданно завершался головой, слишком мелкой в такой компании; пара ушей, украшавших эту голову, располагалась на ней словно для целей навигационных, на манер парусов. В руках он держал скрипку и смычок. Он сказал нам, тяжело и медлительно подергивая веками в кожаных складках, что Иван Павлович Поколотин ждет нас, что грусть его безмерна и он имеет большую нужду в развлечении, ибо развлечение, по всей медицинской премудрости, как раз то, чего более всего не хватает его измученной душе. Отец сухо попросил доходягу напомнить своему хозяину, что он прибыл из Петербурга, чтобы лечить его, но никак не развлекать, и велел проводить в предназначенные нам комнаты. Сие было исполнено. Едва мы успели переодеться с дороги, как слуга в красной рубахе и синих широких штанах принес нам приказ явиться к его хозяину.

Мы очутились перед человеком, в точности воплощавшим мои представления о Нероне, почерпнутые у Тацита. Жирное, влажное, белесое тело, мутный подозрительный взгляд, капризно надутые губы: одетый в засаленный халат, он развалился на постели в компании трех догов, которые накинута бы на нас и, верно, нанесли бы нам немалый урон, если бы слуга не попридержал их. . . С высоты своего ложа, без малейшего намека на вежливое обращение, Поколотин, набивая свой зловонный, полный гнилых зубов рот чем-то вроде печени, бросил отцу:

– Ну, итальянская морда, развлекай меня.

Нам немедленно стало ясно, что мы проделали три недели пути лишь для того, чтобы оказаться перед одним из русских варваров, отставших на столетие, а то и на два и сохранивших обычаи и нравы времен Ивана Грозного. Наш хозяин, если так можно было назвать эту жирную тушу, одушевленную жалким разумом, решительно видел во всяком итальянце ярмарочного гаера, обезьянничающего за пригоршню медяков. Умоляющие же письма этого грустного господина, жертвы всех возможных отклонений природы, были не чем иным, как хитростью, предпринятой для того, чтобы заманить нас в этот медвежий угол. Позже мы узнали, что Поколотин не умел ни читать, ни писать и письма, которые мы получали, писала одна из его любовниц, несчастная женщина, пришедшая в состояние, близкое к умопомешательству, после исполнения омерзительных услуг, которых этот негодяй требовал от нее каждое утро.

Дни, последовавшие за нашим прибытием, с трудом поддаются описанию. Кровь приливает к моей голове при воспоминании о бесчестиях, которым мы были подвергнуты. Никогда еще великий артист не был принят с таким полным пренебрежением к священному характеру его призвания. Отец, человек редкостных дарований, всю жизнь сражавшийся за то, чтобы возвести на почетное место в обществе тех, кто расточает человечеству свои чары, способствующие подъему душевных сил и украшению бытия, был дико и цинично унижен этим русским монстром, не видевшим в духовных запросах ничего, кроме отказа шута исполнять свои обязанности. Он требовал полного повиновения и немедленного удовлетворения своих глупых капризов так, словно в нем воплотились все прошлые, настоящие и будущие тираны, когда-либо угнетавшие носителей Послания, как Юлиан Кастильский называет служителей муз. Этот боров был в некотором роде предтечей, ибо только, может быть, Сталин смог так, как он, унижить и ошельмовать наше племя. Все, что этот апокалиптический кровосос, избежавший воплощения в своем истинном, зловонном образе лишь вследствие непостижимой ошибки природы, – все, что этот гнойный нарыв требовал от нас, было: карточные штуки, кривлянье на четвереньках, фокусы, кролики в шляпе и жонглирование предметами. Поверят ли мне, если я скажу, что, когда отец отказался унизиться до таких штук и дрожащим голосом заявил, что свобода позволяет артисту отдавать лучшую часть себя и добавлять таким образом несколько новых бриллиантов в корону Красоты, которой они увенчали голову человечества, поверят ли мне, что этот взбесившийся клоп позвал одного из своих казаков и приказал ему высечь Джузеппе Дзага, обзвав его жидом, чтобы подогреть бешеную ярость слуг, привыкших с несказанной ненавистью приводить в действие кнут при одном упоминании этого слова?!

В течение пятнадцати дней с утра до вечера Терезину заставляли плясать, я должен был ходить на руках, Уголини, с лицом, обсыпанным мукой, – служить мишенью для гнилых яблок, а мой отец, гордая душа, исчерпал все до последнего известные ему карточные фокусы, до которых этот сатрап был большой охотник. Когда он садился за стол, чтобы обжираться, я должен был играть на гитаре, а Терезина – петь ему любовные песни. О наших унижениях превосходно рассказал Гоголь в переписке с Пушкиным, но я нахожу, что великий писатель придал своему повествованию легкую, развлекательную форму и юмористическую окраску, чего я не могу не оспорить, хотя я рад, что наши страдания смогли зажечь в воображении великого романиста искру вдохновения, которая явила миру великолепные человеческие – или, скорей, нечеловеческие образчики «мертвых душ».

Терезина, вооружившись ножом, клялась, что прирежет эту жирную грязную сволочь. Что до моего отца, то он, обладая утонченным умом, предполагал влить несколько капель яда в суп из капусты и свеклы, которым это живое оскорбление славного имени свиньи шумно

насыщалось в течение дня.

Бедный скрипач, встретивший нас, объяснил, что он сам был предательски завезен к Поколотину: звали его Иоганн Вальдемар Прост. В Лейпциге он был весьма уважаемым музыкантом. Послушав как-то раз его игру, я могу свидетельствовать, что это был действительно человек большого таланта. Добавлю, что он больше не смог его продемонстрировать по возвращении в Германию, ибо пребывание у Поколотина и события, последовавшие за ним, вызвали у него столь сильное потрясение, что с тех пор все члены его находились в непрерывном движении, уже не позволявшем ему держать скрипку. Он умер, если я не запамтовал, в 1805 году, оставив после себя несколько *Leder*, которые поют и поныне. Этот свинячий тиран содержал как пленников еще нескольких артистов, и среди них художника Мономахова, известного своими иконами и религиозными портретами, – Поколотин принудил его изображать непристойные сцены, в частности спаривания животных, столь услаждавшие его гнусную натуру.

Я думаю, этот опыт возымел глубокое воздействие на образ мыслей моего отца. Вечером, когда мы наконец были предоставлены самим себе, он, который никогда не позволял себе выказывать беспокойства, ударял кулаком по столу и восклицал:

– Надо вымести всю эту нечисть. Надо, чтобы все униженные и угнетенные земли восстали, взялись за руки и перегрызли глотки канальям, разжиревшим на их поте и крови. Я чувствую, что мы находимся на заре новой цивилизации и что люди скоро повернутся лицом к тем, кто взял на себя миссию сделать из жизни искусство и из искусства – полную красоты и гармонии жизнь. Народы прежде всего нуждаются в красоте.

Терезина имела обыкновение говорить со своим мужем по-детски и даже слегка вульгарно, что я находил несколько шокирующим.

– Послушай, папаша, – сказала она, опустив ладонь на его руку, – день, когда народам понадобится «прежде всего красота», станет концом света.

Джузеппе Дзага объяснил нам, что красота значила для тех, кто чтит Эразма: конец мрака и наступление царства Разума.

Последней каплей, переполнившей чашу нашего унижения, было желание Поколотина, чтобы Терезина танцевала голой на столе, пока он ужинает; встретив отказ, он приказал своим молодчикам схватить ее и хотел было отхлестать ее по заду. Едва эта мерзкая блевотина осмелилась дотронуться до ее юбки, как отец и я бросились на него, последовала схватка со всеми сбежавшимися холуями; и хотя численный перевес был явно не на нашей стороне, Терезина улучила момент и оглушила ударом тяжелого серебряного подсвечника одного из злодеев, а затем нанесла по чувствительному месту Поколотина столь точный удар, что этот жирный вонючий боров согнулся пополам и, кряхтя, прислонился к стене.

Мы были безжалостно высечены. Кнут опускался на наши спины с такой силой, что я носил на себе его следы много недель после этого. Терезина также не избежала подобной участи. Джузеппе Дзага перенес это последнее унижение с примерной выдержкой, лишь иногда меж его сжатых зубов прорывались некоторые из тех проклятий, которыми столь справедливо славится наша адриатическая столица, – никогда прежде Мадонна не была поминаема и, надо сказать, проклиняема в таком разнообразии поз, если не сказать – позиций. Когда на нас изливалась ярость челяди, я крикнул отцу, чтобы он вспомнил, что сам Вольтер получал удары палкой, но виновник моего появления на свет нисколько не был тронут честью оказаться в столь блистательной компании. Подняв глаза к небу, он продолжал выкрикивать святотатства – не могу судить, были ли они оригинальным вкладом в искусство божбы, но, что несомненно, они целили высоко и низвергали низко. Что до Терезины, то она испускала такие крики, что мне вдруг показалось, что я услышал в глубине России голоса всех итальянских торговцев

рыбой, высказывающих небу и земле всю степень своего возмущения. Ах, неизвестные мои друзья! Как она все-таки была прекрасна, моя Терезина, сражаясь как фурия, кусаясь, плюясь, царапаясь, брыкаясь! Скажу только, что если бы в этот момент там создавалась «Марсельеза» моего друга Рюда, она могла бы кое-что перенять у Терезины, ибо я нахожу, что шедевру ваятеля в его фактуре недостает страстной свирепости, присущей женщине из народа и крупным представителям семейства кошачьих.

Затем мы были заперты в погребе, где к нам вскоре присоединился бравый герр Прост, осмелившийся перечить тирану.

Невозможно было поверить, что мы находимся в восемнадцатом столетии, – так это грубое, варварское отношение к артистам напоминало о грядущих временах.

Не знаю, что было бы с нами, если бы этой ночью не произошло чрезвычайное происшествие. Оно положило конец нашим унижениям, возвратило свободу и позволило присутствовать при безудержном и яростном бунте русских рабов – этом первом отблеске зари, что грядет осветить мир, – что снабдило меня сюжетами для множества романов, переведенных на семнадцать языков, тиражи которых, не считая книг карманного формата, составили несколько миллионов экземпляров.

Я получил также, как знак признания и благодарности, премию Эразма по литературе, долженствовавшую вознаграждать – я цитирую – «произведения, свидетельствующие о большой человеческой заботе, щедрости и сострадании».

Глава XXXI

Было, должно быть, за полночь; никто из нас не уснул на влажной, нечистой соломе, служившей нам постелью; не было ни лампы, ни свечи, и мы погрузились в абсолютную тьму. Иногда Терезина принималась петь, но впервые с тех пор, как я ее узнал, голос ее звучал неубедительно, ломался и гас в темноте. Я на ощупь искал ее плечи, чтобы обнять их, руку, чтобы пожать ее, волосы, чтобы утонуть в них, ибо я испытывал сильную потребность в утешении, ведь ничто так не поддерживает мужчину, как покровительство, оказываемое той, которую он любит.

Синьор Уголини нашел наконец в углу обрывок веревки, пропитанной жиром, которым пользуются крестьяне для освещения, он принялся высекать искры огнивом, и после нескольких попыток по волокнам пробежал слабый огонек. Никто еще не видел Коломбину, Арлекина, Пульчинеллу, Капитана в более удрученном состоянии – даже наши костюмы, которые Поколотин уже несколько дней не позволял нам снимать, разделили с нами наше бедственное положение. Чтобы попытаться нас приободрить, отец прочитал то место из Данте, где поэт рассказывает о своем исходе из ада. Но Терезина справедливо заметила, что Данте никогда не бывал в России и, следовательно, не знал, о чем говорит. Воспоминания о моем отце, сидящем на куче гнилой соломы и декламирующем бессмертные терцины, всегда останутся для меня возвышенным примером, к которому я прибегаю всякий раз, когда история собирает вокруг меня свои нечистоты. Я по-прежнему убежден, что за красотой останется последнее слово и народ Дзага будет присутствовать при ее апофеозе.

Мы услышали ржание коней, за ним последовал крик ужаса. Затем над нашими головами прокатилось что-то вроде пляски, сопровождаемой дикими, свирепыми воплями, взрывами хохота, сумятицей опрокинутых стульев и бьющейся посуды. Шум понемногу отдалился, но иногда еще слышались то хрипы, то женские всхлипы – и снова смех и пронзительные выкрики. Мы терялись в догадках о том, что же происходит наверху; так прошел добрый час; мы изумленно поглядывали друг на друга, не имея понятия о причине этой суматохи, потом шаги и голоса приблизились, и наконец дверь погреба разлетелась в щепы под ударами бревна, послужившего тараном.

Тут мы увидели в свете факелов нескольких казаков, двое из которых имели ярко выраженные татарские черты, третий же вовсе не имел черт, поскольку его лицо было превращено в нечеловеческое месиво – так, каленым железом и клещами, здесь навечно метят государственных преступников. Эти brave вояки определенно искали бочки с вином, которых в нашем узилище не было и следа.

Они никак не ожидали встретить нас и с удивлением на нас воззрились. Не сомневаясь, что мы люди Поколотина, укрывшиеся в погребе от преследователей, они накинулись на нас, а особенно на Терезину с намерениями столь очевидными, что нам не оставалось ничего иного, как умереть, защищая ту, что была нам дороже самой жизни.

Мы были спасены вновь вошедшим. То был элегантно одетый молодой человек, хотя и без парика: густые черные пряди волос спадали ему на плечи, он был красив той грубой красотой, которая, однако, никак не обязана случайности зачатия, но в полной мере – благородству сердца. Мы узнали его без труда, ибо с самого начала пугачевского бунта история поручика Блана выросла до воистину легендарных размеров, в то время как в Петербурге ставилось под сомнение само его существование. В нем видели творение народного воображения, когда оно,

разочаровавшись в Отце, изобретает вездесущего Сына, подвиги которого люди не перестают воспевать, дабы придать себе смелости и надежды.

Франсуа Блан был гувернером-французом, с которого Пушкин списал своего героя Дубровского для одноименной повести, более известной на Западе под названием «Белый орел». Поэт, однако, погрешил против истины, ибо молодой герой был, безусловно, французом, бедным, но получившим прекрасное образование и выписанным семейством помещика Иванова из Парижа в Казань. С начала пугачевского бунта, когда пригласившая его семья бежала в поисках убежища в Москву, Блан покинул своих нанимателей и присоединился к армии восставших казаков. За двадцать лет до взятия Бастилии этот выходец из добропорядочной семьи торговцев сукном из сен-антуанского предместья уже обладал революционным пылом Сен-Жюста и воинской отвагой маршала империи. Если бы не случай, забросивший его в глубину России, он, вероятно, дал бы Революции одного из самых пламенных ее защитников, а империи – одного из самых отважных завоевателей.

Имя Франсуа Блана сегодня редко упоминается советскими историками, не желающими предоставлять иностранцу почетное место в великой крестьянской войне.

Вот что, однако, пишет о нем императрица в своем письме к Вольтеру:

«Извольте же узнать, сударь, сколь прискорбно мне сознавать, что идеи Ваши, равно как и господ Руссо и Дидро, столь же приятны при чтении, сколь они становятся пагубны, едва достигнут невежественных голов. Такова опасность, исходящая от смелых построений ума, созданных для развлечения, когда они принимаются всерьез. Достойный сожаления пример тому мы видим теперь в лице г-на Блана, сопутствующего г-ну Пугачеву повсюду, где тот сеет страх, огонь и кровь. Некоторые замечательные творения следует хранить лишь для людей искушенных. Они созданы для того, чтобы быть тщательно запертыми на ключ в книжном шкафу и никогда не казать носу наружу, дабы избежать знакомства с безумными головами, ибо нет ничего прискорбнее, чем смешение игр разума с действительностью».

Молодой человек, окликнувший казаков сухим властным голосом, видимо, привык повелевать людьми, потому что они немедленно покорно застыли. Он бегло говорил по-русски, но в его голосе присутствовали некие интонации, которые наше ухо, сформировавшееся в романской среде, безошибочно определило бы как исходящие от уроженца французской стороны. Среднего роста, стройный, одет он был в плотно застегнутый турецкий красно-зеленый кафтан; лицо его было подвижно и одухотворенно, бушевавшее у него в груди пламя придавало ему фанатичную бледность. Его вороние кудри блестели вокруг высокого, с выступающими венами лба. Мрачный взор этого человека впивался в собеседника с настойчивой угрозой, причиняя беспокойство, – так он был тверд, сосредоточен и пронизателен. Губы были вместе чувственны и жестоки – сочетание, зачастую доводящее до крайности как в сладострастии, так и в пылу деятельности. Твердый точеный подбородок, овал лица – работы мастера, словно бы нарисованный в величайшем тщании соблюсти пропорции; чистый цвет лица в отсветах факела, который он держал в руке, взгляд, мужественная красота линий и осанки придавали видению, возникшему из тьмы, завораживающий, чарующий вид. Я заметил, что Терезина, будто неволью, подняла руки, чтобы поправить прическу, – жест, который при других обстоятельствах мог бы показаться кокетливым. Молодой человек молча оглядел нас с напряженным, нервным вниманием, показавшимся недобрым, ибо явно предшествовал быстрому и грозному решению.

Отец заговорил первым: если было искусство, которым он владел в совершенстве, то это было искусство собираться с мыслями.

– Благодарю вас, сударь, – сказал он по-французски, – ваши люди едва не причинили нам вред.

Лицо француза словно окаменело.

– Это не «мои люди», сударь, – сказал он. – Отныне они сами себе хозяева, но я готов принести извинения за неприятности, которые они вам едва не доставили. Дороги, ведущие нас к свободе и человеческому достоинству, проходят через пропасть и не могут сразу вознести нас к вершине. Кто вы?

Отец ответил, что его зовут Джузеппе Дзага, он дворянин из Венеции, занимающийся искусством и науками, изучающий характеры людей, чтобы излечивать некоторые болезни, исток которых скрыт скорее в душе, чем в теле. Он добавил, что Терезина – его жена, я – его сын, синьор же Уголини – друг семьи и выдающийся драматург. Мы, заключил он, из тех французов и итальянцев, которых душевная щедрость и любовь к ближнему подвигли покинуть далекую Европу, чтобы принести немного света в эту несчастную страну, погруженную во мрак.

Он, наконец, поставил его в известность с негодованием, которому его прекрасный голос лишь добавил выразительности, об отвратительном рабстве, в котором мерзавец Поколотин держал нас в течение почти пятнадцати дней, и об унижении, которому мы были подвергнуты.

Француз казался раздосадованным, что можно было заметить по тому, как он нервно покусывал губы.

– Я жалею о том, что не услышал это раньше. Мерзавец дорого заплатил бы мне за такое обращение с артистами. Не извольте сомневаться, месье, что когда весь мир будет очищен пламенем, первые вспышки которого вы видите здесь, народ посадит мысль и искусство одесную, туда, где прежде тиранья помещала Церковь. Знаете ли вы, что по своей воле, без всякого вмешательства с моей стороны наш великий вождь Пугачев заказал написать свой портрет? Он обыскал все селения, чтобы найти живописца, и наконец отыскал его в Илицке. Что, в общем, позволяет нам сказать: великая революция русского народа началась с произведения искусства.

На моего отца это известие произвело сильнейшее впечатление, и сам я был тронут этим глубоким почтением, оказанным искусству необразованным предводителем казаков, которого нам описывали как грубого невежду.

– Месье, – сказал отец с легким поклоном, – я не смею претендовать на то, чтобы представить здесь в одной моей персоне все искусство Данте, Эразма, Леонардо, но я всегда переживаю как трагедию отказ власти предержавших разделить с народом богатство и радость возвышенного. . . Однако вы говорите, что Поколотин ускользнул от вас?

Блан слегка улыбнулся. Я отметил про себя, что улыбка почти не смягчала выражения его лица, но лишь придавала ему ироническую окраску и еще сильнее подчеркивала все, что было в нем жестокого.

– Я не говорил этого, – ответил он. – Я лишь сказал, что, будучи в неведении относительно тех низостей, которые вы мне открыли, я не подвергнул злодея наказанию, которое он заслуживал. Подите посмотрите сами.

Мы последовали за ним, довольные оборотом, который приняли события, и проникшиеся уже искренней симпатией к восставшему народу. Это чувство было вполне естественным, о чем отец и заметил французу, ведь племя Дзага вышло из самых низов, и, если бы на заре этого самого «нового мира» в том возникла бы необходимость, мы могли бы назвать среди наших предков несколько бандитов с большой дороги, воров и даже лакеев. Никогда мы еще не были столь горды нашим простонародным происхождением.

Несмотря на все то, что мы перенесли, сюрприз, ожидавший нас перед домом, вовсе не показался нам приятным. В свете бивуачных огней, разведенных казаками в саду, покоились останки Поколотина: его рубили по кусочкам, или, чтобы быть точнее, его обкорнали живьем.

Таким же было наказание, которому представители имперской власти подвергали в этом крае непокорных пленников, – у них отрубали сначала ступни, потом ноги целиком и так далее, оставляя лишь голову, так что сознание жертвы могло участвовать в операции. Голова Поколотина возвышалась над его обрубленным торсом, вдобавок, на манер блюда в сельской харчевне, ему вставили яблоко между зубов, а за уши заправили веточки укропа.

Признаюсь, перед этим зрелищем я подивился досаде, выказанной Бланом по поводу недостаточно суровой кары для преступника. Я был удручен также реакцией Терезины, но не оттого, что она была неестественной, – скорее, она была таковой чересчур: в то время я еще не привык к такому разгулу страстей, какому иногда предаются униженные и оскорбленные, когда им возвращают утраченное достоинство. Терезина бросилась вперед, наклонилась над кучей останков и плюнула в гласа округлому предмету, возвышавшемуся над всем прочим. Не хочу, чтобы вы осудили строго это чрезмерное проявление чувств: невозможно безжалостно подавить человеческую природу, втоптать ее в грязь без того, чтобы после внезапного освобождения не избежать некоторых излишеств.

Во всяком случае, этот непреднамеренный поступок немедленно снискал нам расположение всей ватаги, не слишком многочисленной и разбредшейся по всей округе. Наутро мы на самом деле обнаружили повсюду вокруг усадьбы кучи, похожие на поколотинскую. Конечно, лакеи, служащие такому господину и слепо подчинявшиеся ему, достойны кары. И все же мне показалось, что наилучшим выходом было бы предоставить дело хоть какому-нибудь подобию суда, хотя я понимал, что трудно было бы требовать от людей, падающих с ног от усталости и живущих в постоянной близости смерти, облачить Правосудие во все эти элегантные одеяния, столь милые его сердцу.

Глава XXXII

Народная армия Пугачева переживала второй год своей эпопеи. Никогда еще в современной истории не видели такого смещения народов, вдруг вышедших из недр земных, чтобы резать, жечь, насиловать, обдирать живьем, вешать и топтать своих угнетателей. Помещиков и сановников, чиновников и офицеров брали на шпагу, говоря точнее – вешали, колесовали, сдирали с них кожу. Крепости сдавались одна за другой – ведь войска, их защищавшие, состояли из тех же казаков, башкир, чеченов, киргизов, калмыков и бог знает из кого еще: они внезапно оказывались на стороне восставших, перебегали к противнику и вырезали своих офицеров прямо во время сражения. Россия вела войну с Турцией, и ощущалась нехватка регулярных войск. Граф Орлов говорил своим приближенным, что Екатерина настолько обеспокоена, что даже ее царственный запор внезапно прекратился, когда Пугачев перешел Дон.

Должен признаться, что после того, как мы были вырваны из лап Поколотина, я склонен был видеть в каждом казаке Спартака; добавлю также без ложного стыда, что моя артистическая душа была заморожена красотой зрелища. Все эти азиатские племена, с чертами то острыми, тонкими, жесткими, как лезвия их сабель и пик, то плоскими и круглыми, эти грустные и волнующие песни, где отзывалось эхо бесконечной степи, до края которой не доскачет ни один всадник, даже эта манера жечь все на своем пути, словно для того, чтобы отомстить за века порабощения, – все это меня восхищало, давало ощущение присутствия при начале чего-то небывалого. Я отыскал среди моих пожиток бумагу и угольный карандаш и начал делать беглые наброски наиболее волнующих сцен кровавого обручения народа со свободой. Я изображал пойманных и брошенных на казачьи седла девушек, уносимых бешеным галопом, стараясь передать движение, стремительный бег коней, распущенные гривы которых сплетались с длинными волосами пленниц, и моя рука не дрогнула при виде жестокости, ибо искусство никогда не должно закрывать глаза. Единственное, о чем я сожалел, – отсутствие красок: красная – для крови, оранжевая – для пламени, черная – для развалин и обугленных трупов – создавали редкостную гамму, но из-за нехватки изобразительных средств это уникальное зрелище, достойное кисти великого мастера, было потеряно для потомков. Первые зори свободы всегда опьяняют, и возбуждение, порождаемое ими, придает страданиям жертв характер нереальности. Среди этих людей, прежде знавших о правах человека лишь то, что ими пользоваться запрещено, царило воодушевление. Они были наивны в своих заблуждениях, невинны в жестокостях, будучи палачами, сами становились жертвами, ибо трудно осудить в преступлениях против человечности того, кто, в сущности, еще человеком не стал.

Вызову ли я у моих читателей негодование, возбужу ли их праведный гнев, если признаюсь, что я казался себе тогда участником народного праздника, гримасы страдания были для меня лишь масками, кровь – лишь красным вином, и я видел в повешенных офицерах, в их еще напудренных париках, в их сшитых на прусский манер мундирах лишь дергающихся на своих веревочках марионеток? Быть может, я спасался бегством в бессознательное, чтобы защитить мою чувствительность от царящего вокруг ужаса.

Племя Дзага и в этих обстоятельствах не изменило своим обязанностям и традициям, и мы старались доставить черни, как называют в России низшие слои населения, некоторое развлечение. Мы импровизировали сценки и, решительно отвергнув все тонкости и чересчур отточенные приемы, давали представления, ставшие, несомненно, первыми из тех, что позже назовут фронтовым театром.

Никто еще не играл *commedia dell'arte* в таких условиях. Костюмы наши были превосходны: Арлекин, Пульчинелла, Коломбина, Капитан вскоре были горячо поняты этими простыми сердцами. В общем, это был полный триумф. Уголини растрогался до слез, даже отец был взволнован: он говорил, что это была превосходная идея – ввести персонажи итальянской комедии в русский фольклор и играть перед столь чистой душой публикой, чей вкус еще не испорчен разнообразием развлечений.

Иногда во время моих прыжков на подмостках – мы стремились к максимальной близости с публикой – я замечал краешком глаза приближающего на лошади чечена, держащего в руках свежеотрубленную голову. Наш успех вскоре обернулся для нас большими трудностями, ибо казаки покидали свои боевые посты и приходили посмотреть на нас, иногда очень издалека, и кончилось тем, что нам дали приказ кочевать с нашими повозками от одного отряда к другому, даря солдатам свободы минуты отдыха, в котором они так нуждались.

Таким образом, вопрос о нашем отъезде отдал сам собой. Мы стали в какой-то мере пленниками той; игры, в которую сами вступили.

Армия Пугачева, неуправляемая, не имеющая постоянного состава, собирающаяся и рассыпающаяся, как шарики ртути, перемещалась, следуя лишь настроению своих вождей. Разрозненные отряды соединяли свои силы лишь для того, чтобы завладеть городом или опрокинуть части регулярных войск, если они пытались поставить заслон на их пути.

Лейтенант Блан навещал нас, когда не участвовал в стычках; не раз он уводил с собой Терезину, чтобы показать ей с высоты холма захватывающее зрелище атаки киргизской конницы на ее вороных приземистых лошадях. Эти отлучки Терезины бывала иногда довольно продолжительны, что не могло не беспокоить нас; раз или два она вернулась с поля битвы лишь под утро, такая измотанная, что, упав с лошади, положила голову мне на колени и мгновенно уснула под обеспокоенным взором моего отца» начинавшего уже побаиваться, как бы чрезмерная усталость и излишние переживания не оказали вредного воздействия на ее здоровье.

Однажды вечером, когда смолкли последние птичьи голоса и степь утонула в тягучем молчаливом беспамятстве, когда само время, казалось, покинуло землю и отправилось почерпнуть сил у своей матери Вечности, я, будучи не в силах сомкнуть глаз, встал и вышел из шатра. На минуту я замер, окунувшись в хаос огней, подняв глаза к той, другой степи, где сверкала пыль, поднятая копытами бог знает какой конницы или бог знает какими взрывами. Потом я оседлал коня и ринулся наугад через степь, щедро усыпанную серебристыми дарами луны. Вскоре я оказался у реки; оставив седло, я принялся рыскать по песчаному берегу, надеясь смирить охватившее меня волнение тихим шепотом воды, что вела мирную беседу с каждым из омываемых ею камней. Я заметил лодку; зеленый островок выдавался горбом между двумя песчаными отмелями. Не знаю, что за сила вела меня, зачем я забрел в это место, зачем сел в лодку и принялся грести.

На самом ли деле кровь Дзага сообщает отпрыскам нашего родового корня тот дар предвидения, что привел меня, одержимого мрачным предчувствием, в это место, заставляя действовать помимо моего сознания? Или Судьба решила немного поразвлечься за мой счет?

Я был в нескольких метрах от прибрежных зарослей, когда услышал слабый стон; сначала я не понял, был ли то случайный эффект от игры, затеянной потоком на перекате, или сонный вздох неведомой твари. Однако я различил человеческое присутствие, так как после глубоко взволновавшего все мое существо сладострастного дрожания на одной ноте стон перешел в крик, пронзавший воздух с такой силой, что я невольно поднял глаза, словно пытаюсь уследить звенящие струи, летящие к своей невидимой цели. Потом наступила полная тишина. Я оставил лодку и, осторожно прокладывая себе путь через тростники, сделал несколько шагов по воде

вдоль прибрежного кустарника.

Я отодвинул ветки и очутился перед тем, что не могу назвать иначе как светопреставление: все вокруг меня почернело, небо погасло, и я был возвращен к жизни лишь раздирающей сердце болью; по этому знаку я с трудом понял, что жизнь по-прежнему находит какое-то удовольствие в общении со мной.

Терезина, моя Терезина, совершенно обнаженная лежала в объятиях этого француза, изменника цивилизации, который, чтобы утолить уж не знаю какую личную обиду на общество, какую чудовищную жажду крови, примкнул к диким зверям Пугачева, погряз с извращенной радостью во всех тех мерзостях, что подонки общества изрыгают из себя, когда проснутся в их глубинах самые низкие и грязные инстинкты плембса! Этот агнец, никогда не находивший ничего привлекательного в объятиях, теперь крутился как угорь под тяжестью врага рода человеческого, обходившегося с ней без всякого намека на бережное обращение, подобающее созданию мечты.

Я давно не был желторотиком, пройдя курс наук в лучших борделях Петербурга, где мне не отказывали ни в чем запретном. Но никогда я не видел, чтобы двое использовали друг друга с такой жадностью, с таким остервенением, сплетая прелести, коими одарены наши тела, без малейшего уважения к законному предназначению и к местам, на которые их поставила природа. Но самое бесчестное, самое низкое состояло в том, что, поставленный перед крушением всей моей сущности, всех моих самых сладостных иллюзий и мечтаний, обкраденный моей любовью, я не имел сил бежать и продолжал стоять на месте, растравляя и подпитывая свое страдание зрелищем этих забав, прекращения которых жаждала моя скорбь, а продолжения – мое любопытство. О, как трудно иногда понять душу артиста, соль искусства! Хотелось бы верить, что я создал тогда запас страдания и отчаяния, который мог позволить мне теперь жить в согласии с собой и встречать с безразличием несчастливые минуты, ежели они меня настигнут. Этой броне, которую я стал носить после того, как удар несчастья столь рано пробил брешь в моем существовании, я обязан своей репутацией человека, которого ничто не в силах глубоко уязвить.

В течение последующих дней я ничего не сказал отцу – я боялся, как бы он не умер. Таким образом, я один пережил эти муки, не в силах разделить их с тем, кому они принадлежали по праву. Я оставил все страдания себе: каждую ночь я возвращался на место казни.

И все же я находил странное утешение в том, что Терезина счастлива. Не могу объяснить, откуда у венецианца появилась такая широта взглядов, может быть, моя любовь к ней столь прочно обосновалась в моем воображении, что мечта о ней не могла быть затронута и разрушена никаким проявлением низкой действительности.

Во всяком случае, каждый вечер я покидал лагерь и скакал к проклятому месту их свиданий. Там, проскользнув сквозь листву, я хладнокровно наблюдал всю сцену незамутненным взором. Я не предполагал в себе такой широты, такого участия к чужой радости. Сегодня я говорю себе, что таким образом я искал средство от своего любовного недуга, подвергал свои сказочные сны испытанию самой низкой действительностью. Но мечта всякий раз выходила победительницей из этого испытания огнем: ничто внешнее не могло поколебать моего призвания иллюзиониста. Терезина всегда возвращалась чистой из этих объятий, из попытки экзорцизма, которому подвергало ее мое воображение. Я продолжал мечтать о ней, я вновь придумывал ее с несказанной нежностью. Мечта становилась моей тайной натурой. И поскольку я обещал здесь не скрывать ничего из того, что о себе знаю, должен признаться вам, что мне часто случается ставить на мечту, не оставляя ее противнице Реальности более половины дохода, – этим, может быть, объяснимо мое долгожительство, столь удивлявшее многих, ибо, живя в реальности лишь наполовину, совершенно естественно, предположить,

что мой запас жизни прирастает вдвое.

Иногда мне случается сомневаться в том, что эти нежности на островке, которые я вижу ясно, как сейчас, в действительности имели место, – не знаю, является ли это сомнение уловкой, призванной оградить мою мечту – или целомудренность моих читателей. Иногда мне кажется, что я все выдумываю, в том числе и себя, и не знаю, что это – умение чрезвычайно ловко ускользать от страдания, игра, которую я, старый лукавый кот, не умеющий забыть и плетущий интригу, веду с мышами воспоминаний, – или я взбалтываю эту болезненную муть, чтобы окунуть свое перо в свежую боль, столь благоприятствующую творению, ведь ничто не подпитывает лучше плод литературного труда. Я существую, друг читатель, лишь для твоей улады, все прочее – лишь жульничество, злостный обман. Все, в чем я уверен, – что я сижу у огня у себя дома на улице Бак, осмеянный и презираемый за свою безграничную преданность ремеслу чародея, такому немодному сегодня; на моих коленях – тетрадь, на голове – вольтеровский колпак, хранивший меня от сквозняков на протяжении столетий, я почесываю с плутоватым видом кончик носа, достойный потомок Ренато Дзага, выворачивающий карманы своей жизни, чтобы не упустить ничего, что могло бы обогатить мое повествование. А все прочее – история, и я пристально вслушиваюсь в ее бормотанье, ведь и в ней можно отыскать кое-что подходящее. Помню, однако, как я сказал однажды отцу после ухода Терезины:

– Возьми пистолеты и пойдем со мной.

Он лежал на спине близ скачущего, как чертик, огня, не скрывавшего свою зависть и бессильную злобу перед пренебрежительным блеском звезд.

– Это еще зачем? Убийств здесь без меня хватает.

Уверенность покинула меня.

– Терезина. . .

Несколько секунд прошли в молчании, потом Джузеппе Дзага промолвил:

– Я знаю.

Я словно окаменел от полного непонимания – с этого дня меня трудно было поразить чем-либо, как будто за один раз я исчерпал всю мою способность удивляться.

Отец смотрел на звезды. Он скрестил руки на груди, на его лице застыло то спокойствие, которое, по словам Саллюстия, всегда овладевает человеком, находящимся на крайней ступени страдания.

– В былые годы знавал я в Венеции одного танцора по имени Вестрис. Этот Вестрис был столь знаменит, что несколько поколений танцоров потом выступало под его именем. И вот на склоне лет он услышал жалобы одного молодого актера на то, что жена его как-то уж слишком часто стала ему изменять. Старик Вестрис дружески похлопал молодого человека по плечу и сказал: «Мой друг, мой юный друг, не стоит забывать о том, кто ты, к чему ты стремишься. Ты работаешь в театре, так? Ты актер, так? Так вот, запомни хорошенько: в нашем деле рога – это как зубы: вначале, когда они режутся, это чертовски больно, потом боль проходит, к ней привыкаешь, а кончаешь тем, что ими ешь!»

Я был возмущен. Наши враги всегда распускали сплетни, что Дзага – племя скоморохов и что все паяцы – люди без стыда и совести. Но в улыбке моего отца было столько грусти, что огоньки веселья стали лишь особой отметкой страдания, а взгляд его, с выражением немого укора обращенный к небу, невозможно было выдержать без боли.

– Она нас обманывает, – пробормотал я.

– Ну да, – сказал отец. – Однако надо жить.

Не думаю, что в горечи этой фразы звучала лишь жалоба на судьбу.

Бесчувственность Терезины лишь усугубляла мое горе. В ней не угадывалось ни капли стыда или раскаяния. Надо признать, что никто еще не видывал счастья, изнуряющего себя

муками совести – на потребу тем, кто считает счастье некоей болезнью, разрушающей принципы и моральные устои. Возвращаясь по утрам, она всегда напевала что-то, и взгляд ее был ясен и невинен, как само утро. Я приписываю это отсутствие угрызений совести ее легкомыслию, тому, что сегодня называют «некультурностью», ведь каждый стоящий литератор объяснит вам, что преступное сладострастие всегда оплачивается приступами раскаяния, и пропишет как слабительное муки бесчестья.

Терезина проходя, небрежно гладила меня по щеке и отправлялась спать. Ни капли жалости, ни следа сострадания, можно поверить утверждению, что любовь – суть полное бессердечие. Я шел за ней в шатер. Она раздевалась, смотрелась в зеркало, которое держала перед ней Аннушка, делала реверанс своему отражению и говорила:

– Терезина, дружочек, пойдем скорее баиньки; пока свежо, легче спится.

Я должен признать, что лейтенант Блан, несмотря на щекотливое положение, в которое он поставил себя по отношению к нам, был чрезвычайно обходителен и, видимо, не испытывал и тени смущения. Иногда он беседовал с отцом об итальянском театре, о новых французских книгах, рассуждал о науке и философии; его изысканные манеры позволяли нам занять нейтральную позицию и привести в равновесие пошатнувшийся мир.

Глава XXXIII

Варварство орд Пугачева превзошло все, что можно было ожидать от этих потомков Чингисхана.

Я вспоминаю, как, захватив поместье старого русского дворянина, отказавшегося бежать, благородного старца Андрея Николаевича Рукина, казаки застыли в восхищении перед большими напольными часами с маятником, творением известного швейцарского мастера Колле. Часы показывали не только час, день недели и число, но также фазу Луны и гамму небесных явлений, связанных с движением Солнца и Земли. Искали и не находили ключ, чтобы привести в действие механизм, тогда казаки приостановили казнь старика Рукина, которому к тому времени уже успели отсечь руку: несчастного притащили к часам и, после того как он указал, где спрятан ключ, его увели, чтобы зарубить насмерть.

Наше положение было тем более тягостно, что после всех этих зверств нам надлежало ставить декорации, надевать костюмы *commedia* и выходить на подмостки, чтобы развлекать кровавую свору своими гримасами и прыжками. Предводители казаков оценили превосходный эффект, который наши представления оказывали на моральное состояние их войск, и ни под каким видом не согласились бы отпустить нас. Но впечатление еще более тягостное, чем от казни старика Рукина, осталось у меня от того, что произошло несколькими днями позже под Симбирском. Это там казачий атаман Бубель задал то, что он назвал «балом», – жестокою пародию на развлечения благородного общества. Весь местный гарнизон, вернее, все, что от него осталось, был согнан на этот вечер после того, как половина войска, призванного защищать город, переметнулась на сторону восставших. Бал начался ближе к ночи, и я могу представить здесь о нем свое личное и подробное свидетельство, ибо описание этого «праздника», как по волшебству, исчезло из анналов русской истории.

В восемь часов вечера Бубель пришел к нам и объявил, что на сей раз вместо привычного нам места на сцене мы займем места зрителей. Он приказал нам надеть то, что казаки называла «итальянским платьем», дабы «оказать почет честной компании». Что до самой «компании», то я думаю, Дзага, привыкшие ко всякого рода публике, не видали более мерзких рож.

Там было все, что Русская земля – от каспийских берегов до кавказских аулов, от киргизских степей до Самарканда, от Чечни до Яика – породила самого грубого, самого жестокого, самого ужасного. Лица их настолько разнились с тем, что привыкли обозначать этим словом в Европе, что нам было трудно распознать в них людские черты. Колчаны, полные стрел, на спинах, на головах – монгольские желтые, черные, красные шапки с меховой оторочкой, шашки – короткие кривые сабли – на боку, луки – на плечах; некоторые одеты в роскошные шубы, седла украшены ворованными драгоценностями; варвары обменивались репликами на гортанных наречиях с животными выкриками и смехом, окружив сбитый из досок помост не менее ста футов в диаметре.

Ночь была тепла, нежна и прекрасна, как женщина, застывшая перед зеркалом и, казалось, безразличная ко всему, кроме собственной прелести; огни становищ поднимали к небу дымные столбы и всплески пламени; беспрестанно выли собаки, доведенные до бешенства необъятностью людского скопища и носившимися в воздухе запахами.

Приглашенные были со всех сторон окружены толпой. Там был комендант гарнизона полковник Порошков и еще тридцать пленных офицеров, некоторые с женами и дочерьми, городские аристократы, несколько богатых купцов, а также помещики, бросившие свои гнезда в

надежде отсидеться в Симбирске. Офицеры – в париках, белых лосинах, высоких кавалерийских сапогах; им позволили сохранить их красно-зеленые мундиры со знаками отличия.

Атаман Бубель велел дворянам надеть их лучшие камзолы, чтобы «уважить приглашенных», и они облачились в шелка и парчу поверх вышитых золотом бархатных жилетов, введенных в моду французскими учителями танцев и хороших манер в первые годы царствования императрицы. Их супруги, сестры, дочери, а также приживалки – дальние родственницы, тетки и кузины, живущие в больших усадьбах на неопределенном положении полуродственников, полуслуг, – надели свои лучшие бальные платья, некоторые даже сжимали в руках жалкие веревки. Вся эта группа господ перед монгольской ордой, казалось, разыгрывала сценку на театре Истории, вкус которой к представлениям, от трагедии до фарса, ведом всякому, кто внимательно следит за творчеством этого автора, столь же гениального, сколь и неразборчивого в выборе средств.

Из окрестных деревень согнали десятка два иудеев со скрипками; среди них не нашлось бы и полдюжины действительно владеющих инструментом, ибо евреи, быстро оценив склонность казаков к резне и скрипке, вооружились последними в надежде избежать первой, причем неважно, умели они играть или нет. Им дали знак открыть бал – зазвучала тошнотворная прелюдия, тем более оскорбительная для ушей, что она сопровождалась мелодическими аккордами – самым благородным выражением человеческой души.

Казаки приподняли деревянный помост и загнали пленных под этот навес, таким образом оказавшийся утвержденным на их плечах. После этого, схватив жен, дочерей и родственниц этих несчастных, бунтовщики заставили их взойти на помост. Затем они сами взобрались туда, и – одни, заставляя женщин следовать за ними, другие в одиночку – сотни казаков, чеченов, татар и башкир принялись танцевать на головах и плечах пленных, которые быстро обессилели от тяжести этих чудовищных подмостков – качающиеся кариатиды, которых ничто не могло спасти от медленного и неминуемого сдавливания.

Терезина, явившаяся на бал в своем испанском платье, едва осознав весь ужас этой казни при помощи танцев и веселья, этой безобразной пародии на праздник, решительно повернулась к Блану. Француз со скрещенными на груди руками созерцал происходящее с довольной улыбкой.

– Прекратите это варварство! – закричала она. – Остановите! Остановите немедленно! Прикажите им!

Молодой человек помрачнел: я заметил на его лице нервное подрагивание, выдававшее, несмотря на всегдашнее его самообладание, множество темных, неутоленных страстей.

– Каждому свой черед, – сказал он. – Эти благородные судари довольно поплясали на спинах народа. Теперь настал их черед терпеть и черед народа плясать.

Отец обернулся к нему. У него в этот миг было, неподвижное лицо и спокойный голос человека, изучившего шутки, которые История, смотря по тому, куда повернет ее фантазия или какая муха ее укусит, проделывает с людьми, всегда заботливо подбирая к этим кровавым показам как нельзя более гармоничное музыкальное сопровождение.

– Месье, – сказал он, – ваши рассуждения безупречны с точки зрения логики, но они ни в коей мере не принимают в расчет уменьшения общей суммы страданий в земной жизни. Даже если поменять местами римлян и христиан, вы преспокойно продолжали бы кормить львов человеческим мясом.

Мой отец был гуманистом.

Француз внимательно оглядел его. Он был необычайно красив, и идея, во имя которой он резал и жег, была высока. Я его ненавидел, но оспорить его доводы мне было бы трудно. Жестокость его черт заставляла думать об античных медалях, а взгляд его заключал в себе

пламя фанатизма и преданности великому делу – такой взгляд особенно сильно влияет на женщин, порождая в них иллюзию любви.

– Месье, – ответил он отцу, – гуманизм и мать его, философия, уже оказали неоценимую услугу мыслящим людям. Но, перед тем как они станут достоянием народа, нам придется свернуть шею множеству соловьев, наслаждающихся красотой собственного пения и отрывающихся красивыми книжонками. Следует начать сначала и дать разумение людям, его лишенным. Они только этого и ждут, что нам показывает этот как нельзя более кстати подвернувшийся праздник. Здесь надо было думать, а чтобы думать, надо было обладать талантом, иронией, юмором, чувством – как бы это сказать? – чувством реплики. Народ подает свою реплику – и как раз вовремя.

Я посмотрел, как то, что француз назвал «народом», танцевало смертельную пляску на головах и плечах местных представителей высших сословий, как говорили в то время, или, более скромно, хорошего общества, и испытал смешанное чувство, которое не мог ни осмыслить, ни даже определить, – что новый мир рождается на моих глазах. Еврейские скрипачи наяривали без оглядки, и даже те из них, кто понятия не имел об игре на скрипке, старательно водили смычком по струнам, делая вид, что извлекают из инструмента изысканные звуки, – ведь лишь таким образом они могли избежать сабель казаков. Должен добавить к чести последних, что не бывало случая, чтобы они изрубили или ткнули пикой еврея, играющего на скрипке. Вот почему во все времена столько евреев в русских гетто усердно упражнялись в музыке – что еще и сегодня дало нам несколько вдохновенных виртуозов, даже и в советской России, где эта казачья традиция чтится по-прежнему и где еврей-скрипач считается прежде всего скрипачом, а потом уж евреем.

Под тяжестью помоста и пляшущей толпы полковник Порошков, в белом парике, шелковых лосинах и высоких сапогах – шедевре своего сапожника, присутствующего на празднике среди черни, и вся местная знать, сановники, богатые торговцы, держались на ногах лишь благодаря неизъяснимой силе воли. Некоторые начинали падать, что лишь увеличивало нагрузку на других и приближало миг падения и страшной смерти. Казаки вели дьявольский танец на их спинах и головах, и не было ничего ужаснее, чем видеть, как бедные невесты, жены, сестры, дочери и бабушки танцуют с искаженными ужасом лицами в объятиях веселящихся кавалеров, давящих своими каблуками столь нежно ими любимых мужей, отцов и братьев. С одной из старых тетушек или кузин внезапно случился припадок безумия, и она с жуткой гримасой вместо улыбки принялась скакать на месте, как марионетка, дрыгая ногами и высоко задирая платье, что вызвало чрезмерную радость казаков; у меня же мороз пробежал по коже; старушка, вся в белом, в кружевном чепчике на голове, показалась мне иссохшей мумией с безумными глазами. Так она скакала до изнеможения, потом упала и стала кататься по настилу, по-прежнему высоко задирая ноги, пока не изогнулась и не замерла неподвижно, как жуткая испорченная кукла.

В 1920 году, в конце Гражданской войны, я возвращался в компании собрата по ремеслу – актера средней руки, выступавшего под псевдонимом Ла Мор, из литературно-театрального турне по областям Балтии, где разворачивались последние сражения между белыми войсками и Красной Армией, доходя до того пароксизма ненависти, когда в небывалом ужасе соединяются понятия свободы и рабства, справедливости и беззакония. В шестидесяти километрах от Мемеля, пересекая верхом болотистую равнину, где гремели последние стычки, мы набрели на бивуак армии Князина и были приглашены начальником штаба на вечер, имевший быть в парке замка Бергдорф. Замок был подожжен красными при отступлении, и его руины еще дымились. Мы явились на вечер с небольшим опозданием, но с первого взгляда во мне проснулись воспоминания из тех темных закоулков памяти, где они годами спокойно дожи-

даются своего часа. Как зловещие летучие мыши, что прячутся в глубинах черных пещер, с шумом крыльев летят на свет фонаря, погасшего двести лет назад, так проступают из мрака лица, гримасы, костюмы, огни и звезды из давней ночи, из другого мира. Ибо ничто не походило так на дикарский праздник «освободителя» Пугачева, как представление, устроенное теперь в парке «освободителем» Князиным. Пятьдесят пленных красноармейцев держали на своих плечах дощатую эстраду, на которой располагались одиннадцать музыкантов оркестра, составленного из офицеров и солдат князинской части. В центре помоста труппа мемельского оперного театра давала «Травиату» перед расположившимися на земле белыми. Сам Князин восседал в первом ряду. Несчастливая певица, лицо которой покрылось смертельной бледностью, несмотря на густо положенные румяна, вела свою партию весьма неуверенным контральто, напомилавшим иногда скорее крик ужаса или призыв на помощь, чем бельканто. Прочие певцы во флорентийских нарядах шестнадцатого века старались по мере возможности меньше двигаться по раскачивающимся подмосткам: нельзя было не заметить их внутреннее напряжение, попытку уменьшить физическую тяжесть своих тел и победить закон всемирного тяготения. Под этой летней эстрадой юные красноармейцы держались на ногах лишь благодаря некоей силе, которая, как говорят, приходит к героям в их последние минуты. Должен, однако, отметить, что «Травиата», поставленная в таких обстоятельствах, приобрела чрезвычайно драматическое звучание; сегодня, когда новый театр изо всех сил ищет все более впечатляющие выразительные средства, мне кажется, здесь скрыты оригинальная идея и способ вознести на должную высоту наших артистов, равно как и классовую борьбу, которой, право, не стоит пренебрегать.

Я несколько не сомневался, что присутствую на премьере, когда наблюдал казаков и их злосчастных партнерш, скачущих в смертельной пляске на головах знати, сановников и офицеров, плененных во время похода орд Пугачева на Москву. Уже тогда, несмотря на весь свой испуг, моя артистическая натура не могла оставаться безразличной к открывшемуся зрелищу, что, я думаю, не подлежит осуждению, ибо не я был ответственным за это скотство. Казаки были превосходными танцорами, таковыми они остались и по сей день благодаря заботе, которой окружено искусство в советской России, о чем может свидетельствовать всякий, кто имел удовольствие присутствовать на представлениях русского фольклорного ансамбля Моисеева в Европе во время его турне. Но никакая театральная постановка не может сравниться с непосредственностью живого события во всей, так сказать, его подлинности, и я не могу утверждать, не был ли я под конец более взволнован красотой разворачивающейся драмы, чем ее бесчеловечным содержанием. Иногда какой-нибудь азиат хватал свою партнершу, прыгивал с ней на землю, уносил кричащую жертву в ближайшее укрытие, где, утолив страсть, оставлял ее своим нетерпеливым товарищам. Иногда девушка или замужняя дама теряла сознание в лапах своего кавалера, но тот продолжал кружиться с ней, как с тряпичной куклой, – это производило эффект, который сегодня можно наблюдать в фольклорном танце «Машка и Ивашка». Ни одна из этих бедных женщин не избежала мести черни, дочери которой в течение веков подчинялись праву первой ночи своих господ, так что фраза «каждому свой черед» звучала в ушах восставших сладкой музыкой; я заметил даже, как, едва натянув штаны, они творили благодарственную молитву.

Я помню также очаровательную девушку-подростка с длинными белокурыми косами: ее лицо, по странному капризу, на которые столь щедра природа, имело совершенно ангельские черты; в них столь полно соединились нежность и красота, что трудно было вообразить ее причастность к сословию угнетателей. Она умерла посреди пляски, но никто этого не заметил, и ее продолжали вертеть и передавать от партнера к партнеру, не подозревая, что развлекаются с трупом. Одной из немногих переживших «праздник» была дочь полковника

Порошкова. Сорок лет спустя она опубликовала свои «Записки сироты», над которыми было пролито столько слез чувствительными душами.

Празднество было в полном разгаре, когда мы увидели на вершине холма, выступавшего в лунном свете, всадника, спускавшегося по склону, – казалось, он медленно выходит из бездны. Окружен он был несколькими богато одетыми казаками.

До этого я видел лишь профиль Пугачева на медалях, которые он чеканил от имени Петра III, – ибо этот враг тирании счел за благо выдать себя за царя. Но я узнал «самодержца» по фигуре попа, двигавшегося на некотором расстоянии позади него. То был единственный поп, примкнувший к бунту черни, Иван Кролик.

Пугачев был одет в пурпурную мантию, на голове у него была меховая шапка, украшенная образом святого. Он сидел в седле подбоченясь и несколько театрально, к тому же он умышленно остановился на выгодно освещенном лунным светом месте, так что его лик был окружен ореолом, как на иконе. Широкие шаровары синего шелка складками ложились на красные голенища. Огни бивуака, высовывая со всех сторон тысячи колеблющихся языков, полыхали на его лице заревом пожара, бушевавшего, казалось, у него в душе, – такими угольно-черными были его глаза. Я схватил карандаш и бумагу, еще раз проклиная свою забывчивость, лишившую меня красок. Рядом с самозванцем молчаливо скалился, показывая зубы, белизна которых ясно различалась на расстоянии, джигит Усанов: горностаевая шуба на плечах, лисья шкура обернута вокруг головы так, что хвост спадает на левое плечо, в руке – булава, знак власти атамана, волчий оскал, никогда не сходивший с лица, два ряда зубов, столь мелких, что число их казалось вдвое больше обыкновенного, и составлявших вкупе с вырванными палачом ноздрями и выдающимися в стороны скулами череп – такова и была его кличка. Слева от Черепа татарин Алатыр – в черном кафтане и зеленой тюрбетейке – восседал на белом коне, напоминая своей фигурой легендарного героя сказки Илью Муромца, столь часто составлявшего мне компанию в лесах моего детства. Он держал перед собой в седле мальчика не старше пяти лет: это был его сын, с которым он не расставался даже в пылу сражений.

Мы были удивлены, узнав, что «царь» изволил побеспокоиться специально для того, чтобы увидеть нас: так нам объяснили. Было условлено, что завтра мы поставим наши подмости и покажем ему все, что умеем. Пугачев не выказал ни малейшего интереса к пляске смерти, которая все еще продолжалась в отвесах огней на спинах пленников. Этот вид развлечения стал уже обыденным с начала восстания, и он наслаждался им вполне. Он удалился со своей свитой к шатру, за ним последовала целая свора собак, ибо человек добр к этим тварям.

Скачка закончилась самым жестоким образом. Пленники по своему воспитанию и образованию не привыкли к тяжелому труду и физическим страданиям, некоторым, как, например, самому генералу Порошкову, было уже за шестьдесят. Они проявили достойную восхищения стойкость, которую, казалось, оценили и сами казаки, несколько раз подносявшие им напитки и подбадривавшие их дружескими тычками. Но теперь они стали падать один за другим под тяжестью танцоров. То был самый мучительный момент представления, а для меня, должен признаться, искусство кончается там, где начинаются муки. Когда большинство этих несчастных еще держалось на ногах, собрав последние силы, чтобы отсрочить падение и финал, казаки и их товарищи монголы вскочили на коней, пустили их галопом и стали заскакивать на платформу под радостные вопли собравшихся, почувствовавших приближение апофеоза. Вскоре помост возвышался не более чем пол-аршина над землей на раздавленных телах, в то время как вся кавалерия проносилась взад-вперед по подмосткам; поскольку их было более трех сотен на первый взгляд (ибо трудно было сосчитать точнее в этом смещении красок), можно сказать, что финал – увы! – был достоин спектакля. Так погибла, превра-

тившись в кровавое месиво, вся элита провинции, и в числе прочих образованнейшие люди, знать, офицеры, помещики и чиновники, – впрочем, некоторые из этих последних в свое время предусмотрительно переметнулись в лагерь восставших.

Я испытал такой шок, что впечатление так никогда и не стерлось из моей памяти, и в 1926 году я снял по этому эпизоду фильм студии UFA с Мали Дельшафт и Иваном Петровичем в главных ролях.

Никто из нас не уснул той ночью. Мы были столь же возмущены, сколь и напуганы, ибо наше присутствие здесь могло внушить властям, что мы были сообщниками и соучастниками этих кровавых тварей.

Зверства, свидетелями которых мы были на протяжении нескольких недель, поставили перед нами моральную дилемму, которую отец признавал совершенно отчетливо: не следует ли нам проникнуться и восхититься красотой идеи, не видя ничего, кроме свободы, уничтожения рабства, не обращая внимания на испачканные кровью руки, в которые упало это сокровище? Или, напротив, следовало полагать, что не существует идеи в отрыве от способа ее воплощения, как нет и человеческого достоинства без действия, достойного подражания, едва только загорится искра того или другого?

Мы рассмотрели все эти вопросы под пологом нашего шатра, и следует признаться, что таким образом сохранили философское спокойствие посреди доносившегося издали лай и визг собак, дравшихся из-за останков казненных. Это не были напрасные словопрения: решение было принято. Следовало уяснить, даем ли мы завтра наше представление или же отказываемся расточать сокровища итальянской комедии перед человеком, ответственным за весь этот ужас.

Мы нашли ответ в примерах наших знаменитых предшественников: ни Леонардо, ни Микеланджело, ни Данте, ни Петрарка не оставили кисть и лиру, когда яд, кинжал и голод вели вокруг них свой адский хоровод. Сгущающийся мрак говорил лишь об одном: надо поднять еще выше и еще более крепкой рукой факел искусства.

Твердым шагом и со спокойной совестью поднялись мы назавтра на подмости, ожидая Пугачева. Мы были готовы дать ему то, что он принял бы, без сомнения, за обычную забаву, увидев в костюмах, которые мы напялили, лишь переодетых паяцев, но для нас, посреди пугающего мрака, эта буффонада становилась подлинным провозглашением идей гуманизма.

Пугачев явился к одиннадцати и трезв уже не был.

Движимый глубоким убеждением, что ночь раздумий лишь придала сил, отец раздул в своей груди божественную искру искусства, выполняя трюки, которых даже мы прежде не видели. Он сам надел костюм Арлекина, и, используя итальянские слова, он покрыл «царя» оскорблениями и насмешками, доставившими нам немало веселых минут, но, к счастью, не понятыми их мишенью, после чего, оставив эти изыски, он попытался овладеть вниманием своей невеселой публики. Он жонглировал пятью бутылками, исполнял карточные фокусы с такой ловкостью, что по толпе прошел шепот восхищения. Его голос чревоушителя появлялся в трех-четырёх разных местах: так, когда поп Кролик открыл рот, чтобы сплюнуть жвачку, из его глотки прозвучала исповедь во всех смертных грехах, им совершенных. В руках татарина Алатыра, который тоже был здесь, одетый в свои белые горностаи, в шапке, сверкающей золотом и рубинами и похожей на восточный храм, малыш Турлан красивым мужественным голосом прочитал целую суру из Корана. И когда сам Пугачев, сидя в красном бархатном кресле, которое служило ему тронem и носилось за ним повсюду, принялся раскатисто хохотать, смех его закончился фразой, которую явственно услышали все кругом:

– Пусть освободят всех пленников, которых еще не успели повесить!

Лицо казака почернело, когда он услышал приказ, который, казалось, слетел с его губ, он

вскочил со сжатыми кулаками, но едва снова открыл рот, чтобы обругать или даже приговорить отца к порке, как тот же голос, чужой, но превосходно симитированный, объявил:

– Ибо я великий царь Петр Третий, и я желаю просиять в Русской земле не только своими победами, но и своим великодушием.

Пугачев поколебался, потом лицо его прояснилось, кулаки разжались, и, запрокинув голову, уперши руки в бока, он разразился своим знаменитым громоподобным хохотом, сила и заразительность которого были таковы, что он прокатился от казака к казаку, от дружины к дружине через всю степь, от народа к народу, так что где-нибудь в Сибири или в Китае какой-нибудь крестьянин вдруг принимался хохотать, не зная до октября 1917 года причины своего смеха.

Глава XXXIV

Пугачев был так доволен нами, что отец получил приказ повсюду следовать за войском узурпатора, дабы доставлять его солдатам немного веселья и чудес между схватками. Так труппа итальянских комедиантов продолжила свой путь по истерзанной степи, давая представления среди пожаров, руин и трупов. Нам пришлось заменить на гримасы и чрезмерно аффектированную плоскую мимику шутки и эффекты, которые подобная публика была не в силах понять. Уголини в роли Полишинеля никогда не знал подобного успеха, и, играя без маски, он пускался в клоунаду, которая обесчестила бы commedia в любом другом месте, но здесь приводила этих больших детей в восторг. Терезина исполняла испанские танцы под аккомпанемент кастаньет, стук которых вызывал немедленное оживление; я подыгрывал на гитаре. Затем вчетвером мы пели неаполитанские песни, и среди них «Dolce mio», такую чувственную и волнующую, что, хоть присутствующие не понимали ни слова, эта мелодия затрагивала сердечные струны, общие для всех народов: нам удавалось иногда вызвать у публики слезы.

Баритон отца был превосходен, Уголини же имел голос преотвратный и часто обижался, когда мы просили его помолчать. У меня уже установился довольно приятный тенор, который я постарался впоследствии развить, ибо не следует пренебрегать ничем в искусстве чародея, проще говоря, в искусстве нравиться.

Мы решили тем не менее положить конец этому рабству, в которое попали и которое могло для нас плохо кончиться, как только порядок и власть будут восстановлены, что казалось нам неизбежным. Тогда нам придется ответить за то, что наши враги не преминут представить как добровольное участие в бунте плебеев. Тем более что Дзага давно и не без оснований подозревались в либерализме. Несмотря на все то доверие, которое я испытывал к отцу, и даже принимая во внимание ловкость, которую всегда выказывало наше племя, чтобы проскочить между молотом и наковальней и вовремя вывернуться, во все времена помня лишь о своей миссии, мне казалось, что мы попали в осиное гнездо, выбраться из которого нам могло помочь лишь волшебство.

Опасность была близка, и лейтенант Блан не скрывал от нас, что, несмотря на внешнее благополучие, положение Пугачева было безнадежно. Он в самом деле «идет на Москву», как он объявил, только пятясь. Его лучшие войска отказались перейти Дон. Три неприятельские армии окружили его со всех сторон; приближалась зима. Разделенные соперничеством своих вождей, казаки проигрывали сражение за сражением; в конце сентября, когда мы давали представление марионеток перед запорожцами атамана Ванюка, к нам галопом приблизился всадник: он нагнулся и протянул отцу письмо.

То было послание Блана. Написанное по-французски, письмо извещало нас, что все потеряно, тирания восторжествует над всем, что есть мощного и непокорного в мире, – народным гневом. Он указал нам самый верный путь на Москву.

К письму были приложены два документа, спасшие нам жизнь. Первый был пропуском, подписанным «царем» Пугачевым собственноручно: плут не умел ни читать, ни писать, документ составил и подписал за него Блан. Другой документ был значительно важнее. Он был подлинный, за подписью графа Ясина, взятого в плен. Текст гласил, что труппа итальянских комедиантов Дзага во главе с известным и почитаемым в Петербурге Джузеппе Дзага попала в руки восставшей черни и была вынуждена испытывать в течение нескольких недель ужасные унижения и страдания. Ясин добавлял, что ему удалось спасти артистов и направить их

со своим эскортом в Москву, ибо они могли доставить важные сведения. Мы узнали потом от одного казака, присутствовавшего при этой сцене, что, когда Ясин подписал документ и скрепил его своей печатью, Блан выхватил пистолет и пустил ему пулю в сердце; все это тотчас поставило нас в крайне двусмысленное положение. Конечно, мы ничего не знали об этом подлом поступке. Никто из нас никогда не согласился бы обрести спасение такой ценой.

Я знаю, что среди вас, мои читатели, найдутся скептические умы, почитающие таких, как мы, скоморохов за людей без чести и совести, заботящихся только об извлечении всяческих выгод. Было бы напрасно оспаривать эту тысячелетнюю репутацию, которую нам создали как гранды, так и их последователи-буржуа в ожидании, что народ, в свою очередь, засвидетельствует свое недоверие по отношению к нам, оставив выбирать между смирением, молчанием и тюрьмой. Мы были ни при чем в гнусном преступлении Блана. Скорее мы бежали бы в Самарканд или Стамбул, чем открыли бы себе дорогу на Москву через труп графа Ясина.

Мы решили воспользоваться представлением, которое намеревались дать в Тихоновке, чтобы перейти Дон и повернуть на Москву по западному берегу. Никто не обнаружил нашего маневра, когда мы, пропустив вперед арьергард казаков, повернули назад и отплыли на пароме в Правово. Какие-то шесть часов спустя мы встретили первый отряд регулярных войск генерала Михельсона. Пропуск графа Ясина произвел ожидаемый эффект: к нам отнеслись с большой приязнью, выслушав с негодованием рассказ о пережитых нами страданиях. По нашем прибытии в Москву был устроен праздник в нашу честь: посол Венеции дал обед, газеты пересказывали приключения знаменитого магнетизера доктора де Дзага и его семьи, говорили, что ему удалось ускользнуть из когтей Пугачева посредством основанного на точных знаниях могущества, секрет которого, вместе с доктором Месмером из Вены, он открыл первым в Европе. Впоследствии я узнал, что этот рассказ извилистыми путями достиг венецианских газет и французский путешественник Пивотен упомянул о нем в своем опусе 1880 года «Венецианские путешественники и авантюристы XVIII в.», удостоенном премии Французской академии.

Глава XXXV

Мы были вынуждены некоторое время оставаться в Москве, так как были нарасхват – все светские дамы желали услышать из наших уст рассказ об ужасах пугачевщины. Наше пребывание оказалось особенно приятным вследствие новинки, недавно введенной в светский обиход, пока еще робко, ибо она считалась рискованной: ожидали суждения императрицы. Вальс, как считают, родился во Франции несколько веков назад, но там он скоро впал в спячку, а пробудился в Германии. Австрийский двор принял его восторженно, но когда вальс добрался до России, попы осудили его как дьявольское искушение – ведь танцующие предаются веселью и разврату, что плохо сочетается с истинной верой.

В день нашего прибытия в Москву капельмейстер Блехер по указанию властей был подвергнут домашнему аресту – ведь это он завез семена безумия, и надлежало помешать ему распространять заразу, но все было тщетно: город, перенесший несколько лет назад чуму и вслушивавшийся сейчас в эхо кровавой поступи Пугачева, жаждал забвенья – потихоньку вальсировали повсюду.

Терезина и вальс нашли друг друга у графа Пушкина, будущего отца великого поэта, и никогда еще музыка и женщина не сочетались столь счастливо. Легкость нелегко носить – она требует грации, пушинка может обратить ее в свинец. Но Терезина была вальсом. С их первой встречи на балу у графа Пушкина я понял, что, пока я живу и пока Земля будет кружиться под звуки музыки, мелодия вальса всегда приведет ко мне Терезину. Они были созданы друг для друга – я говорю «они» как о паре, и стоит мне услышать первые такты и увидеть Терезину, выступающую с поднятыми руками навстречу вальсу, как я чувствую в себе пробуждение данной мне, ребенку, лавровским лесом волшебной силы, которую я беспрестанно искал в себе – и иногда находил. Я видел вальс как нечто живое, как божество утраченного мною леса. Он же старался казаться нематериальным и укутывал себя музыкой – ему надлежало соблюдать приличия, он не мог позволить себе вдруг материализоваться на паркете в сказочном облике, сверкая волшебными лучами. Не разыгрывается ли за внешней стороной вещей, за скорбной маской реальности тайная феерия, квинтэссенция веселья, непрекращающийся праздник, о котором нам пророчествуют несколько па танца, несколько тактов музыки и смех зачарованной девушки? Я почти не верю в тайну и глубину, когда дело касается счастья. Счастье – на поверхности, оно боится толщины, тайна не манит его, это – касание, шелест, шорох. Счастье почти эфемерно. Искусство глубин, искусство наших ученых докторов, писателей, мыслителей ни разу не сотворило из своих открытий улыбку, редко кто вспомнит о веселье, когда поминают гения. Вальс обязан своим рождением оплошности того или тех, кто создал человека: где-то что-то нарушилось в предварительном расчете, произошла ошибка, непредвиденная осечка между молотом и наковальней – так был создан вальс, глубина дала сбой, и легкость смогла увлечь людей, отсчитывая такт смычком.

Бал у графа Пушкина упростил мои отношения с Терезиной, и эта легкость сохранилась доныне. Я думаю, вы согласитесь со мной: любить женщину – значит любить единожды. В жизни существует лишь одна пара, остальное не в счет. Когда вы теряете вашу партнершу, века и годы, секунды, вечность, часы, зимы и весны выпадают из хода Времени и более не поддаются исчислению: я думаю, всякий, любя, проживает тысячи лет. А чтобы вырваться из этого застывшего потока, достаточно звука аккордеона, пианино, скрипки. . .

Тогда я вновь обретаю силу, которую передали мне мои друзья дубы в Лаврово.

Взмахом своей волшебной палочки я возвращаю к жизни Терезину. Она появляется в том самом белом платье, что было на ней на балу у графа Пушкина. Перо скользит по бумаге, и нет для меня ничего невозможного. Века проплывают под моим пером. И Время мне улыбается.

Мне всегда было достаточно заключить женщину в объятия, чтобы она стала Терезиной. Вначале я был еще неловок, и мне приходилось закрывать глаза. Позже я научился смотреть на партнершу внимательно и любезно, совершенно ее не видя, я нежно говорил с ней, не замечая ее присутствия, я шептал ее имя, ничего мне не говорящее, пожимал руку, чтобы она увела меня от себя самой, – и все это с неподдельной искренностью, ведь она-то тут, собственно, ни при чем. Для меня все блондинки и все брюнетки – рыжие. Самые нежные губы раскрывались для меня лишь для того, чтобы напомнить вкус других губ. Я был сверхъестественно верен, и всякий, кто обвинял меня в том, что я не смог прилепиться ни к одной женщине, вызывал у меня улыбку сострадания. Женщины, посещавшие меня, помогали мне жить, поскольку они помогали мне мечтать о моей Терезине, и за это я им бесконечно признателен, я им благодарен, я обожаю их. Они все были одной – второй я так и не познал. Все они обладают счастливой властью возвращать вам единственно любимую. В самом деле, каждая секунда, каждый месяц, год забвенья обращаются в века, тысячелетия, и вы никогда не умрете, ибо вы переполнены любовью. Оглядывая тысячи лиц, вы не прекратите работу над портретом одной, до мельчайших деталей известной лишь вам. У Луизы вы взяли линию губ, у Франсуазы – складочку улыбки, у Кристины – кончик носа, у Дженни – брови, у Мари – нежную ложбинку, вы возьмете у одной шею, у другой – подбородок, у третьей – затылок: все это пустяки, но они помогут вам в ваших поисках подлинника. Стоит, однако, остерегаться ошибки, нашептывая имя: это невежливо. Можно, конечно, закрывать глаза, но это приводит к потере убедительности позы, манеры – скоро привыкаешь не видеть с открытыми глазами. Этот волнующий взор, предназначенный ей, когда она, чаруяще улыбаясь, скользит кончиками пальцев по вашей щеке, элегантно и учтиво способствует полному взаимопониманию! Она принимает эту ласку на свой счет, в то время как она предназначена другой. Отдайтесь страсти к Паулине, Изольде, Люсите совершенно, душой и телом, – вы легче ускользнете от них, почти их не заметив: не существует лучшего способа покинуть женщину, чем, любовно используя ее, соединиться с другой, единственной, истинной, той, которой нет. Чтобы вновь обрести Терезину, мне всегда был нужен медиум, и я всегда умел быть благодарным женщинам: они обладают в момент близости даром отсутствия.

Бал открывал сам граф Пушкин. Первый вальс не имел ни названия, ни автора, как и полагается великому творению, исподволь исходящему из самой природы счастья. Позже я узнал, что капельмейстер Блейхер подслушал его в одном венском кафе, – то было творение молодого композитора и скрипача Маазеля, кашлявшего кровью ежедневно с трех до одиннадцати вечера среди любителей пива и табака на Гехаймратштрассе. Блейхер назвал его «Вальс улыбок»: один только Бог знает, как чахоточный юноша сумел найти в своем сердце столько веселья и легкомыслия, когда смерть уже стояла у него за спиной. Может быть, он понял, что смерть ничего так не боится, как легкости, и создал свой вальс, чтобы отсрочить ее приход.

Множество «Вальсов улыбок» было сочинено с тех пор, творение Маазеля совершенно забыто, что меня вполне устраивает, ибо я не хотел бы распространяться повсюду о моей близости с Терезиной.

Граф Пушкин, в белом гвардейском мундире, был хорошим танцором, хотя и имел обыкновение обозначать свои повороты ударом каблука, что более напоминало польский краковяк. Я испытывал тогда – и испытываю до сих пор живейшее удовольствие, наблюдая за рыжей шевелюрой, плывущей во всей своей царственной свободе, следуя ритму скольжения пары.

Оркестр был подобран скверно и состоял из любителей; среди них выделялся граф Добриков, чья борода прекомично сплеталась со струнами скрипки, из-за чего из-под смычка порой слетали неожиданные ноты.

Вальс был быстро подхвачен русским высшим обществом, но он не мог исполнить целиком свою миссию, ибо не дошел до народа и долго не получал необходимой поддержки.

Мой отец пользовался шумным успехом. Он стоял между княгиней Багратион и польским графом Завацким с бокалом шампанского в руке, стараясь удовлетворить любопытство, которое вызвали в свете наши приключения в кровавом водовороте восстания. Дамы особенно интересовались изнасилованиями, а господа – пытками. Джузеппе Дзага отвечал на вопросы вежливо, но несколько рассеянно. Когда отзвучал вальс, граф подвел Терезину к супругу; отец, видимо, хотел что-то сказать, но сдерживался. Лишь когда гостеприимный хозяин удалился, отец прошептал, провожая его взглядом:

– У графа Пушкина скоро родится сын. Этот сын будет величайшим поэтом России. Он погибнет на дуэли в возрасте тридцати шести лет.

Меня, конечно, как известного шарлатана, поспешат обвинить в подтасовке и, без сомнения, добавят, что всю жизнь я создавал легенды о могуществе нашего племени. Но ложь всегда была мне отвратительна, ведь она противна самому духу искусства, которое творит истину, в то время как ложь извращает и искажает ее.

То, что отец предсказал рождение и трагическую судьбу Пушкина, подтверждают свидетельства очевидцев. Я имею в виду прежде всего графа Завацкого, который в своих мемуарах, написанных почти шестьдесят лет спустя, вспоминает о том, что он называет «сверхъестественным пророчеством барона Дзага». В момент написания мемуаров граф впал, в нищету, будучи одержим роковым пристрастием к азартным играм. Я несколько раз оказывал ему помощь, ибо это был милейший человек. Его воспоминания погрешили против истины в одном пункте: Джузеппе Дзага никогда не обладал никаким аристократическим титулом за исключением одного – артист.

Глава XXXVI

Мы отъехали в Санкт-Петербург в конце ноября; отец был сильно озабочен и пил более обыкновенного. Он говорил, что его терзают мрачные предчувствия, и иногда, поднимая одновременно к небу и глаза, и донышко бутылки, он бормотал, что видит знамения, от которых не стоит ждать ничего хорошего, ибо происходит соединение Марса, Юпитера и Сатурна, планет, никогда не благоприятствовавших людям нашего племени. Прихлебывая португальский ликер, отец объяснял мне, что там, наверху, существуют две соперничающие космографии, которые борются между собой с начала времени, и что даже лучшие астрологи не смыслят в этом ни аза, ибо тамошние дела подчиняются непредвиденным капризам и взаимному околпачиванию двух враждующих сил. Следуя его взглядам, ситуация осложняется еще и тем, что олимпийские боги продолжают удерживать за собой четвертую часть неба, ныне впавшую в хаос и анархию вследствие обрыва нити, связующей с людьми. Это накопление божественной энергии, оставшееся без употребления в течение многих веков, может оказаться весьма полезным тому, кто сумеет связать разорванную нить, исходя из того простого расчета, что чем больше накопилось божественной энергии и чем меньше людей ею пользуется, тем больше будет часть, принадлежащая каждому.

– Древние умели доить своих богов, вот что! – бормотал он.

– Ты хватил лишнего, папаша! – сказала ему Терезина, пытаясь отобрать бутылку, в то время как наша карета тащилась по раскисшей дороге меж берез, так безжалостно оборванных осенним ветром, что они казались голозадами.

Отец встал на защиту как бутылки, так и собственного достоинства, объявив, что происходит по прямой линии от Гермеса и его сына Арлекина, поскольку божественное происхождение болвана обыкновенно игнорируют. «Среди сияющих светил, – заявил Джузеппе Дзага, – возможно узнать звезду *commedia dell'arte*, от имени которой мы услаждаем нашу публику».

Так разглагольствуя, отец высунулся в окошко и поднял взор к небу, словно отыскивая в нем собратьев скоморохов. Я же видел в нем звезды – не обычные небесные звезды, окруженные сырым туманом, но те, что медленно сгорают в течение нашей жизни впотьмах, внутри нас, и видимы во всей своей чистоте и ясности лишь на лицах детей. После этого отец выдал нам соло из третьего акта «Баркаролы», посредственной оперы сеньора Спасен, но не было ничего странного в том, что, столь прочно утвердив свое искусство в высшем московском обществе, отец позволил себе откликнуться на природные струны своей души. Слуги дремали в своих повозках среди нашего реквизита, из которого, несмотря на все передряги, ничего не было утрачено. Там было все: маски, полишинели, голуби, спящие в рукавах сюртука, поскольку, в силу привычки, они не желали жить в другом месте, карточные колоды для фокусов, электрический жезл месье Трюссо, ларец с двойным дном и рессорами, зеркало, разделяющееся на три части, часы, объявляющие время человеческим голосом, после чего следует предсмертный стон, – церковь давно косилась на них; некое зелье, вызывающее видения рая или ада, в соответствии с наклонностями каждого, золотая пудра, при нанесении которой на веки страдающего бессонницей тот погружался в волшебные сновидения; поддельные труды Сократа, собранные его учениками, и подлинные – Данте и Шекспира, наши флейты и гитары. И конечно, волшебный сундук синьора Уголини, где спали оболочки персонажей, в которых так нуждалась важная серьезность, чтобы подвергнуть свои истины испытанию огнем при посредстве иронии, пародии, шутки.

Терезина спала, положив голову мне на плечо, укутавшись в волны своих волос и в шубу; синьор Уголини клевал носом, но всегда вовремя просыпался, чтобы улыбнуться моему отцу – ведь тот не мог обойтись без публики; я тихонько обвил рукой талию моей Терезины, и это не давало мне уснуть. Собаки беспокойным лаем изливали тоску, сообщенную им людскими сердцами перед отходом ко сну, Все казалось застывшим, бескрайним, трудно было вообразить, что мы пересекаем населенную местность, а не само Время. Мне кажется, я до сих пор там, и наша карета и следующие за ней повозки, груженные скоморошьям скарбом, продолжают тащиться сквозь тьму к ночлегу, где мы сможем отдохнуть и согреться какой-нибудь новой обманной надеждой, прежде чем продолжим наш бесконечный путь.

Не прошло и трех дней с нашего приезда в Санкт-Петербург, как мрачные предчувствия отца оправдались совершенно, словно подтверждая старую поговорку о том, что истина спрятана на дне бутылки.

Было семь часов вечера; отец вернулся с деловой встречи со своим управляющим и несколькими лицами, представляющими наши интересы. Наши дела были расстроены. Значительные суммы, которые отец одолжил нескольким лицам, в частности графу Григорию Орлову, так и не были возвращены, хотя срок оплаты давно миновал. Шансов получить долг почти не было. Удрученный угрызениями совести, цареубийца Орлов все чаще и чаще испытывал припадки безумия. Говорили, что по ночам он душил Петра III. В то время в Санкт-Петербурге подвизался грязный шарлатан по имени Пален, порекомендовавший Орлову оригинальный способ избавления от преследовавших его кошмаров. Он утверждал, что граф потому так переживает за свой поступок, что совершил его лишь единожды, из чего следует, что, если бы Орлов задушил своими руками еще несколько человек, он, так сказать, набил бы руку в этом ремесле и вовсе перестал бы о нем думать. Короче говоря, Пален советовал сделать из убийства привычку, или, как сказали бы нынче, банализировать акт удушения. Таким образом, Григорий передумал порядка двадцати крестьян, дабы обрести душевный покой и закалить совесть.

Понятно, это была лишь клевета, ведь всем было известно, что братья Орловы вышли из монаршей милости и теперь всякий старался отплатить им за былую заносчивость. Пален, однако, был закован в железа и препровожден за границу, будучи обвинен в «каббалистической практике». Патриарх Герасим не упустил случая для произнесения новых анафем и яростных проповедей против франкмасонов и каббалистов, досталось от него и отцу. Каждый день нам передавали слухи, распускаемые попами на наш счет, среди них на почетном месте фигурировали обвинения в черной магии и, понятное дело, в примешивании крови невинных младенцев в настойки и микстуры, производимые отцом. Должники не преминули воспользоваться этими сплетнями, чтобы не платить по счетам, зная, что отец не осмелится подать жалобу, чтобы не быть обвиненным еще и в лихоимстве. Пустили в ход и дело о нашем пребывании в свите Пугачева, и дошло до того, что утверждали, будто отец вошел в такое доверие к злодею, что последний, перед тем как попытаться улизнуть, доверил ему всю свою казну. Потемкин, расположенный к нам доброжелательно, прислал записку, в которой по-дружески советовал покинуть на какое-то время пределы империи.

Вот в этих-то обстоятельствах, едва интендант и два торговца, ведущие дела с отцом, покинули наш дом, в ворота дома постучали с силой и настойчивостью, отнюдь не предвещавшими прибытие друга. Отец распорядился открыть, и несколько мгновений спустя красавец мужчина лет тридцати, одетый в белый гвардейский мундир и медвежью шубу, небрежно накинутую на плечи, с нагайкой в руке, вошел в вестибюль дворца Охренникова, освещенный блеском свечей, которые наш лакей поднял перед гостем.

Он был нам незнаком. Лицо его, тонкое и ироничное, было украшено забавными усиками

в форме мотылька, какие тогда в России встречались редко.

Я уселся в углу большой гостиной, откуда мог наблюдать визитера: мы с Терезиной только что закончили партию в пикет. Она возилась с тремя щенками, которыми наш ирландский спаниель Милка ошенилась три недели назад. Отец стоял на лестнице в черном шелковом фраке, обшитом серебряными украшениями, недавно доставленном от портного: он вновь оделся по последней европейской моде в предвидении скорого отъезда за границу, ибо решил, как только представится возможность, последовать совету князя Потемкина.

В нашем госте прежде всего поражала сияющая, очень веселая улыбка, почти беззвучный смех; все лицо его к тому же выражало беззаботность, я бы даже сказал – бездумность игрока и бретера, для которого риск и опасность лишь источники развлечения. На красивом лице светились глаза соблазнителя – такие в модных романах называют «бархатными». Высокого роста, как все дворяне, отобранные Екатериной в гвардию, – элегантность мундира блистательно сочеталась с хищной, почти женственной грацией, происходящей от ловкости движений, тонкости обращения и привычки очаровывать, – человек этот немедленно вызывал ревность, как ни мало усилий он прикладывал, чтобы нравиться женщинам. Трудно было предположить, что могло привести его к нам в столь неурочный час, ведь между людьми благородными, при несомненной чистоте намерений, принято объявлять о визите через лакея; одно было несомненно: где бы ни явился этот человек, речь тотчас пойдет об игре. . . Черные вьющиеся волосы живописно обрамляли его мужественный профиль; поддерживая одной рукой тяжелую шубу и сжимая в другой хлыст, он рассматривал нас внимательным и вместе с тем насмешливым взором, словно оценивая партнеров, прежде чем открыть свои карты.

– С кем имею честь, сударь? – спросил отец несколько холодно, столь неприятны, почти оскорбительны, были манеры визитера.

– Честь, честь!.. Великая вещь, – произнес молодой офицер, и его улыбка расплылась еще шире; не нахожу другого слова, чтобы описать его манеру показывать свои мелкие, восхитительной белизны зубы. Кончиком мизинца он разгладил свои усики. – В самом деле, великое слово, особенно в устах человека, продавшего душу дьяволу, а потом – оставим эти предрассудки черни – не колеблясь, совершившего ту же сделку с более скромным покупателем. . . с господином Пугачевым, например. Но позвольте же представиться. – Он легко поклонился. – Полковник граф Ясин. Я вижу по выражению ваших лиц, что это имя вам о чем-то напоминает. . .

Должен сказать, что сердце мое похолодело, и в следующий миг я проникся восхищением перед моим отцом. В самом деле, никогда я так не обожал его, как теперь. Это был человек, способный занять самый высокий дипломатический пост. Ибо он не только не потерял присутствия духа, но улыбнулся, сошел по ступеням лестницы и, раскрыв объятия, двинулся на офицера с горячим воодушевлением, видимо давшимся ему с трудом: он налетел на него, едва не сбив с ног. Терезина бросила на меня испуганный взор, и я поспешил нежно пожать ей руку. Хотя я был в ужасе при одной мысли о потрясениях, которые не могли не последовать за внезапным появлением человека, насильно заставленного Бланом подписать наш пропуск, потом застреленного, но оказавшегося как нельзя более живым, – в моем сердце хватило места и для гордости за такого отца!

– Для меня огромное облегчение видеть вас в добром здравии, граф!

Полковник изобразил жест восхищения.

– Прекрасно сыграно, – сказал он. – Лишь итальянские мошенники обладают такой изобретательностью в низости. Мой друг Казанова всегда держался этого мнения. Итак, как вы изволите видеть, пуля, что должна была стать смертельной, прошла, не причинив мне особого вреда. Заботы нескольких услужливых и преданных крестьян, почувствовавших перемену

ветра, сделали остальное. Я прибыл в Петербург этим утром, а на завтра мне назначена аудиенция у императрицы. Я расскажу ей, как ее любимый шарлатан в течение шести недель старался изо всех сил, развлекая каналью Пугачева, и распевал на все лады: «Свободу народам и смерть тиранам». Я расскажу ей также, как под угрозой смерти, едва потом не последовавшей, я был вынужден подписать пропуск, помогший вам выпутаться.

Он замолчал и сладострастно оглядел по очереди каждого из нас, похлопывая хлыстиком по сапогу – жест, напомнивший мне кота, помахивающего хвостом перед тем, как окончательно придушить лапой мыш. Отец говорил мне потом, что именно с этого жеста, обличающего посредственный ум, и этой сладострастной улыбки он начал вновь обретать присутствие духа. Граф Ясин не выглядел настолько бессребреником, чтобы явиться сюда движимым лишь благородным возмущением, дабы передать нас в руки правосудию. Справедливость не интересовала его. То не был человек, чающий морального удовлетворения, – самый опасный среди всех возможных врагов.

– Конечно, мы ничего не знали о действиях этого француза, – сказал, как и следовало ожидать, отец. – Мы ничего у него не просили. Это был кровожадный человек.

Ясин поднял вверх свою красивую руку:

– Что до меня, я отнюдь не кровожаден. Я не испытаю никакого удовольствия, увидев вас всех троих на виселице. У меня, напротив, другие устремления, более гуманные. Итак, дорогой друг, ибо отныне мы будем очень дружны, для начала вы выплачиваете мне пятьдесят тысяч рублей единовременно и, чтобы обеспечить мою старость, тридцать тысяч рублей годового содержания. . . Вы также примете меня компаньоном во все ваши дела – помощь тем более для вас драгоценная, что я ни во что не буду вмешиваться. . . Я люблю карты, вино и любовные интрижки.

Я вздохнул с облегчением. Намного спокойнее отдаться на милость проходимца, чем угодить в лапы человека с принципами. С такими, как правило, невозможно заключить соглашение.

– У меня, как вы понимаете, нет такой суммы наличными, – произнес отец, – но завтра вы получите все.

Ясин поправил шубу, отвесил поклон Терезине, послал ей воздушный поцелуй, сопроводив его ослепительной улыбкой, повернулся и вышел.

За несколько недель мы были разорены. Нельзя сказать, что Ясин намеренно добивался нашего краха. Он просто брал деньги всюду, где находил их. Это был один из самых отчаянных игроков в Санкт-Петербурге; весь в долгах, он таскал за собой шайку прихлебателей, бессовестно его обкрадывавших. О нем говорили, что он одержим «галантностью», не поддающейся излечению, что придавало его отношениям с жизнью характер нетерпеливой поспешности в лихорадочных поисках удовольствий, так что каждый пережитый им день напоминал бег вперегонки со смертью. Отец был вынужден оплатить все его долги. Вскоре мы сами стали добычей кредиторов. Джузеппе Дзага имел неограниченный кредит у евреев, но он не позволял себе переходить границы займа и так уже значительного, который они ему предоставили. Ситуация осложнялась еще и тем, что Ясин много пил, и несколько слов, оброненных им в пьяном угаре, могли погубить нас.

Пугачев был казнен в январе. Я видел его сидящим в санях, направлявшихся к эшафоту, установленному посреди «болота». Следуя старинному обычаю, его, как и всех сопровождаемых на казнь, посадили спиной к направлению движения саней, «ибо приговоренный, не имея права на будущее, не должен смотреть вперед».

На обложке школьного учебника 1972 года выпуска советского историка Муратова иллюстратор придал лицу казака черты Ленина.

Репрессии свирепствовали, а наша жизнь зависела от гуляки, способного на любую глупость. Наконец свершилось нечто, положившее конец нашим сомнениям. На этот раз речь шла не о деньгах, речь шла о Терезине.

Через несколько дней после казни Пугачева, как раз тогда, когда отец договорился о новом займе, Ясин в девять часов утра предстал перед нами с помятым лицом и в растрепанной одежде; он пытался скрыть недостаток уверенности под маской высокомерного презрения, этого последнего убежища малодушных. В обстоятельствах менее угрожающих можно было бы подивиться при виде молодого человека столь привлекательной наружности, столь мужественного – и вместе с тем столь уязвимого: он походил теперь на львенка, попавшего в невидимые сети, брошенные на него укротителем – Судьбой. Должен признаться, я не часто встречал молодых людей с такой царственной осанкой; его падение казалось скорее следствием некоего проклятия, тяготевшего над ним, нежели природной распушенности. Отец навел о нем справки: шотландский врач, пользовавший русского офицера, сказал, что сифилис уже начал разрушать его нервную систему; это было трудно себе представить, столь непорочны были его черты.

Когда нам доложили о его прибытии, мы, мой отец и я, пили шоколад. За окном была еще темень, воздух насквозь пропитался тяжелой сыростью, дрова в камине едва тлели из-за отсутствия тяги. Ясин вошел и, не говоря ни слова, рухнул в кресла. Его лакей, лысый старик с выражением отчаяния на лице, знавший его с младенчества и следовавший за ним повсюду, как наседка, остановился на пороге, окинув своего хозяина грустным взором.

Ясин потребовал бокал вина, я налил ему. Отец даже не поднял глаз. Он был на пределе.

Не думаю, что он страшился снова встать на стезю странствующего акробата, с пустыми руками отправиться на поиски удачи в другие страны, к другой публике. Мне даже кажется, что он был готов начать все сначала, вернуться к истокам и уйти с обезьяной на плече, с шарманкой и шестью булавами для жонглирования, читая будущее по звездам и линиям на ладони; таков был древний удел нашего племени. . . Не думаю также, что он был утомлен: уже столь долго шествовал он через века по своей дороге скомороха, что усталость не могла сломить его. Если я и чувствовал в его душе некоторое смятение, то причина была в другом: я уверен, что он уже знал о том, что Ясин собирался ему сказать, и принял свои меры. Наверняка читатель обвинит меня здесь в передергивании – он будет прав. Но я полагаю, он с тем же успехом мог бы адресовать этот комплимент самому себе. Вся наша жизнь сплошное надувательство, истинный гений узнается лишь по бессмертию. Зная, что смерть не что иное, как отсутствие подлинного таланта, мы все приговорены к подтасовкам и более-менее удачным имитациям. Ясин потребовал еще шампанского и лосося. Его рука дрожала от усталости, он опрокинул бокал с вином на мундир. . . Затем он потребовал салфетку и вытер руки. . . Достав из кармана дамское зеркальце, он оглядел себя, поглаживая усы.

– Я проиграл вашу жену в карты этой ночью, – сказал он, не прекращая рассматривать себя.

– Я знаю, – произнес отец.

– Вы шпионите за мной, да?

Он не получил ответа.

– Я играл с этой канальей Воронцовым, он постоянно выигрывал. Надо сказать, он настолько безобразен, что везение в карты – все, что ему осталось в жизни. В пять утра проиграл пятнадцать тысяч, в шесть – сорок, в семь часов я проиграл ваш дом, в полвосьмого – вашу усадьбу в Лаврово. «Ставлю вам на квит или удваиваю за один кон», – сказал Воронцов. Я ответил, что мне больше нечего поставить. «Но этого и не требуется, – бросил он, – похоже, что господин Дзага ни в чем вам не отказывает. Весь Петербург говорит,

что вы имеете на этого, с позволения сказать, мага таинственное влияние. Играю квит или вдвойне. Если вы выигрываете – прекрасно. Если вы проигрываете, вы устраиваете так, чтобы обольстительная мадам Дзага провела одну ночь со мной и исполнила все мои желания ».

Ясин положил зеркальце в карман. Он поднял руку с бокалом, требуя еще шампанского, и отпил глоток.

– Вот и все, – сказал он. – Я проиграл. – Он поднялся. – Долг чести, – отчеканил он, – должен быть уплачен в двадцать четыре часа, – поднялся и вышел.

Меня, безусловно, упрекнул в том, что я не погнался за ним, не убил. Но это труднее, чем вы полагаете, – убить своими руками человека в девять часов утра, после чашки шоколада.

Граф Ясин умер в тот же день. Отец, само собой, бросил в огонь лососину и тарелку, на которой она была сервирована, а также бокал, из которого пил покойный. Дороги чести не всегда прямы и легки, и я сделаю необходимое уточнение, добавив, что иногда надо сворачивать в сторону, чтобы ими следовать.

Глава XXXVII

Положение наше, однако, оставалось отчаянным. Наши враги распространяли слухи, обвинявшие нас в отравлении молодого графа, У отца спрашивали также в насмешливом тоне, почему, будучи разорен, он не производит золото и алмазы посредством алхимических превращений, секретом которых, по его уверениям, он обладает. И в самом деле, ничто так не противоречит репутации мага, как нужда в деньгах. Эти злопыхатели были слишком неотесанны, чтобы мы могли им объяснить, что истинная алхимия состоит не в производстве драгоценных камней, но в том, чтобы наделить человека даром мечты, что она стремится не наполнить кошелек, но обогатить воображение. Калиостро был прав, когда сказал Гёте во время их встречи в Веймаре: «Вы, господин Гёте, величайший алхимик всех времен».

Хотя слухи со временем должны были утихнуть, отец решил покинуть Россию. Ускорило это решение также несметное число шарлатанов всех цветов и оттенков, завезенных с Запада, свет которого они якобы везли в своих сундуках почтовыми каретами. Они были столь многочисленны, что не представлялось возможным отличить подлинных магов от самозванцев, и нам стало трудно сохранять подобающее положение. За пять тысяч рублей месье Пистоль, цирюльник из Арля, выдававший себя за египетского принца, «обладателя тайны пирамид, Хранителя Ключа, спутника Алефа», вызывал в темноте тени ваших дорогих усопших – вульгарный гипнотизм, возмущавший отца и названный самим великим Мессмером «бесчестием для науки». Но мне стоит процитировать моего друга Александра де Тилли, который рассказывает в своих мемуарах о выступлении в Лондоне другого шарлатана, г-на де Сент-Ильдро, также в свое время подвизавшегося в Санкт-Петербурге.

Тилли присутствовал на «сеансе ясновидения» в Челси, и вот рассказ об этом событии:

«Вдруг двадцать свечей, горевших в комнате, погасли, словно от таинственного дуновения, и я увидел появившийся сверхъестественных размеров призрак, голова которого была скрыта красным капюшоном, а сам он был облачен в белое, с капюшона, оставляя пятна на одеянии, капала кровь. Фосфорические огоньки пробегали по его волосам и освещали комнату достаточно для того, чтобы еще нагнать страху и ничего не скрыть от присутствующих. Призрак произнес несколько странных слов, заставивших трепетать г-на де Сен-Ильдро. На цоколе яшмовой колонны, расположенной посреди комнаты, располагалась печь трех или четырех метров в диаметре. Находившийся в ней металл с шумом кипел. Столб зеленого прозрачного дыма вздымался к потолку. Некоторые из этих господ испускали радостные возгласы, которые никто, кроме меня, не почел бы за крики возмущения. Уполномоченный – так назывался ассистент мэтра, завербовавший меня, – потребовал от собравшихся тишины, и процедура продолжилась. Сосед мой впал в экстатическую медитацию: он был выведен из нее ужасными протяжными ударами грома, за которыми последовала полная темнота. Ее рассеял слабый свет нескольких звезд, лившийся с потолка. Перед нами предстал Иисус Христос, несущий свой крест. Что-то грустное и в самом деле божественное светилось в его глазах. Его светлые волосы были покрыты терновым венцом. Крест довольно значительных размеров, сделанный, как мне показалось, из дерева, как и те, на которых совершались очистительные жертвы, он бросил к своим ногам: тот раскололся, как стекло, с громким треском. Побродив еще по комнате, он коснулся моего лба. Затем, повернувшись к собранию, произнес на древнееврейском, на французском и на английском, “что он оставил мир и дух свой среди нас и призывает нас к братской любви, и мы должны знать, что он всегда присутствует среди нас”. Потоки

золотой пудры, сыпавшиеся из его ладоней, наполнили гостиную несказанным светом, пахло очень приторно. Шевалье, вскочив, прильнул наконец к его ногам. Он поднял осколки креста, нежно облобызал их и запер в золотой ларец. Иисус милостиво подал ему руку и увлек в самую отдаленную часть комнаты. Там они довольно долго совещались, вскоре раздался еще один удар грома, и мы вновь погрузились во тьму.

Когда Господь удалился, на нас обрушилась такая волна света, что мы словно окаменели. Пожар дворца Армиды не мог бы сравниться с этим морем огня. Оно мало-помалу угасло, но оставшиеся блики осветили на потолке некоего господина, умершего пятнадцать-двадцать лет назад, отца одного из присутствующих, высказавшего пожелание увидеть своего усопшего родителя. То была карикатура Командора из «Каменного гостя»*. Он громким голосом воззвал к своему сыну и по-итальянски пригласил его приблизиться, ничего не опасаясь. Тот поднялся с места, горя желанием обнять автора дней своих, – и потерял сознание. Шевалье потряс колокольчик, и снова воцарилась тьма. Наконец два лакея вносят свечи. Маркизу Массини, пребывающему в обмороке, оказывается необходимая помощь. До сих пор не знаю, был он обманщиком или обманутым, но испуг его показался мне искренним».

Все это бездарное представление шито белыми нитками.

У Гёте не было необходимости прибегать к подобным уловкам, чтобы написать «Фауста», равно как и у Данте – чтобы создать свою «Божественную комедию». Рассказ графа де Тилли можно найти в книге его воспоминаний, вышедшей в 1965 году в издательстве «Меркюр де Франс». Можете представить, как отцу все это надоело: как человек вкуса, наследник славного имени, он не имел никакого желания участвовать в подобных соревнованиях. Добавлю, что непостоянная симпатия Екатерины обратилась теперь на другого чародея, вдобавок образованнейшего человека, Дидро, которого она выписала из Франции среди других редких безделушек, регулярно поставляемых ей послом.

Отец, таким образом, вышел из моды, и раздражение, которое он испытывал при виде приема, оказываемого всякому проходимцу из Парижа его прежними благодетелями, заставило его замкнуться в мрачных раздумьях, так что на него было тяжело смотреть. Предел низости был достигнут генуэзским висельником Фиореллини. Этот фрукт являл своим «посвященным» молодых ведьм и дошел до того, что приглашал «адептов» на шабаш, где в «сверхъестественной» обстановке, созданной с помощью светящегося порошка и греческого огня, эти плутовки совокуплялись друг с другом и с козлом.

Несмотря на тайну, которой были окружены эти сеансы, – «дьяволу» нужно было отстегнуть две тысячи рублей, что ограничивало круг приглашенных людьми состоятельными, – дело всплыло наружу, и Фиореллини был повешен, а десяток «посвященных» высланы за границу. Россия еще не стала Францией, и революция еще не подкрадывалась к ней на цыпочках от вольности к вольности.

При таких злоупотреблениях у отца не было ни малейшего шанса сохранить свое положение. И разоблачение, всегда становящееся уделом этих жалких самозванцев, обращалось против нас, ибо в том, что принято называть «общественным мнением», обобщение принято за правило. Наши кредиторы просто преследовали нас, да и новости из дворца были неутешительны. Немецкий медик Шуллер убедил царицу, что лауданум и опиум, которые отец прописал ей от мигрени, во многом способствовали ее запорам, которые, будучи таким образом поощряемы, ударили ей в голову. . . Императрица сочла за благо последовать советам ученого немца, и результат был благоприятен, как это часто бывает, по причине скорей психологической, в начале лечения. От этого оставался лишь один шаг до обвинения отца в

*У Гари драма названа «Каменный пир». (Прим. ред.)

шарлатанстве; в это время последовала смерть графа Ясина, и, хотя не существовало и тени доказательств нашей вины, однажды утром был получен приказ, велевший нам покинуть Россию. Более тяжкая участь миновала нас лишь благодаря вмешательству Потемкина. Он всегда поддерживал итальянцев, потому что обожал апельсины.

Жизнь – это поражение. Отец буквально рухнул, едва прочитав приказ, подписанный Екатериной собственноручно и доставленный хмурым офицером.

Джузеппе Дзага опустился в кресло, его скорбная поза выражала полное крушение мечтаний и иллюзий, выстроенных с таким жаром. Глядя на него, мне хотелось крикнуть невидимому распорядителю нашего театра, чтобы тот опустил занавес, – зачем заставлять старого актера, забывшего свою роль и потерявшего кураж, переживать унижение, сострадание и шиканье публики.

Никогда еще Терезина не была к нему так трогательно внимательна. Это, конечно, не было любовью – просто солидарность между людьми одного племени, проявляющаяся всегда, когда один из них срывает номер, тяжело падает на ковер и остается лежать подавленный, не поднимая глаз, в то время как все вокруг разрывается от свиста и насмешек.

Терезина ходила за отцом, как за стариком, с нежностью, крепко соединившей нас троих и возбуждавшей во мне какую-то родовую, кровную гордость. Евреи и цыгане хорошо знают этот последний источник сил, общий для всех слабых: приходит час, когда чувство полной беспомощности дает нам силу и гордость, чтобы держать удары судьбы.

Мы окружили Джузеппе Дзага нашей любовью. Мы не разочаровались в нем, услышав его стоны, вздохи, исполненные жалости к самому себе; его итальянский говорок никогда не воспевал так нашу далекую родину, как через эти всхлипы и хныканье, призывы к Мадонне с воздетыми к небу глазами и руками, как это делают наши венецианские торговцы, узнав, что их корабли со всем скарбом разбились и затонули.

– Но что же мне делать, Пресвятая Богородица? Что теперь будет с нами?

Он навалился всем телом на край стола, порой ударяя бессильными кулаками по его столешнице. Терезина встала перед ним на колени, взяла за руку и подняла к его лицу сияющий взор.

– Когда я заплачу долги, мне не останется даже чем заплатить за лошадей до границы.

– Ну что же! – сказала она весело. – Мы пойдем пешком. Я буду петь и плясать на ярмарках. Ты будешь показывать разные трюки, Фоско пустит шляпу по кругу... В конце концов, не так ли Ренато Дзага дошел от Венеции до Москвы? И потом, нам пора припасть к истокам, чтобы набраться новых сил, – нет лучшего омоложения.

Тут я выдал красивую фразу, из которой извлек потом немало пользы в своем ремесле: Дзага забралась слишком высоко, пора бы спуститься. Мы оторвались от наших корней, от народа...

Отец искоса взглянул па меня:

– Народ, народ... Выкуси!

Тут он сложил фигу, на что, как я полагал, не был способен столь утонченный человек, но его фигу ободрила меня, поскольку опровергла мои же слова: Дзага отнюдь не порвал со своими народными корнями.

Нам помог прибывший в Петербург Исаак из Толедо, изъездивший со своими тремя сыновьями всю Европу: он был назначен испанским синедрионом передать восточноевропейским евреям некоторые из тех фальшивых новостей, призванных воодушевить в трудную минуту народ Израиля и помочь ему держать пожитки наготове для великого возвращения.

Дело шло о выкупе у Великой Порты палестинской земли. На это потребуется еще некоторое время, но вначале нужно решить заковыристый и чрезвычайно важный вопрос. Исаак

из Толедо прибыл держать совет с самыми влиятельными раввинами: Моше из Бердичева, Бен-Шуром из Тверска и Ицхаком из Вильно. Вопрос стоял так: не будет ли оскорблением для Мессии вернуться в Землю обетованную *раньше и без него*? Не следует ли, оставаясь в готовности, подождать прихода Мессии, дабы он сам отдал распоряжения на возвращение и отвел своих детей к колыбели?

Каково будет удивление Мессии, когда он прибудет в Палестину и найдет народ свой уже на месте? Не сочтет ли он такую поспешность за чудовищный *hutzre*, неслыханную наглость или даже за неверие в свое возвращение?

Исаак из Толедо обсуждал этот вопрос с отцом, и тот поздравил своего старого друга с изобретением этой уловки, достойной самого тонкого дипломата. На самом деле вопрос о возвращении в Землю обетованную не стоял. Речь шла лишь о создании и поддержании чувства необъятной трудности задачи, чтобы помочь евреям выстоять. Все, что усложняло положение и удлиняло дискуссию, обладало спасительным психологическим эффектом, успокаивающим нетерпеливых и ободряющим отчаявшихся. Исаак из Толедо ходил от местечка к местечку, повсюду вызывая дискуссии и ставя правоверным заковыристые задачи, которые были столь захватывающи, открывали такие возможности для страстных споров и в то же время придавали великому возвращению и приходу Мессии столь реалистические черты, что польская и русская диаспоры черпали в них силу, необходимую, чтобы выжить среди погромов, репрессий и поборов, направленных против них. Благодаря этим бесконечным спорам месяцы помогали идти годам, а годы – векам.

Исаак тем не менее не брезговал никакими делами, он предложил отцу встать во главе предприятия, впервые объединявшего под большими шатрами, расставленными по всей Европе, великое племя весельчаков: жонглеров, акробатов, фокусников, музыкантов, певцов, актеров, ученых собак, невиданных зверей и природных монстров, таких как немецкие братья, сросшиеся друг с другом, и прочие создания, способные вызывать удивление публики. Нельзя больше ждать, говорил Исаак из Толедо, пока низшие слои общества поднимутся к вершинам, на которых раскрываются во всем своем великолепии истинные шедевры: искусство должно стать щедрым и незаносчивым, оно спустится в массы, лишенные его чудесных даров. Гёте, Шиллер и прочие аристократы духа расточали свой гений лишь для баловней фортуны и образования. Надо, наконец, что-то сделать для толпы, лишенной очарования.

Отец отказался.

– Моя миссия состоит в том, чтобы вскармливать души, а не двухголовых телят, – сказал он. – И потом... – Он поколебался секунду. – Чудные времена наступят. Ты знаешь, мы не имеем права предсказывать собственную судьбу. Но одно предсказание мне было сделано с век тому назад сэром Алистером Кроули, знаменитым английским посвященным, однажды прижавшим меня к своей груди: он встретил меня на улице и признал во мне товарища по вечности. За несколько дней до нашей встречи он был повешен – смерть, к которой он должен был прибегнуть, чтобы отправиться за получением новых инструкций и новых магических цифр в потусторонний мир, так как его переписка с Сатаной была обнаружена и шифр разгадан английской полицией.

Я расслышал в насмешливом тоне его голоса нечто для меня новое: это был юмор. Но по длинному лицу Исаака из Толедо блуждала блаженная улыбка, хотя ему были знакомы эти нотки грустного ерничества, это искусство самозащиты от полной безнадежности, обращение с которым его раса так хорошо усвоила, чтобы выжить. Он одобритительно кивал головой, поглаживая бороду тонкими длинными пальцами виртуоза.

– Согласно этому предсказанию, после трудного времени древнее племя Дзага познает новый триумф. Ему следует лишь распространить чародейство на другие области, придать

ему выражение, более отвечающее глубинным потребностям человеческих душ. Я не думаю, что это будет происходить, как раньше, на подмостках, куда наши предки поднимались в качестве жонглеров. Думаю, подмости будут другие, и господа Гёте, Вольтер и те, кого называют философами, гораздо ближе продвинулись к новой истине. Мой сын показывает некоторое расположение к этому поприщу.

Исаак из Толедо внимательно посмотрел на меня из-под длинных прямых ресниц, придававших его взгляду выражение потаенной благожелательности. Я не могу лучше передать этот взгляд, что ощупывал и взвешивал меня, как ткань, просто мне показалось тогда, будто я нашел своего первого издателя.

Он заставил отца принять сто тысяч рублей и заверил, что добьется от кредиторов-евреев того, что на деловом языке называют «замять долг». Когда отец, со слезами на глазах пожимая руку этого вечно молодого старца, пытался выразить свою признательность, тот оборвал его на полуслове:

– Ты не должен мне ничего. Я заключаю выгодную сделку. Евреи знают, что нет никакого риска в деле, основанном на воображении.

Судьба вдруг улыбнулась нам. Запоры Екатерины настолько ожесточились, что попы организовали специальные молебны в церквах о ее облегчении. Страдания императрицы вызвали знаменитую реплику Вольтера: «Ее Величество русская императрица может все, кроме одного» – и фразу принца де Линя: «Россия – единственная страна в мире, где народ молится об облегчении императрицы». Отец получил несколькими днями ранее новое лекарство, открытое англичанами, – истертую кору некоего дерева, произрастающего в Индии. Он отослал его императрице. Сорок восемь часов спустя она прислала нам подарок – сорок тысяч рублей, а также права на дворец Охренникова и наше имение Лаврове, которые мы уступили кредиторам и которые Екатерина выкупила. В то же время она отменила указ о нашем изгнании, но отец перенес слишком много унижения в этой стране и не мог оставаться здесь далее. К тому же он был не очень-то уверен в эффективности лекарства, которое могло перестать действовать. Мы продолжали наши приготовления к отъезду, дожидаясь теперь только установления санного пути, чтобы покинуть Санкт-Петербург.

Глава XXXVIII

27 февраля, когда уже уложенные сундуки загромождали вестибюль, а мы распределяли последние подарки, старый Фома доложил, что перед нашими воротами остановились сани и их возница хочет говорить с госпожой Терезиной, и ни с кем другим. . . Кучер наотрез отказался покинуть свой возок и умолял, чтобы барыня соизволила прийти сама. Отец велел Фоме послать наглеца ко всем чертям, но любопытство Терезины взяло верх: она накинула шубку, так как мороз стоял нешуточный, и вышла. Она вернулась спустя несколько минут, как будто слегка взволнованная или, скорей, удивленная. Взгляд ее в некотором сомнении переходил с отца на меня.

– Пойдемте, – сказала она нам.

Мы пересекли двор по неглубокому еще снегу и оказались перед санями, задок которых был укрыт рваной дерюгой. Кучер с кнутом в руке стоял перед нами. Его круглое бородатое лицо с выдающимися скулами показалось мне знакомым, но зимой все мужики похожи друг на друга.

– Смотрите, – сказала Терезина.

Она легонько приподняла рогожу. Было темно, и я не сразу опознал то, что открылось моему взору. Я никак не ожидал увидеть под грязной рогожей мертвое лицо лейтенанта Блана. Поначалу оно показалось мне следствием игры воображения, которая доставила мне после такой успех в моей профессии. Глаза француза были открыты. Черты не несли еще отметин *vigor mortis*: конец, видимо, воспоследовал недавно. . . Немного крови запеклось в уголке его рта, но она еще не успела почернеть.

– Мы не знаем этого человека, – заявил мой отец с замечательным присутствием духа.

Терезина обратила на кучера невинный взгляд:

– Кто это?

Я наконец узнал кучера. Это был казак Остап Мукин, один из мерзавцев, прислуживавших Блану и составлявших его личную гвардию. Наша реакция, казалось, настолько поразила его, что он вспотел, несмотря на ледяной холод. Он сдернул шапку и утер лицо.

– Я не представляю, зачем вы привезли сюда это тело, – сказал отец.

Остап покосился на нас и вздохнул:

– Он был ранен вчера в стычке со стрельцами. Он вбил себе в голову, что должен увидеть вас. Пять месяцев мы шатались с ватагой ребят. Хотели податься в Польшу. Но он вбил себе в голову, что должен найти вас.

– Почему же? – спросил отец.

Я бросил взгляд на Терезину. Она созерцала лицо покойного с самым глубоким равнодушием. Не буду отрицать, с каким наслаждением я выкрикиваю эти слова: «Она созерцала его с самым глубоким равнодушием». Меня, несомненно, обвинят в жестокости и удивятся, что после стольких лет моя ревность подвигла меня к столь мелочному сведению счетов. Но здесь я – хозяин. Эти страницы принадлежат мне. Я говорю все, что мне заблагорассудится, я творю что хочу, придумываю искренне и самозабвенно, со скрупулезной верностью самому себе, и если я не отказываю себе в удовольствии написать, что «Терезина созерцала лицо мертвеца с глубочайшим равнодушием», это всего лишь доказывает, что я скромно доверяю читателю мои самые интимные переживания, и если даже совру, то исключительно из любви к истине. Я знаю – к чему отрицать? – что жестокая, довольная улыбка блуждает по моим

губам, когда перо мое скользит по бумаге, и велико мое счастье иметь возможность поведать об останках ненавистного моего соперника под безразличным взором Терезины. Благонамеренный читатель, более всего ценящий соблюдение приличий, потребует изобразить здесь Терезину, убитую горем, бросающуюся на тело своего любовника, чтобы покрыть его слезами и поцелуями. Кому что нравится.

Но я чувствую, что уже исчерпал удовлетворение, вызванное безразличием Терезины перед трупом авантюриста, и с вашего позволения, равно и без него, отправлюсь далее.

– Е, рег Вассо!* – воскликнула Терезина. – Что за манера привозить то, что нам не предназначено?

Здесь я отложу на минутку перо, чтобы потереть руки и согреться. Кто-нибудь, наверно, скажет, что все это – дешевые забавы, что, вместо того чтобы смаковать грубости, вложенные мною в уста моей Терезины, я мог бы вовсе не упоминать имени Блана и, таким образом, избежать ненужных мучений. К несчастью, воображение отторгает любую ложь и законы его строже, чем это обычно предполагают. Если я хочу оживить Терезину, мне нужно принять и страдание. Без этого – ни жизни, ни любви. Мне могли бы также указать на недостоверность моих слов, сославшись на века, прошедшие от описываемой мной эпохи до сих пор, и любезно напомнить, что столь долгая жизнь маловероятна... Но я ведь открыл вам секрет своего бессмертия: я переполнен любовью.

– Е, рег Вассо! Что за манера привозить то, что нам не предназначено?

Казак бросил на него грустный взгляд и ничего не ответил.

– Мы никогда не видели этого человека, – сказал отец. – Вот, возьмите... .

Он порылся в кошельке и протянул кучеру золотой:

– Выпейте за его здоровье.

Я всматривался в лицо француза. Не знаю, было ли это предвидением, но я смутно чувствовал, что мне еще придется с ним столкнуться и я должен научиться опознавать его. Трупное окоченение уже завладело чертами его лица. Все, что было фанатичного и жестокого в его природе, еще сильнее проступило на нем, словно смерть старательно подчеркивала в этом лице самое важное. Я не мог сдержать дрожь и отвел глаза.

Блана я встречал еще не раз на протяжении назначенных мне судьбой лет. В 1919 году, будучи народным комиссаром, Блан забивал гвозди в погоны пленным царским офицерам. Это исторический факт: читатели, обвиняющие меня в злоупотреблениях при выполнении моих профессиональных обязанностей, могут навести справки. Он же по приказу Сталина руководил расстрелом польских офицеров в Катыни. Наделенный вездесущностью и бессмертием, полностью подчиненный политическим страстям, он станет одним из любимчиков Гитлера, успев отметиться на рубеже XIX века в движении террористов-бомбистов и даже обрести там еще одну временную смерть, вернувшись из нее с еще более пламенной ненавистью и фанатизмом. Но я ничего еще не знал о той первозданной силе, обладатели которой погибают лишь для того, чтобы возродиться обновленными, и, когда Остап вскочил на облучок и стегнул коней, я был твердо уверен, что казак увезет бранные останки человека, о котором я никогда больше не услышу, в глухой зимний лес.

Теперь и подавно не стоило откладывать наш отъезд. Один из товарищей Блана мог внезапно появиться на нашем пороге или донести на нас, а наше положение и так было непрочным. Этапы в Сибирь отправлялись каждую неделю, и добрая половина заключенных гибла в дороге.

*Черт возьми! (*ит.*).

Мы покинули Петербург через день, предварительно разделив между слугами все, что не могли забрать с собой.

Оставалось уладить некоторые дела, в частности продажу Лаврово и дворца Охренникова: главный покупатель, купец Иван Пимов, зная, что мы отправляемся в изгнание, жаждал заполучить имение и дом по бросовой цене и всячески оттягивал заключение сделки. Было решено, что наш верный Уголини останется в Санкт-Петербурге на время, необходимое для продажи на наших условиях. Мне не суждено было больше его увидеть. Несколько дней спустя после нашего отъезда он умер от сердечного приступа. Наш друг предчувствовал свой скорый конец, и наше расставание было мучительным. Он долго сжимал меня в объятиях, так что мое лицо намокло от его слез. Я напомнил ему, что наше расставание будет недолгим и наша встреча на берегах лагуны придаст еще больший блеск венецианскому празднику. Тонкие брови дорогого нам человека приподнялись на лбу домиком, что сделало его похожим на грустного Пьеро, а его круглые, как бочонки лото, глаза, обычно такие подвижные, устали в мое лицо с выражением бескрайней печали. Он вздыхал, покачивая головой:

– Не знаю, Фоско, мой мальчик, не знаю... Здесь... – Он дотронулся до своей груди у сердца. – Здесь происходит что-то странное... Отказывается играть свою роль. Старый скоморох у меня в груди утомился ломать комедию. Это, может быть, конец *commedia*; я не очень сожалел бы об этом, если бы не любил вас так сильно...

Чтобы скрыть беспокойство и сдержать слезы, я со смехом сказал ему, что он проживет еще сто лет и что у меня достанет воображения сделать его бессмертным. Перед тем как покинуть навсегда дворец Охренникова, я поднялся на чердак, чтобы бросить последний взгляд на снаряжение иллюзиониста, так очаровавшее мое детство. По углам были разбросаны маски, уставившие пустые глазницы в пыльный пол. Некоторым из них было несколько веков, должно быть, они в свое время скрывали немало прелестных лиц; я подобрал одну из них, расшитую бисером и серебром, с жемчужинами в уголках глазниц: она словно оплакивала венецианский праздник и все карнавалы, рассеявшиеся как дым. Бездвижные куклы наполовину выглядывали из сундуков, опустив головы в глубокой печали, – ведь нет на свете поэзии более томной, жестокой и волнующей, чем поэзия запустения. Марионетки Коломбина, Капитан и Сганарель соединились в братской прострации бездвижных вещей, позабыв навсегда свои вечные свары, оживающие в комедии. Я сунул в карман тот самый договор, что Фауст скрепил своей кровью; он оказался здесь, наверно, потому, что дьявол, нуждаясь в деньгах, однажды продал его собирателю раритетов. Рядом со старыми музыкальными шкатулками валялись толстые древние книги, посвященные бессмертию души, – самые мудрые из них давали рецепты, как избавиться от такой напасти. Я бросил прощальный взгляд на учебники по алхимии, открывавшие верные способы производства золота. Потом мы узнали, что отец совершил большую ошибку, оставив их в России: они были в самом деле использованы против евреев, ибо большинство из них были написаны на древнееврейском, что являлось вещественным доказательством нерушимой связи проклятого народа и Маммоны. В последний раз я пробежался пальцами по коллекции талисманов, самые маленькие я засунул в карман. Большая часть из них оберегала от болезней и злой судьбы и защищала от смерти; эти вещицы сегодня очень редки, цена их постоянно растет, не по причине их спасительных свойств, но из-за их редкости и художественной ценности. Я не мог сдержать улыбки, поглядев на флаконы с остатками приворотного зелья, молодящей воды и эликсира бессмертия: эти древности теперь не имеют применения и смысла – любовь ныне не нуждается в эликсирах, как, впрочем, и во влюбленности.

Слезы подступили к моим глазам, я знал, что прощаюсь не только с чердаком дворца Охренникова, где я провел столько волшебных часов, но и с лесом в Лаврово, и с моими

старыми приятелями дубами, с драконами, волшебниками и Бабой-ягой, которую ославили чертовой бабушкой, хотя на самом деле она бабушка всем детям.

А потом я повернулся спиной к этой стране, которую никогда не знал и откуда никогда не уезжал, – во всяком случае, в этом я пытаюсь уверить себя, когда ностальгия становится невыносимой, а ребенок, сидящий рядом, без остановки рассказывает мне сказки, на которые я, старый человек, уже не имею права.

Глава XXXIX

Мы растворились в снежной мгле еще до того, как зазвонили колокола собора Святой Василисы. . . Едва кони вынесли нас за заставу, отец неожиданно запел своим красивым баритоном *dolce suave*, как говорят гондольеры. . . То было, несомненно, следствие долгих месяцев напряжения, бессонницы и беспокойства – он никогда не позволял себе легкомысленных поступков, столь противоречащих мрачному, таинственному виду, который он напускал на себя в присутствии посторонних.

Нашим попутчиком по многодневному путешествию в карете был карлик-голландец, знаменитый доктор Ван Кроппе де Йонг, чрезвычайно любезный человек, столь высокого ума и столь малого роста, что Екатерина, заполучившая его от принца де Линя, приставила к нему специального лакея, наблюдавшего, чтобы его случайно не раздавили.

Карлики в ту эпоху переживали тяжелые времена. В качестве приятелей и любимых игрушек царственных особ они миновали фавор и теперь вышли из моды – иметь в свите карлика считалось теперь дурным тоном. Полагали, что их присутствие отдает Средневековьем, что проделки их недостаточно изысканны; я считаю, что колокол пробил по шутам с появлением Вольтера при дворе короля Фридриха.

Доктор де Йонг пользовался благосклонностью царственных особ и теперь собирался вернуться на свои земли близ Утрехта, но, по его словам, положение его собратьев, особенно молодых, было удручающим. Оставался еще народ, но выступать на ярмарках после роскоши дворцов было унижительно. Те, кто согласился на эту судьбу, старались заполучить к себе в напарники великана, ведь публика смеялась до слез, увидев на сцене подобную парочку; к сожалению, найти людей выдающегося роста было нелегко. Князь Вюртембергский устроил деревню карликов близ Вагена: там были хлебные и мясные лавки, прочие торговые заведения специально для карликов, публика стекалась издалека, чтобы поглазеть на них. Доктор де Йонг был ростом восемьдесят сантиметров, густая черная борода доходила ему до колен. Когда Пушкин писал поэму «Руслан и Людмила», то, должно быть, использовал его образ для создания персонажа карлы-колдуна, способного летать по воздуху благодаря движущей силе своей бороды. Это был человек обширнейшей учености. Я нашел в переписке князя де Линя строки, посвященные ему: «Этим утром я принял господина карлика Ван Кроппе де Йонга, пришедшего искать моей поддержки для избрания его в Утрехтскую академию наук, где он рассчитывает представлять математику. Его идеи показались мне забавными. В течение часа он излагал мне свою теорию, согласно которой по мере удаления от Земли и людей время течет все медленней. Хотя я не много понял в его выкладках, я немало поразвлекся, глядя на то, как маленький человечек запросто обращается с бесконечностью; после его ухода мы долго смеялись. Я порекомендовал г-ну Вуатье попробовать его в своем театре, так как он в высшей степени обладает даром невольного комизма, тем более драгоценным, чем менее он осознается самим его обладателем, принимающим себя всерьез. Г-н карлик объяснил мне, что его математическая теория, согласно которой время по мере удаления от Земли и прохождения небесных сфер замедляет свой ход, имеет большое философское значение. В самом деле, следуя ей, время, приближаясь к Богу, ложится у Его ног и совершенно замирает, что в итоге дает вечность. Потешный маленький человечек, рассуждающий о вечности и бесконечности, не лишен некоторой патетики, которая свидетельствует лишь о его страданиях по поводу своего уродства и раздирающем душу желании величия».

Нам было удобно беседовать у нас в карете, мчащейся в ночи: внутри было просторно, кресла мягки, полозья легко скользили по плотному снегу. Терезина слушала г-на де Йонга и проникалась сочувствием к бедному маленькому народцу, утратившему симпатии сильных мира сего и отброшенному ими, как надоевшая игрушка.

– Ах, мадам, – говорил де Йонг, важно глядя на нее поверх очков, – поверьте, быть выдающимся человеком совсем непросто. Люди не очень-то любят то, что дерзко выделяется из общепринятых норм. Втайне карликов презирают. Вы, несомненно, имели случай убедиться, что чем человек выше, тем он глупее, ибо тело потребляет питательную субстанцию, предназначенную для мозга. . . Наш малый рост predeterminedил наш ум и сообразительность – я не знал ни одного карлика, не бывшего большим политиком. Нужно умалиться, мадам, чтобы понять человека. Да простится мне это смелое утверждение, но Эразм и Монтень были карлики.

Мы подъезжали к ночлегу далеко за полночь, и все это время г-н де Йонг не переставая рассуждал о величии карликов, – он занимал столько места и хотел казаться таким важным, что отец шепнул мне на ухо:

– Мы путешествуем с великаном.

Вид большой дороги, казалось, вернул Джузеппе Дзага уверенность в себе. Он посвящал нас в тысячи проектов, словно при приближении к Западу и его сиянию он ощутил внутри себя возрождение веры в свои таланты. Словно он предвидел, что искусство иллюзии ожидают там, на пороге его самых блестящих завоеваний, на горизонте будущих веков, бесконечные возможности. Он объявил нам, что искусство будет все больше и больше зависеть от могущества слова, опирающегося на высокие идеи. Чтобы сохранить нетронутой их красоту, ни в коем случае нельзя касаться этих идей и тем более воплощать их в жизнь.

Джузеппе Дзага говорил с такой искренностью, что Терезина, а за ней и я начал беспокоиться, не настигла ли его болезнь, сгубившая не одного члена нашего племени, болезнь, состоящая в том, что вдруг начинаешь принимать всерьез собственные слова и рассыпать перед собой золотой порошок иллюзии, предназначенный для публики и крайне вредный для чародея. Я знаю немало моих собратьев, настолько увлекшихся игрой, что они забыли, что наше искусство направлено к одной цели: уверить публику в подлинности иллюзии. Но мы не должны забываться сами из опасения потерять твердость рук и уверенность, которые плохо уживаются с откровенными переживаниями.

Я, однако, быстро понял, что отец вставал в позу, прижимал руку к сердцу и раздражался пламенной речью лишь для того, чтобы привести себя в форму и смазать механизмы при приближении к Западу.

Я был окончательно успокоен на этот счет на границе Богемии, где мы остановились на ночлег в гостинице под вывеской «Сказочный принц». Там мы встретили двух гусаров австрийской армии. Они возвращались из Польши, где только что была задушена свобода; с тех пор поляки не раз удивляли мир своей способностью умирать и возрождаться вместе со своей свободой. Они играли в карты на грязном столе, перед ними я заметил кучку золотых монет, не переходившую из рук в руки и предназначенную, видимо, лишь для привлечения мух. По небрежному, но светски заинтересованному взору, брошенному отцом на эту приманку, я понял, что мой родитель находится в прекрасной форме и не подхватил заразу моральной чистоты, губительной для всех, кто живет на глазах у публики.

Мы поужинали в компании господина де Йонга, поглаживавшего свою бороду с мечтательным видом, словно и он подпал под очарование, оказываемое золотом на всякого подлинного любителя красоты.

Жаркое было приготовлено на славу, токайское приятно напоминало о близости Венгрии.

Терезина, за последние несколько дней слегка побледневшая, удалилась к себе сразу после ужина с улыбчивой скромностью, свидетельствующей о женской интуиции в ожидании выгодного дельца.

Один из офицеров, здоровяк с огромными усами и выдающимся органом обоняния, небрежно позвенел золотыми кругляшами.

Отец бросил мечтательный взгляд на густую бороду доктора.

– У меня, – сказал он, – есть, простите мне этот варварский оборот, две одинаково похожие колоды карт.

– В путешествии, – ответил Ван Кроппе, – это совсем не лишняя предосторожность.

– Я горячий поборник морали, – произнес отец нарочито громким голосом. – Она учит нас, что иногда полезно преподать хороший урок тем, кто не соблюдает ее законов.

– Я разделяю вашу философию, – подал реплику маленький доктор, – и готов разделить с вами ее блага.

С легендарной ловкостью Драга-отец выложил перед ним колоду карт.

– Под бородой, – посоветовал он,

– Не знаю более надежного места, – ответил наш любезный друг.

Венгр, позвенева еще немного монетами, поднялся и подошел к нашему столу.

– Господа, – сказал он, – мы здесь умираем от скуки. Вот уже десять дней мы ожидаем почтовую карету на Прагу, но она всякий раз уходит у нас из-под носа, потому что вся австрийская армия запрудила дорогу, а генералы и полковники, как известно, не очень-то церемонятся с лейтенантами. Возможно, мы обречены оставаться здесь до тех пор, пока повышение в чине, к тому же вполне заслуженное, не позволит нам продвинуться в очереди. Для проведения времени мы держим маленький банк. . .

Отец поднялся:

– Позвольте вам представить знаменитого доктора, философа Ван Кроппе де Йонга.

– Как же, как же, – сказал офицер. – Не вы ли, сударь. . .

Он замялся.

– Именно так, – проворчал доктор. – Я доказал математически бессмертие души, что доставило мне немало неприятностей со стороны Церкви. Там утверждают, что желание научно доказать бессмертие души обличает недостаток веры.

– Маленькую партию? – предложил офицер.

– Попробую проглотить слово «маленький», – пробурчал карлик, работая вилкой. – Я не прочь помочь вам убить время, но должен предупредить, что мое телосложение сделало меня крайне подозрительным. Обстоятельства, способствующие моему появлению на свет и сделавшие меня таким, каков я есть, сами по себе кажутся мне весьма подозрительными и заставляют думать о заговоре высших сил, жертвой которого я стал. Судьба против меня, но это не помешает мне обороняться. . . Я хочу сказать, что играю лишь моей собственной колодой. . . Это не оскорбление, господин офицер, поверьте, это скорей философия.

Лейтенант поклонился.

– Лучше и не скажешь, – ответил он.

Было условлено, что банк переходит на валетов, а игра пойдет на три карты, то есть на девятку, даму и туза, – тогда это называлось «кавалерия».

Мне всегда доставляло огромное удовольствие наблюдать, как отец манипулирует картами, ибо его ловкость напоминала о наших предках, первых комедиантах broglio, исполнявших свое дело задолго до того, как оно занесло нас так высоко в наших амбициях – или претензиях.

В этот вечер он превзошел самого себя – полагаю, перед тем как достигнуть Запада, где конкуренция обострилась и искусство достигло новых вершин, он чувствовал необходимость

припасть к истокам и испытать твердость руки и навыки фокусника. Два лейтенанта были ошипаны так быстро и ловко, что уже через час, не имея больше ничего поставить на кон, они были вынуждены подписать долговые расписки, что вызвало безудержный смех доктора Ван Кроппе. Еврей, хозяин гостиницы, проводивший нас в комнаты, открыл нам, что уже две недели два профессиональных шулера расположились здесь на постой, так как это место после польских событий стало настоящим проходным двором Европы. То были братья Зилаи, позднее осужденные и повешенные по делу семидесяти двух полячек, на которых они женились, чтобы потом препроводить их в турецкие гаремы.

Я думаю, из всех времен, которые мне довелось пережить, семидесятые годы XVIII века были самыми яростными, ибо Европа монархов при своем закате расплодила стада авантюристов, плутов и мошенников, начисто лишенных совести, но не воображения, и некоторые из них пробуждали в моем сердце ту же сладкую дрожь и в моей душе то же любопытство, что и сказочные чудища, которых мой глаз научился различать в заколдованных лесах Лаврово. Приближение нового времени угадывалось по обильной плесени, появляющейся на великих переломах и придающей времени привкус хотя и не безупречный с точки зрения морали, но обладающий богатством оттенков, – этакий букет сыра, достигший апогея своего созревания и готовый к употреблению.

Глава XL

Мы приехали в Прагу серым утром, прочерченным блуждающими снежинками, казавшимися слишком легкими, чтобы упасть, и касавшимися земли лишь для того, чтобы тут же взлететь; город раскинулся по холмам и вдоль реки, как огромный каменный паук. Проезжая мимо Градчанского замка, мы нагнали процессию святого Иоанна, покровителя портных и суконщиков. В Богемии делают свечи в человеческий рост; плотные, желтые, они струили сквозь туман свой призрачный свет; процессия таяла в хмари, снеге и влажных испарениях земли. Мне почудилось, что мир застыл перед пропастью или могилой, и в то же время, посмотрев на лицо Терезины, чтобы согреться душой, я заметил, или мне показалось, что оно стало словно прозрачным и расплывчатым. Мой взгляд с трудом удерживал ее, словно мое воображение вдруг исчерпало себя и истощилось, став добычей одного из приступов реальности, настаивающей иногда тех, кто усомнился в себе. Я тронул ее руку: она была холодна. Отец также заметил это внезапное крушение, это рассеяние черт, утративших реальность; я прижал губы к ее виску – он тоже был скован холодом, который Прага более, чем какой-либо другой каменный мешок, впитала в себя. Терезина мне улыбнулась – и сразу все наши страхи улетучились, улыбка вернула нам ее во всем лучащемся веселье, прогнавшем визгливых тварей страха. . . Это пустяки, объяснила она, дорожная усталость, только лишь. . . Она погладила меня по щеке, и ее улыбка, которую она не переставая дарила нам, наполовину подернулась печалью. И еще, продолжила она, Фоско оставил свое детство там, на этой русской земле; чердак, куда он забирался мечтать, и бедный старый Лавровский лес, теперь, должно быть, безутешный, захватил единственный настоящий дракон, подлинное чудовище, обитающее там, под именем *реальность*. . . Фоско стал мужчиной и, должно быть, не любит меня, как раньше, а создания мечты этого не прощают. . .

Я вскричал. Голос мой дрожал, я был в ужасе – может быть, оттого, что я чувствовал, что Терезина была права и, покинув страну детства, я отрекся от чего-то главного во мне; я клялся, что, если любовь в самом деле приходит и уходит с возрастом, лесом, чердаками, местностью, это, может быть, справедливо для другой любви, не для моей.

– Ладно уж! – сказала Терезина, – не знаю, было ли в ее голосе смирение или беззаботность. – Ладно уж! Все, что нам нужно теперь, это огонь, скрипки и «Вальс улыбок», – чем более губительны миазмы, тем больше они боятся веселья.

Мы остановились в пресловутой гостинице Яна Гуса, где вам еще и теперь покажут стол, на котором Бенезар Бен-Цви написал свою знаменитую исповедь. Создатель Голема был нашим выдающимся предшественником, отец всегда рассказывал мне о нем с глубочайшим почтением, хотя его венецианский темперамент плохо уживался со столь мрачным чародейством. Наперекор тому, о чем рассказывает История и утверждает автор, нет никакой уверенности в том, что он стал трагической жертвой собственного творения; более чем вероятно, что он изобрел подобную развязку для того, чтобы придать большую значимость своему творению. Мой отец нанес визит Бенезару Бен-Цви в момент, когда тот отчаялся найти нужные ингредиенты и пропорции, в которых они должны быть подмешаны к гончарной глине для создания Голема. Бен-Цви большую часть жизни занимался живописью и переключился на скульптуру с целью создать нового человека лишь к семидесяти пяти годам. Отец сказал, что он впал в полную нищету, но оставался преданным душой и телом своему замыслу. Он жил в подземелье гетто, почти не замечаемый прочими евреями, потому что скульптура и живопись

связывались с католической религией и все евреи, занимавшиеся ими, почитались за ренегатов. Когда отец пришел его навестить, Бенезар Бен-Цви был на грани отчаяния. Его жилище было все перемазано глиной, вонючими субстанциями и ароматными эссенциями, которые он подмешивал в нее.

– Я хочу создать нового человека, который мог бы построить новый мир и повести его к свету новых идей, – бормотал он. – Человека, который будет отличаться от всего, что существовало до сих пор в этом жанре; только не примите это за критику великих мастеров Ренессанса. . . Но где взять материалы?

Отец подал ему идею. . . Так он говорит, и я верю ему. То была идея в традиционном стиле Дзага.

– Существует лишь один материал для подобного творения, – заявил отец. – Это бумага и чернила. Хорошими чернилами на хорошей бумаге, с твоим прекрасным еврейским воображением, ты сможешь создать новый мир и нового человека.

Свет воссиял в душе нищего чародея.

– Mazeltov! – вскричал он. – Благословен Господь!

Так Бенезар Бен-Цви дал жизнь своему бессмертному Голему с помощью бумаги и чернил. Писатель Густав Майринк также извлек из этого сюжета идею превосходной книги, повторенной потом авторами множества Франкенштейнов.

Само собой, легенда победила исторический факт. Говорили, что Бенезару Бен-Цви удалось слепить из глины великана и вдохнуть в него жизнь. Но этот «новый человек», которому он передал весь жар своей души, стал править им, затем Прагой, затем всей Чехией – и до сих пор царствует над этой несчастной страной.

Но те, кто видел, как высокий старик с изможденным лицом в меховой шапке каждый вечер усаживается в углу трактира своего друга и покровителя, знают, как он создал своего нового человека: пером, чернилами, бумагой. И творение его осталось на бумаге.

Это творение еще долго будет очаровывать читателей и зрителей, и я думаю, что история чудовища, созданного мечтателем в поисках совершенства, навсегда сохранит свое место в трагической летописи Праги.

Глава ХLI

Терезина продолжала терять свой образ. Не знаю, каким еще словом описать прозрачность, ею завладевшую. Казалось, она удаляется, каждый день ее черты потихоньку стирает чья-то невидимая рука; ее просвечивающая бледность различалась так ясно, что я невольно дотрагивался до ее щеки, чтобы убедиться, что мои пальцы не пройдут насквозь, до самой подушки. Лишь рыжие волосы сохранили прежнюю роскошь, живя своей отдельной шелестящей, теплой жизнью. Но однажды утром, когда я вошел в комнату, где день и ночь горел огонь, я увидел, что ее волосы поблекли, обездвижились и качали выцветать; впервые со дня нашей встречи она не предложила мне поиграть с ними. Когда на девятый день нашего пребывания в Праге, жутком, ледяном, механическом городе, изгнавшем из себя праздник и подчинившемся мрачной необходимости, я коснулся ее волос, произошло нечто небывалое. То была, быть может, слабость, трусость с моей стороны, приступ сердечной пустоты, недостаток веры в себя и в реальность творений мечты, живущих в каждом из нас и нуждающихся в постоянном воплощении со всей силой любви и надежды. Но я помню тот миг, когда моя рука ловила пустоту, не в силах найти, схватить золотые пылающие пряди, которые продолжали видеть мои глаза. Я выбежал из комнаты больной и позвал отца. Когда мы вернулись, Терезина улыбнулась нам, и я понял, что в моей тоске я опередил ход Времени и что оно не получило еще приказа и не закончило своих мертвящих расчетов.

Отец созвал лучших пражских врачей. Никогда еще им не приходилось так явно сознаваться в полной своей беспомощности. Они усматривали в болезни Терезины новую уловку смерти, раньше никем из них не наблюдаемую. Это придавало нам надежды, ибо, если эта болезнь не входила в компетенцию врачей, можно было прибегнуть к средствам борьбы, не применимым к реальности, с помощью которых членам нашего племени не раз удавалось водить безносую за нос. Единственное, в чем мы не сомневались тогда и в чем я уверен до сих пор, несмотря на все толкования, где неизменно делался упор на диагноз «скоротечная лейкемия», – это то, что человеку угрожает одна опасность: недостаток таланта.

Терезина слабела день ото дня на наших глазах, ступеневаясь порой настолько, что я начинал сомневаться и в собственном моем существовании. Мне казалось, что ей угрожает опасность из-за моей бездарности, бесталанности, что она стала жертвой моего преждевременного взросления, положившего конец волшебной власти, полученной мной от моего друга Лавровского леса. Не было во мне больше чего-то, что могло бы даровать ей жизнь и цветенье.

Не Терезина поблекла, а мое воображение. Я стал мужчиной. Я не мог любить по-прежнему даже отца, не мог больше даровать ему те способности, которыми до того я так щедро его наделял... К тому же сам он не мог вмешиваться в ход событий, ибо, как известно, нам запрещено использовать наши магические силы в наших собственных интересах.

Немного надежды внушил нам юный Яков из Буды, о котором тогда только начинали говорить, – ведь ему потребовалось несколько веков учения, чтобы достичь высокого ранга в иерархии, занимаемого им, по его же скромному признанию, всего какую-нибудь сотню лет.

Яков из Буды был невысоким светловолосым человеком, полным той еврейской кротости, которую враги его народа так упорно не желают замечать. Он носил огромную меховую шапку и черный лапсердак с вышитым золотом треугольником на плече, хотя этот знак был запрещен недавними декретами о единообразии в одежде. Говорили, будто это знак отличия «вдохновенного брата», как называли масонов ордена Исайи.

Но отец знал, что этот знак не значит ровно ничего, не говорит о принадлежности ни к какой ложе, но евреи в этом плане всегда вызывали столько подозрений и обвинений в чернокнижии, что было, в общем, на руку Якову.

Я был обескуражен: я не понимал, как отец мог угодить в ловушку, вся ничтожность которой так хорошо знакома нашему племени; когда я нашел его в трактире за кувшином вина, я не мог удержаться от упрека:

– Ты же знаешь лучше, чем кто бы то ни было, что этот еврей – простой шарлатан! Ты знаешь, что настоящая, подлинная магия. . .

Я хотел было сказать: «Такой магии не существует», но мой взгляд остановился на лице Джузеппе Дзага – никогда я не видел его в таком отчаянии. Я замолк. В минуту отчаяния ценится не правда и ложь, но то, что помогает жить.

Должен сказать, что в эти дни отец целиком отдался в руки шарлатанов. Надо, однако, признать, что Яков из Буды был единственным человеком, разглядевшим истинную природу Терезины, что позволило ему остановить ее медленное исчезновение с помощью средства, о котором ни я, ни мой отец в нашем унынии и не подозревали.

Однажды вечером он посетил больную; они долго и весело беседовали. Потом он долго размышлял, расхаживая взад-вперед по комнате и теребя свою светлую бороду. Уходя, он не сказал ничего, но часом позже, когда Прага уже погрузилась в стылую тьму, он вернулся в сопровождении трех скрипачей из гетто.

Он попросил их подойти к постели больной и начать играть.

Всю ночь в гостинице звучали еврейские скрипки, и с первых аккордов стало ясно, что бледная немочь, овладевшая Терезиной, как огня боится этого безудержного веселья, этих бесхитростных, живых мелодий, проникнувших на одр болезни. Под моим восхищенным взором лицо Терезины вновь обретало краски. Черты ее вырисовывались яснее, обретали контуры, волосы оживали, губы раздвигались в улыбке – нам казалось, что Терезина спасена.

Но чудо длилось недолго, и демоны, порыскав три дня и три ночи подальше от скрипок, а может, и поближе, чтобы пообвыкнуть и приобрести иммунитет, обрели силы и вновь набросились на мое творение, побуждаемые этой стервой, этой сводней Смерти – будь она проклята до гнилых своих потрохов – по имени Реальность. Как только гадина почувствовала свою силу и взяла власть в свои руки, Терезина снова стала удаляться, еще быстрее, чем прежде. Я сидел у ее изголовья, неотрывно глядя на нее. Я придумывал ее изо всех сил, со всей моей любовью, но за Реальностью – тысячелетний опыт, и никто не сможет соперничать с ней – не хватит воображения.

Напрасно Яков из Буды приводил молодежь из гетто танцевать хоро в комнате Терезины и вокруг гостиницы; вдобавок он присоединил к скрипкам никогда не виданный инструмент, им же и изобретенный: после его назвали аккордеоном. Веселье больше не могло повредить Реальности – она уже достаточно освоилась с ним, чтобы шаг за шагом продолжать делать свое дело. Под глазами Терезины появились круги – это сука Реальность процарапала их своими когтями; мой отец застал ее за этим занятием и бросил в нее бутылку, но бутылка ударилась о стену и разбилась. После этого случая он полностью попал под власть шарлатанов и бессовестных посредников, он настолько потерял голову, что стал легкой добычей всего, что было в этом веке, называемом «просвещенным», самого темного и гнусного.

Было уже одиннадцать часов вечера, когда хозяин гостиницы сказал нам, что какой-то человек хочет говорить с Джузеппе Дзага. Он добавил с явным презрением, что, если позволено будет высказать свое мнение, «его превосходительство прибыл издалека и не знает: в этом году в Праге свирепствовали эпидемии, нужно держаться подальше от подозрительных личностей». Странное предупреждение – трактирщик, видимо, всерьез предполагал, что

визитер вылез из какого-то рассадника инфекции.

Единственным следствием этого предупреждения было то, что отец поспешил принять гостя. Я предположил даже, что визитер подкупил трактирщика, чтобы тот представил его в таком мрачном свете, имея в виду разбудить в сердце Джузеппе Дзага надежду на некую сделку с потусторонними силами.

Бедняга достиг уже такой степени отчаяния и смятения, что все суеверия и предрассудки, из которых наше племя извлекло столько выгод, завладели теперь его собственным рассудком, будто бы в уплату за их долгую и беспорочную службу. Он высказал мне свое убеждение в том, что Терезиной овладела некая злая сила, которая давно уже жаждала свести счеты с жизнерадостными детьми венецианского праздника. . . Джузеппе Дзага настолько укрепился в своем мнении, что готов был заключить договор с посланниками Зла, как только те соизволят явиться. Когда я попытался напомнить ему, что Сатана – лишь выдумка литераторов, а подлинным могуществом обладает лишь банальность, отец взял меня за горло, обозвав невеждой и легковерным – доверчивость для него отныне состояла в неверии. . .

Он видел спасение лишь в сделке и напряженно искал в главе книги мэтра Иоанна Лихтерли, посвященной знакам каббалы, средства войти в соприкосновение с сумеречной зоной, где, по словам Лихтерли, бродят «тени-посредники». Я не препятствовал ему; все эти бредни не могли спасти Терезину, но могли по крайней мере дать отцу лучик надежды, который мог оказаться целебным при условии безоговорочного доверия. Для того чтобы описать субъекта, вошедшего к нам в комнату, мне понадобится лишь одно прилагательное: мерзкий. Его лицо, замашки, привычка втягивать голову в плечи, словно для того, чтобы укрыть ее под панцирь, давно утерянный в процессе эволюции, но сохранившийся в памяти, маленький черный змеиный язык, которым он непрерывно облизывал свои сжатые губы, красные глазки, прячущиеся в паутине морщинок, начинавших шевелиться всякий раз, как он изображал улыбку, – все это говорило о многом, если отбросить жалкие предрассудки. . . То был превосходный посланник из другого мира для того, кто хотел бы заключить договор с его обитателями, – образ этот принес немалые доходы литераторам.

Посетитель бросил на меня неприязненный взгляд, почуяв, несомненно, мое отвращение, и предложил отцу поговорить наедине.

Я прошел в комнату Терезины, сел к ее изголовью, наклонился и прижался щекой к ее руке, на ее лице лежали такие четкие тени, что я поднял глаза, пытаюсь отыскать какой-то экран между нею и светом; в этот миг я понимал отца и готов был поверить во что угодно, какому угодно шарлатану, лишь бы он дал мне какую-нибудь иллюзию. . . Я угадывал рядом с собой чье-то зловещее присутствие. . . Всадник-смерть, вооруженный копьем, невидимый, но схваченный гением Дюрера, стоял здесь в комнате, между больной и светом, спиной к большому бронзовому подсвечнику, где горели семь свечей, отлитых для нас в синагоге.

– Фоско, ты думаешь, я умру?

– Нет, Терезина. Этого не случится, пока я с тобой. У меня есть талант, ты же знаешь. . . Я придумываю тебя с такой любовью, что с тобой ничего не сможет случиться.

Она улыбнулась. Я любовался контуром ее лица, ее глазами, губами, но теперь мне нужно было делать усилие воображения. Передо мной был лишь эскиз, и с каждым взглядом мне приходилось дополнять его.

– Вы, Дзага, все одинаковы, – сказала она. – Вы так преуспели в искусстве обманывать весь мир, что от обмана к обману пришли к уверенности, что можно придумать и мир.

– Миром я займусь позже, Терезина. Не знаю, удастся нам его выдумать или нет, но надо попробовать, ведь это наше ремесло. . . Ведь что есть любовь, как не плод воображения?

– Ты всегда будешь меня воображать?

– Всегда. Не беспокойся. Ты не умрешь.

Она серьезно посмотрела на меня:

– Ты уверен, что тебе хватит таланта?

Я прижался губами к ее глазам. Никогда еще я не был так уверен в себе.

– Я стану великим шарлатаном, – пообещал я ей. – Нет, я не обещаю стать гением, в этом случае я перестану быть мужчиной. Я говорю только, что мне достанет таланта для того, чтобы ты всегда была рядом. С тобой ничего не случится.

– А если я все же умру?

Я не смог удержаться и вздрогнул – мне не хватало еще профессиональной уверенности. Но я быстро взял себя в руки. Никто не посмеет сказать, что я, Фоско Дзага, не верю в силу звезд.

– Хочу сказать тебе, Терезина. Предположим, что однажды мне не хватит воображения и, не в силах выдумывать тебя, я тебя разлюблю. Тогда кто-то еще полюбит кого-то, и всякий раз мы опять будем вместе. . .

Когда я спустился в комнату отца, я понял по его оживленной физиономии, что гость поработал на славу. . . Джузеппе Дзага складывал в кожаный кошелек оставшиеся золотые. Я не мог сдержать улыбки, подумав о тех, кто обвинял Дзага в околпачивании легковых. Все перевернулось с ног на голову. Мне казалось, что все наши предки перевернулись в своих гробах от возмущения и ужаса, яростно, по-итальянски, жестикулируя. Да и я сам был удивлен скоростью, с которой я изменялся эти последние дни: я начал находить в себе ясность, покой и даже иронию, в то время как мой отец, обладавший в избытке этими достоинствами, все больше и больше склонялся к доверчивости, слепой вере и безрассудности, недостойной настоящего шарлатана,

– Думаю, Терезина спасена, – начал отец. – Мне назначили свидание на завтра, в одиннадцать часов, в поле, за пределами города, по дороге на Градчаны.

Я не спросил с кем. И так было ясно.

Я решил сопровождать его. Я знал, что Джузеппе Дзага был измотан, беззащитен – легкая добыча для бессовестных паразитов, живущих на счет мечты и всегда готовых дать вам на два гроша надежды в обмен на тугой кошелек.

Глава XLII

Назавтра мы вышли из города по мосту Святого Венцеслава; я захватил с собой пару пистолетов, чтобы быть во всеоружии в стычке с Реальностью на ее территории. Крупные хлопья снега медленно продирались сквозь желтый туман, наши тяжелые лошади шли шагом по дороге, исчезающей в безбрежном небе, – смутная область тумана, снега, теней, откуда нам навстречу вдруг проступил черный крест придорожного распятия. Мы оставили там наших лошадей и свернули налево через поле, сквозь мельчайшие снежные точки, непрерывно падающие и исчезающие раньше, чем коснутся земли, будто священные книги растеряли знаки препинания, свои точки-запятые, когда десница Божия, в своей бесконечной милости, стерла все обвинительные акты, спутала все страницы, чтобы ни один приговор не был произнесен, ни одно наказание не было назначено.

Нам было велено найти развалины часовни, построенной давным-давно в этих местах странствующим монахом ордена святого Сигизмунда, дабы отблагодарить своего небесного покровителя за возможность вновь увидеть Прагу – в ясную погоду ее очертания были видны отсюда. Мы миновали разрушенную часовню, словно бы коленапреклоненную, со своим черным покосившимся крестом. Отец поднял глаза и остановился. Он тронул меня за плечо, потом поднял руку. Я снимал с лица намокшую паутину, которую я подцепил, пробираясь по развалинам часовни; закончив, я огляделся и сначала подумал, что перед нами пугало. . . Этому тонкому неподвижному силуэту лишь шляпа причудливой формы придавала человеческие очертания, она напомнила мне головные уборы на картинах голландских мастеров, украшавших бильярдную дворца Охренникова. . . Отец сделал несколько быстрых шагов в сторону фантома, я пошел за ним; когда мы были примерно в двадцати футах от видения, оно подняло руку.

– Оставайтесь на месте, не двигайтесь! – прокричал по-немецки хриплый пронзительный голос, почти писк евнуха. – Не приближайтесь, я не смогу удержаться. . . Это сильнее меня. . . Без всякого умысла, поверьте, без малейшего аппетита, без расположения творить зло я схвачу всякого, кто приблизится ко мне на расстояние руки. . .

Правила-заповеди предписывают мне – скорее, требуют, чтобы я исполнял мои отвратительные обязанности в течение двух с половиной веков. . . Таков срок моего служения в секторе, включающем в себя Прагу, где вам пришло в голову остановиться, – город губительный для юности, смеха, красоты. . . После чего, выполнив требования, – они изменяются в зависимости от тайных целей и расчетов высших инстанций, – после чего я буду наконец свободен от моих обязанностей, слишком отвратительных по своей сути. Я наконец получу в мое распоряжение вечность, которую намерен посвятить изучению птичьего пения, акварели, вышивке и созерцанию неких приятных вещей, полностью выходящих за пределы человеческого разумения. . . Мне сказали, что у вас есть ко мне просьба.

Второй силуэт отделился от стены тумана и приблизился к нам. Я узнал молодчика, навещавшего накануне отца. Он держал в руке табличку, на которой чертил неведомые мне знаки.

Перед нами стояли два мошенника столь мелкого пошиба, что я не смог сдержать улыбку. Осмелиться охмурить Джузеппе Дзага, чародея, которого европейские дворы ставили выше Сен-Жермена и Калиостро и о котором Казанова говорил с мелочной завистью, скрывающей восхищение! Я повернулся к отцу в полной уверенности, что он, пожав плечами, отвернется

от этой жалкой комедии. Я был поражен. На его лице блуждало выражение такой надежды, горячей веры, почти наивности, что я опустил глаза. Я не мог вынести его взгляда, умоляющего и зачарованного. Чтобы один из Дзага, самый знаменитый, сын Ренато, наследник известнейшего в профессии имени, посвященный во все тайны ремесла, во все пружинки, уловки, потайные ходы и трюки, из которых наше племя извлекало пропитание и процветание в течение стольких поколений, чтобы такой мастер обмана мог попасться на такую жалкую уловку, – вот что доказало мне глубину его страсти к Терезине, а равно и крайность, к которой может привести человека Реальность, когда она обложит его со всех сторон. Я понял, что шарлатанство может иногда становиться самой низшей, самой безнадёжной и мучительной формой поиска подлинности, мольбой, в которой ложь взывает к правде из глубины своей полной беспомощности.

Джузеппе Дзага хотел что-то сказать – и не смог. Он весь устремился к двум жалким комедиантам, от которых в другое время отвернулся бы, пожав плечами. Мне хотелось взять его за руку, увести, но я вспомнил, что, даже если речь идет о моем отце, мое призвание не состояло в прекращении иллюзии и помощи реальности, но, напротив, в поддержке первой для обогащения второй. С тяжелым сердцем я как нельзя лучше сыграл свою роль.

– Боже, – пробормотал я, – это ведь...

Смерть подняла руки, чтобы скрыть свое лицо. Но можно ли говорить о лице, если злодей спрятал его под восковой маской, неподвижность которой, однако, нарушалась иронической улыбкой?

– Прошу прощения, мессеры, или, лучше, месье, как говорят теперь, – пропищал глумливо шарлатан своим голосом кастрата, – прошу прощения, что не осмелился открыть вам все прелести моей подлинной физиономии, но, с одной стороны, она может оказаться не в вашем вкусе, а с другой – это спасет вам жизнь, ибо человек, удостоившийся высокой привилегии созерцать меня хотя бы раз, немедленно вычеркивается из списка живых. Это один из законов природы, и даже я не могу уклониться от его исполнения. Природа выше меня в иерархии.

– Я пришел спросить вас... – пробормотал отец.

Я поддержал его. В бледном сумраке, который нельзя было назвать светом, лицо его было покрыто отметинами – нет, не веков, которые он якобы прожил, но – куда более скромно! – лет. Ему тогда было около шестидесяти восьми.

– Говорите, месье, говорите же! – воскликнула Смерть, и я понял, что эта ирония, глумливый тон не были предназначены лишь нам, но выражали всеобщий цинизм, побежденный беспомощностью и страхом, они глухо звучали из единственной бездонной пропасти, где нет глубины, единственной пропасти, доступной каждому, – неистребимой поверхности.

– Говорите же, месье! Меня ждут старцы в агонии, чахоточные больные в последней стадии, повешенный, уже качающийся в воздухе.

– Я прошу вас пощадить жизнь моей жены, – сказал отец. – Она страдает томлением...

Смерть подняла руку. Мне показалось, что она едва сдержалась, чтобы не поднять ногу и не исполнить какой-нибудь пируэт, – так этот молодчик поднаторел в исполнении роли Скапена в ярмарочных балаганах.

– Ни слова! Я в курсе. Должен вам, однако, заметить, что то, что написано, – написано, я всего лишь исполнительный и старательный чиновник, решения принимают там, наверху, те, кто имеет право... – Он поднял к небу черный пустой рукав. – Туда вам надлежит направить вашу просьбу согласно установленной форме. Просьбы – я не открою вам ничего нового – принимаются в церквах и рассматриваются в зависимости от сопровождающего их христианского усердия.

Его приспешник приблизился к нему и прошептал несколько слов на ухо. . . Он, видимо, полагал, что напарник переигрывает, излишний блеск в мошенничестве может вызвать аплодисменты, губительные для предприятия. . . Единственным убедительным штрихом в этой жалкой махинации, недостойной носить названия иллюзионизма, был желтеющий туман, омывающий два черных силуэта, меньший из которых доверительно шептал что-то на ухо большему – я уловил лишь слабое сюсюканье.

– Это меняет дело! – пропищал тот, кого настоящая смерть скосила бы на месте за умаление доверия к ней. – Мой секретарь сказал, что высшие инстанции настроены к вам доброжелательно по причине вашего высокого положения в иерархии розенкрейцеров. Некоторые голоса будут услышаны, некоторые суждения будут высказаны. Я буду иметь в виду, но прежде всего проверю. Этот конец века изобилует самозванцами, утверждающими, что наделены сверхъестественными способностями, – следствие всеобщего падения нравов и верований, не говоря уже о самом Боге, старое тряпье которого жаждут присвоить многие сомнительные личности. . .

«И среди которых ты, проходимец, не преминул занять тепленькое местечко», – подумал я. У меня чесались руки схватить палку и как следует угостить этих плебеев. Но в это время мне в голову пришла мысль, что смерть, сущность которой состоит в непрерывном гниении и которой я сделал слишком много чести, наделив ее а *contrario* атрибутами величия и власти, открыла нам здесь свою подлинную низость, посредственность и вульгарность. Регулярно посещая людей, она вполне могла очеловечиться до того, чтобы заразиться от них жадностью.

Два черных силуэта, склонившись друг к другу, обменялись несколькими фразами, к которым добавили каркающие вороньи смешки, неразличимые в густом тумане.

Затем Смерть обернулась и сделала вид, что рассматривает нас сквозь неподвижность восковой маски с бесстрастностью, на Востоке весьма удачно выдаваемой за мудрость.

– Оказалось, что юная персона, о которой идет речь, обладала редкой красотой. Я несколько не удивился, узнав, что она была настигнута болезнью в доброй старой Праге, где все, что не сделано из камня, теперь не берется в расчет. Не может быть и речи, понятно, чтобы я нарушил обязанности. Я ограничусь тем, что дам вам совет. Как я вам уже сказал, моя власть распространяется только на этот город и несколько близлежащих деревушек, две из которых стали к тому же предметом тяжбы между мной и моим коллегой. Даю вам четыре дня на то, чтобы покинуть город: в течение этого срока, если не будет прямого распоряжения высших инстанций, которые вам известны, я не постучу в вашу дверь. Вы выплатите моему секретарю сумму в сто пятьдесят флоринов на мою благотворительность – содержанию вдов и сирот. . .

Отец, не раздумывая, достал кошелек и, протянув руку, сделал один шаг.

– Не приближайтесь! – вскричала Смерть, подняв руку.

Я сказал себе, что этот человек был одним из ассистентов, ранее работавших с отцом, или бедным итальянским комедиантом, провалившимся в Германии и не желавшим быть узанным.

– Не приближайтесь! Я, господа, испускаю некоторые лучи, убийственный эффект которых вам, несомненно, знаком. Положите на землю ваши жертвоприношения. Не забывайте, вам нужно покинуть Прагу в четыре дня, иначе я ни за что не отвечаю. Советую вам направиться к югу, мои тамошние коллеги не столь суровы и деятельны, более ленивы и рассеянны, так что вам, возможно, удастся проскользнуть у них между пальцев. И главное, не говорите никому ни слова о неслыханном снисхождении, которого вы удостоились благодаря покровительству высоких инстанций, а также потому, что вся ваша жизнь, как меня заверили, была положена на алтарь искусства, что все ваши предки отдавали свой талант божественной *commedia*

dell'arte, самым горячим поклонником которой я являюсь. Ах, Венеция! Broglio! Карнавал! Великая чума! Какие волшебные воспоминания!

Его товарищ положил ладонь ему на плечо, стало ясно, что паяц разошелся настолько в собственной импровизации, что мог себя выдать.

Я проводил отца до часовни, где попросил его подождать меня. Я пробежал назад по своим следам, но два субъекта, паразитирующие на человеческой надежде, уже исчезли в тумане. Я кинулся за ними наугад, ибо далее пяти шагов ничего видно не было. Я мог напрасно блуждать еще долго, с пистолетом в руке, в тумане, но вдруг услышал совсем близко от меня смех. Я почти сразу узнал высокий силуэт мессира Смерти и рядом очертания его мерзкого «секретаря». Я, не раздумывая, бросился на них и, схватив руками обладателя маски, заставил его показать свое лицо, уперев пистолет ему под подбородок. Оба были охвачены самым жалким страхом. «Секретарь» моргал с глупейшим выражением лица, так что приятно было посмотреть, под действием переживания расслабилась некая интимная мышца его организма, результатом чего стала серия коротких жалобных выхлопов, словно его голос искал выхода на другом конце тела. Я протянул руку и сорвал маску Смерти.

Я увидел роскошную морду пьяницы, бледно-голубые водянистые глазки под короткими тоненькими ресницами, такими же тоненькими, как реденькие топорщившиеся усики синьора Карло Кольпи, которого я видел несколькими годами раньше в Петербурге на вечеринке у купца Брюхова. Кольпи одно время был слугой Казановы в Бергамо, потом играл в итальянской труппе правителя Саксонии. Обладая даром чревовещателя, он был довольно известен в европейских столицах в 1760-е годы. Потом, вследствие злоупотребления спиртным, потерял голос, исчез, чтобы появиться вновь в алхимическом предприятии, которое развернул в Пале-Рояле герцог Орлеанский, будущий Филипп Эгалите. Герцог решил взяться за производство золота, следуя советам Кольпи. . . Непонятно, как мог этот принц пуститься в самые грубые суеверия, когда за окнами уже шумела зарождающаяся новая эра, а его эмиссары, и среди них Шодерло де Лакло, будоражили улицу – да еще в нескольких шагах от Якобинского клуба. Кольпи удалось убедить принца, что для того, чтобы возвыситься над банальным производством золота и получить философский камень небывалой чистоты, надо подмешать к различным ингредиентам, расплавленным в тигле, скелет гения. Его блистательный подмастерье не нашел ничего лучшего, чем останки Блеза Паскаля. По приказанию розенкрейцера Джокарди за большие деньги подкупили сторожа Сен-Этьен-дю-Мон, где покоились останки Паскаля; все, что осталось от философа, было выкопано и брошено в плавильные печи Пале-Рояля. Самое странное в этом деле было, кажется, то, что при обыске, проведенном по приказу Комитета общественного спасения, в кладовых Филиппа Эгалите действительно нашли золото.

Немного зная почтенного Кольпи, я понял, что он разыграл эту мрачную комедию не только для того, чтобы воспользоваться растерянностью и подлинным безумием, в которое привела отца болезнь Терезины. Это соответствовало чему-то более глубинному в его природе. Думаю, в глубине того, что служило душой этому ничтожеству, дремала тайная мечта о могуществе, способности рассыпать свои милости – мечта, общая для всех шарлатанов.

В его кармане я нашел паспорт на имя Смерти – под этим именем я встречал его много раз, там и тут, случайно во всех моих жизнях. . . теперь он тарашил испуганно глаза, а его товарищ – жулик – рассыпался в извинениях, ссылаясь на крайнюю нужду, в которую они впали, ведь в Праге теперь не было ни театров, ни прочих развлечений, и два комедианта находились под подозрением.

Я отказался от первоначального намерения отправить обоих паразитов в тот мир, выходами из которого они себя представляли, и оставил их на месте, после того как вернул наши

флорины.

Я догнал отца, которому надежда придала силы; поблуждав еще немного в тумане, мы наконец вернулись к лошадям.

У меня не было ни малейшего желания разочаровывать Джузеппе Дзага. Ведь он получил помощь от своей собственной религии.

С другой стороны, я находил, что совет Кольпи заслуживает рассмотрения, что нам и правда нужно как можно скорее покинуть холодные, убийственные камни Праги. Идея перевезти больную на юг, и даже, если успеем, в Италию, была последней надеждой, оставшейся у нас.

Глава XLIII

Терезина спала, когда мы вернулись; в своей смертельной бледности она казалась уже наполовину ушедшей, удерживаемой лишь остатками моих сил. Ее бледное лицо таяло, а волос у нее стало, казалось, в два раза больше: они стали ей чужими, словно притаились в тяжелом, грозном ожидании. Что в этом городе вызывало такую страсть к разрушению этой невинной жизни, этой ласковой, светлой весны? Терезина уходила, стушевывалась, и то, что осталось от ее улыбки, умирало с каждым уходящим мигом и могло возродиться лишь чудом моей воли. Мне надо было удержать ее, создать заново, восстановить после нового яростного, молниеносного выпада Реальности. Но борьба была неравной. Нечто вокруг нас не выносило присутствия счастья и не намерено было оставить ему хоть один шанс. Тогда мне пришла в голову мысль, которую я высказываю здесь в ее первоначальном виде, ибо до сих пор я не нашел ответа на вопрос, который задает себе всякий, кто почувствует вдруг себя покинутым неким гением, придумавшим нас с такой ловкостью, с такой убедительностью, что мы полагаем себя на самом деле существующими, – это действительно великое искусство. Можно оспаривать выбор средств, материала и стиля, но мощь неоспорима, ведь мы чувствуем себя живущими и умирающими; это самая лучшая дань, которую творение платит перу, бумаге и чернилам и, конечно, таланту своего автора. Единственное объяснение, которое я нахожу, состоит в том, что неизвестный мастер создал Терезину в момент небывалого вдохновения, редкостной удачи, – это случается иногда во всяком творчестве, – а затем позавидовал собственному успеху, зная, что никогда не сможет его повторить. Тогда он начал яростно стирать свой шедевр. В два часа ночи, когда я сидел у постели больной, а отец вышел, чтобы заняться лошадьми и багажом, рука ее вдруг скользнула к моей. Я быстро наклонился и уловил на губах Терезины последний привет весны, последнюю улыбку праздника:

– Я не сержусь на тебя, Фоско, знай. Ты ни в чем не виноват. . .

Я испуганно покачал головой:

– Что ты, что ты говоришь? Что ты. . . Я? Но я люблю тебя, люблю, как ни один мужчина никогда. . .

– Да, это так. Ты мужчина. Ты больше не мальчик. У тебя больше нет сил, чтобы придумать меня.

– Терезина!

– Ты знаешь, что больше всего нужно любви, – воображение. Нужно, чтобы один выдумывал другого со всей силой воображения, не уступая ни пяди земли Реальности, и тогда, когда встречаются два воображения. . . Нет ничего прекраснее!

– Я никогда не прекращал придумывать тебя, Терезина. . .

– Ты кое-что потерял. Я знала, что однажды это должно случиться.

– Это неправда!

– Нет, это правда. Это нормально. Так Реальность защищает себя: она разрешает детям взрослеть. Ты любишь меня, как и прежде, я знаю. Может быть, даже сильнее, потому что сожалеешь о своем детстве, о твоём волшебном лесе, о твоих друзьях дубах, – я тоже была частью этого мира. Ты любишь меня так же сильно, но по-другому. Воображение покинуло тебя, и ты не можешь больше вдохнуть в меня жизнь.

– Но я и дня не смогу прожить без тебя, ты же знаешь!

– Ты станешь жить воспоминаниями, на то они нам и даны. Воспоминания – песня, которую поют, когда теряют голос. . .

Мне захотелось обхватить ее руками, укрыть ее в объятиях, таких горячих, таких счастливых, чтобы дрогнули ледяные камни Праги, чтобы от всех судей человеческих не осталось ничего, кроме сломанных очков, мантии, изъеденной молью, грязных откровений комиссара полиции да зеленого порошка, оказавшегося после анализа жуткой отравой. Я уже склонился к Терезине, мои руки были готовы обнять ее, но какая-то необъяснимая сила удержала меня. Было ли это некое наитие, наследство моих предков-скоморохов, неосознанная уловка, внутренняя кровь Дзага? Или предчувствие, проклятый дар провидца, принесший столько бед моему деду Ренато? Не знаю. Могу предположить, что это было предчувствие: я испугался вдруг оказаться здесь, у себя в квартире на улице Бак, – стариком, цепляющимся за свою юность, от которой не уцелело ничего, кроме пера и листа бумаги.

Рука Терезины выпала из моей ладони. Я опустил глаза. И услышал ее голос:

– Вот видишь. . . Теперь ты – настоящий мужчина. Бедный Фоско Дзага!

Я спрятал лицо в ладонях. Кажется, я плакал. Тогда мне еще удавалось плакать. Значит, я все-таки не стал мужчиной окончательно.

Глава XLIV

Как только экипажи были готовы, мы покинули Прагу и помчались без остановки к южному солнцу; здесь, в лесах, оно ощущалось лишь как туманное обещание; Терезина жаловалась на холод, глаза ее наполнились мраком, она уходила от нас быстрее, чем мчались по снегу наши кони. Тогда мы решили прибегнуть к уловке, присоветованной нам Яковом из Буды, и стали нанимать в попутчики при каждой остановке двух сельских скрипачей-евреев: они склонялись над больной, наигрывая веселые, влекущие мелодии, пытаясь удержать ускользающую жизнь. Музыка произвела свое целебное действие: Терезина оживилась, улыбнулась, стала подпевать.

В местечке Влахи старый раввин, на консультацию к которому пришли гоуим, долго держал руку на лбу больной, а после сказал, что лучшим лекарством будет пение птиц, запах цветов, блеск плодов на ветвях и то сладостное дуновение, что иногда посылает на землю Божье благоволение.

Вскоре, однако, оказалось, что двух скрипок мало, что им не хватает сил, чтобы прогнать небытие, меж тем приободрившееся и подхлотившее порой так близко, что все вокруг замерло и даже отчаянная жестикуляция евреев не помогала им извлечь из струн хотя бы один звук.

Мы нашли по деревьям шесть музыкантов-хасидов, из той Моисеевой секты, что видит в танце и веселье присутствие Бога; мы пустили их повозку галопом впереди, в то время как шесть других хасидов, вооруженных скрипками, сопровождали нас в другом экипаже. Не знаю, был ли это эффект, произведенный лихорадкой, ибо отчаяние и нервное истощение сказались на моем рассудке, но мне показалось, что грязная тварь, рыскавшая вокруг наших самых прекрасных грез, сбежала, поджав хвост, и я услышал в дальнем лесу ее раздосадованный вой – если только это не был волк.

Печаль и смятение моего отца были таковы, что однажды вечером я застал его за молитвой.

Я был тем более потрясен, что в традициях нашего племени было уважать религию, то есть никогда не ставить ее под сомнение. Дзага всегда подчеркнуто оставались в стороне, демонстрируя корректность по отношению к братьям, работающим на подмостках – неважно, поставлены они на земле или на небе.

Я был удивлен тем, что отец дошел до такой бестактности и поставил коллегу в неловкое положение.

Несколько дней спустя, когда наши кони мчались по лесам Баварии, я подивился изобилию следовавших за нами воронов; по этому знаку я не без волнения понял, что мы заехали в королевство Альбрехта Дюрера. Не знаю, друг читатель, соблаговоливший сопровождать меня до последнего стопа еврейской скрипки, знакомы ли тебе эти глубокие мрачные леса, где из памяти выплывают неподвижно застывшие деревья и среди них – зловещий всадник, столь великолепно выгравированный рукой мастера, что взгляд уже не в силах стереть его с пейзажа. Я увидел его перед собой верхом, на коне, и понял, что мы приехали. Но да будет мне позволено здесь сказать, что я не предал своей любви. Я держал бездвижную руку Терезины и, устремившись взглядом в ее широко раскрытые глаза, где металась тень проносившихся листьев, призывал на помощь весь талант Дзага, в котором я еще никогда не сомневался. Я сделал такое усилие, чтобы вытянуть наши сани из мертвящей реальности, что на моих пальцах выступила кровь. Я в гневе кричал отцу, что он не должен плакать, что Терезина спасена и останется жить, пока я жив, я наделен такой властью; сопротивляясь небытию, чью зияющую пасть я в моей лихорадке уже разглядел над телом Терезины,

я объявил о приходе нового дня, в котором силой одного лишь искусства наше племя изменит судьбы людей, позволив им наконец создавать себя сообразно с велениями сердца и свободным выбором воображения. Ссылаясь на наше священное шарлатанство, я возвестил чудесный триумф нашего самозванства, увенчанного наконец лаврами высшей подлинности. Извиваясь в руках челяди, старавшейся уложить меня в постель и вернуть к реальности, уже державшей наготове все свои ужасы, я требовал перо, бумагу и чернила, заявляя, что традиции Дзага нашли во мне самого верного последователя, хотя никто из наших еще не предпринял такого творческого труда. А в это время в зачарованном лесу, который стал теперь голым и грустным вороньим лесом, всадник Дюрера скакал кругами вокруг нас и копыта его тяжело, как смерть, опускались на землю, музыканты же наигрывали на скрипках знакомые и в то же время незнакомые мелодии; Терезина, уже остывшая, в своем катафалке громко радовалась возвращению подаренной ей мною жизни, отец, распростертый на трактирном столе перед опрокинутой бутылкой, но в то же время уносимый нашими конями к солнцу юга, вдруг принимался петь арию из второго акта еще не сочиненного «Дон Жуана». Я кричал коновалам, отворявшим мне кровь, что все в моей жизни зависит теперь лишь от моей воли, ибо первым из Дзага я открыл искусство производства вечности из мига, подлинного мира из мечты и золота из фальшивых монет, – эта золотая пудра, если ею запорошить глаза, не потеряет силы давать любовь, надежду и жизнь, пока последний скоморох нашего древнего племени не будет выкинут с подмостков.

Стоя в повозке, влекомой по снегу под звуки еврейских скрипок, я подвергал испытанию мои юные силы, чтобы развлечь Терезину в этом черном лесу, который я наполнил тысячью птичьих трелей, согрел лучезарной весной, где я предусмотрел каждую мелочь, выбрал самые нежные и яркие цветы. Не отступая ни перед чем, презрев все крайности, которые навязал нам неизвестный автор, такой пугливый и почтительный, что прячется за кулисами, я окружил Терезину толпой белых кукол в остроконечных колпачках, с крючковатыми носами, которых я без зазрения совести извлек из карманов Тьеполо. В то время как сани скользили по сверкающему звездному снегу, а мой отец, старый поверженный скоморох, не сомневавшийся, что его сын принял факел из его слабеющих рук, плакал, прислонившись лбом к телу Терезины, я открыл карнавал и выпустил толпу масок, осыпавших воронов тучей конфетти; мне пришлось стереть угол леса – это пространство понадобилось мне, чтобы разместить там площадь Святого Марка. Терезина хлопала в ладоши, пела, бросала конфетти; ободренный успехом, я сделал знак кучеру, заставив его, наперекор страху и привычным правилам, пустить лошадей в полет над Луной; так мы плыли в белой ночи, собирая полные пригоршни звезд, чтобы швырять их евреям-скрипачам, на крыши хижин и в сердца людей. Эта работа требовала отлучек, музыканты-хасиды на три четверти выцвели, лишенные моей поддержки. Но я постарался поскорее вернуть им их очертанья; они были мне дороги, ибо я уже знал, несмотря на недолгий опыт чародея, что ничто еврейское мне не чуждо в борьбе против гнусной реальности при посредстве лишь воображения и мечты. Без всякого сомненья, хотя я был далек от уверенности, позволяющей скоморохам пускаться на такой риск, я долго вглядывался в пустое и уже похолодевшее лицо Терезины. Я нежно закрыл ей глаза, делая вид, что мне страшно, трепеща при мысли, что произойдет, если мои неопытные пальцы, которым я, может быть, излишне доверяю, вдруг подведут меня. Потом я вернул ее к жизни с уверенностью, которой не могу не гордиться, и она бросилась в мои объятия, поцеловала меня, засмеялась, ибо ничто не доставляло ей большего удовольствия, чем посмеяться над несчастьем. Терезина уткнулась мне в плечо; я с сочувствием посмотрел на отца, распростертого на трупе, укрытом до волос меховой шубой. Джузеппе Дзага явно постарел, подумал я, он потерял способности, нет ничего печальнее, чем видеть иллюзиониста, принимающего вещи такими, какие они

есть, и не имеющего достаточно смелости, чтобы придумать другие. Я приказал музыкантам играть «Вальс улыбок», и весь лес ожил, давно в нем не было подобного праздника. Я не сделал, однако, никакого усилия, чтобы помешать отцу и траурному кортежу с факелами продолжать эту мрачную комедию, согласно общепринятым правилам, предать тело Терезины земле – неприятный ритуал, но он позволит обмануть смерть, притворившись, что уступаешь ее требованиям. Ибо истинная Терезина, которую никто никогда у меня не отнимет, прижималась ко мне всем своим теплым телом. Ее волосы вновь затеяли нежную возню с ее шеей и плечами, и я вновь обнаружил всех плутоватых бельчат.

– Я так счастлива, что выздоровела, Фоско. Я обязана тебе жизнью. В тебе осталось больше от ребенка, чем я предполагала.

– Я никогда не состарюсь, – заявил я ей. – Это очень просто. Достаточно чернил, бумаги и пера – и сердце скомороха.

Белые горбатые Пульчинеллы сгрудились вокруг нас, и, хотя у них были мрачные лица, предвещавшие закат венецианского праздника, мы ощущали их доброжелательность и заботу.

– Это Венеция, – сказал я ей. – Мы приехали.

Она вновь сплела свои руки вокруг моей шеи, и я почувствовал ее губы на своих. Ее волосы ласкали меня, гондола скользила сквозь белую ночь, в чистом небе сверкали конфетти, в то время как я, заботясь уже о совершенстве, добавлял отсутствующие детали: Бога, исполненного жалостью, правосудие не от мира сего, любовь, которая не умирает, еще одну еврейскую скрипку.

1973